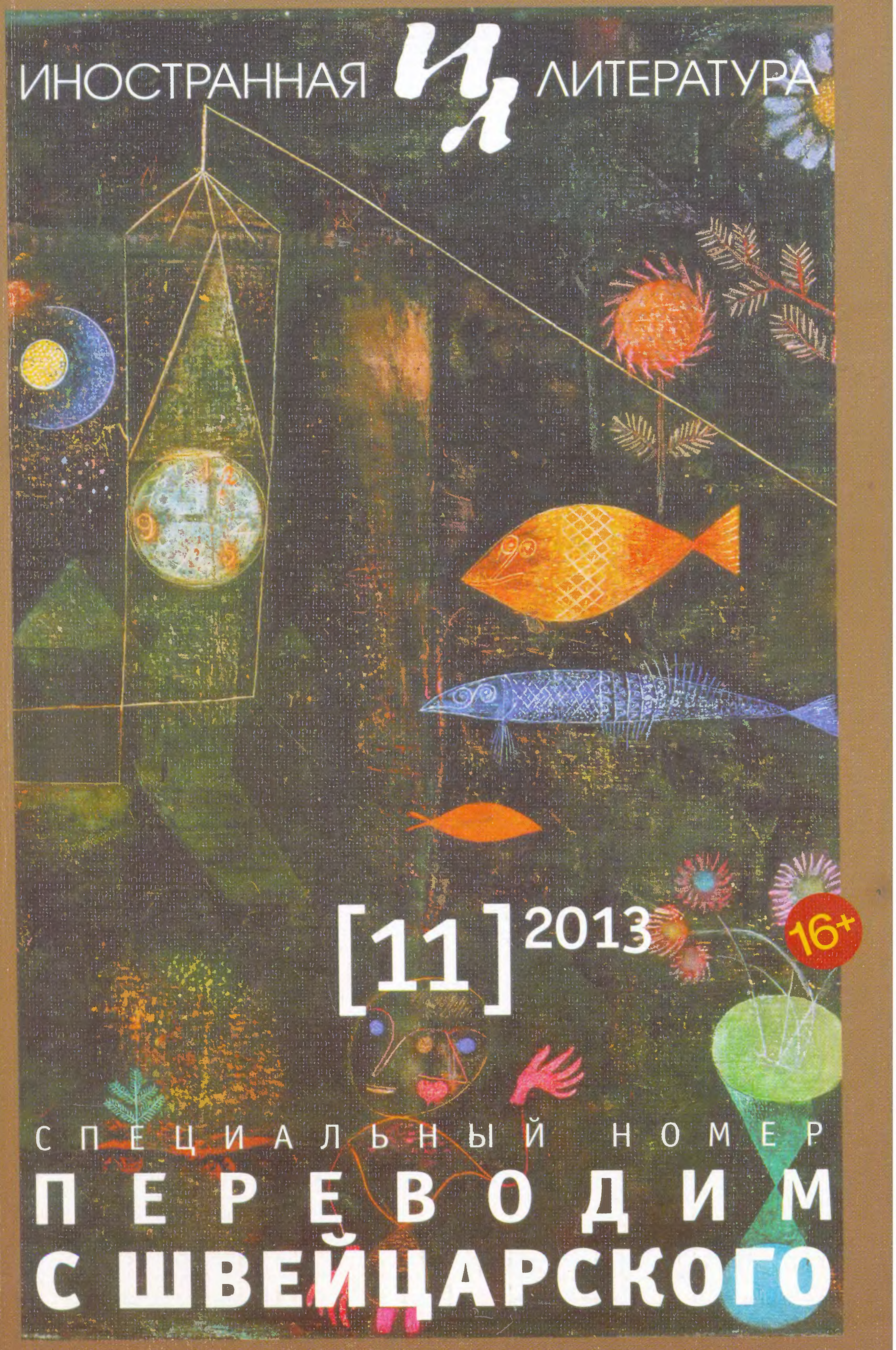
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[11] 2013

16+

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР

ПЕРЕВОДИМ С ШВЕЙЦАРСКОГО

Основан в 1955 году

Поздравляем
Евгения Михайловича Солоновича
с присуждением степени почетного доктора
римского университета “Sapienza”
и
с присуждением премии поэтического фестиваля
“Poestata”
(Швейцария, кантон Тичино).

Уже в третий раз за сравнительно недолгий срок наш журнал выпускает специальный номер, посвященный литературе Швейцарии. Из нового — антология малой прозы в переводах с основных языков Конфедерации. Языковое и культурное многообразие явно обогащает жанр: мы печатаем и притчу, и старый добрый рассказ, и даже стихотворение в прозе. Никогда еще не была так полно представлена швейцарская поэзия: удалось отдать должное как гениям прошлых лет, так и живым классикам. Не забыты и корифеи швейцарской прозы: Роберт Вальзер, Шарль-Фердинанд Рамю, Герхард Майер, Коринна Бий, Франц Холер и Шарль-Альбер Сангрия.

В конце прошлого года Швейцарский фонд культуры Про Гельвеция открыл программу “Swiss Made in Russia”, в рамках которой нас ждет много интересных литературных проектов. В этом году, например, Швейцария станет почетным гостем на ярмарке “non/fiction”. Ожидается приезд большого числа современных швейцарских авторов.

Публикация номера осуществлена
при финансовой поддержке
Швейцарского фонда культуры Про Гельвеция

швейцарский совет по культуре
prohelvetia

[11]
2013

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Переводим с швейцарского

С трех языков. Рассказы

5 Герхард Майер *Бородино.* Роман. Перевод с немецкого Ирины Алексеевой

72 Ноэль Реваз *Когда Бабуля...* Монолог для многих голосов. Перевод с французского Ирины Волевич

93 Арно Камениш *Сец-Нер.* Фрагмент романа. Перевод с немецкого Алексея Шипулина

102 Анн-Лу Стайнингер *Гадалка. Женщина в синем на склоне дня.* Перевод с французского Натальи Мавлевич

112 Роз-Мари Паньяр *Коллекционер иллюзий.* Перевод с французского Нины Кулиш

117 Корин Дезарзанс *Из сборника "Глагол 'быть' и секреты карамели".* Перевод с французского Марии Липко

130 Анн-Лиз Гробети *Сдохни, мерзкая тварь.* Перевод с французского Марии Аннинской. *Нилли в ночи.* Перевод с французского Михаила Яснова

143 Моник Швиттер *А если снег, у крокодила...* Перевод с немецкого Марии Зоркой

157 Жан-Франсуа Соннэ *Книга Лукаса.* Перевод с французского Нины Хотинской

168 Аурелио Булетти *Короткие рассказы.* Перевод с итальянского Анны Ямпольской

183 Франц Холер *Камень.* Перевод с немецкого Вячеслава Куприянова

188 Жорж Пируэ *Тополя.* Перевод с французского Аси Петровой

С трех языков. Стихи

192 Ильма Ракуза Перевод с немецкого Елизаветы Соколовой

197 Морис Шаппаз *Чудо женщины.* Перевод с французского Михаила Яснова

201 Урс Аллеманн Перевод с немецкого Святослава Городецкого

© "Иностранная литература", 2013

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

207 Жозе-Флор Таппи *Из сборника "Ангары".* Перевод с французского Натальи Шаховской

209 Фредерик Ванделер Перевод с французского Михаила Яснова

212 Клэр Жну *Из сборника "Времена тела".* Перевод с французского Натальи Шаховской

214 Джорджо Орелли Перевод с итальянского Евгения Солоновича

218 Фабио Пустерла Перевод с итальянского Евгения Солоновича

224 Альберто Несси Перевод с итальянского Евгения Солоновича

Из классики XX века

231 Роберт Вальзер *Утро. Фиделио. Жан.* Перевод с немецкого Эллы Венгеровой

237 Шарль-Альбер Сангрия *По поводу животных.* Перевод с французского Михаила Яснова

243 Филипп Жакоте *Этот чуть слышный звук.* Перевод с французского Бориса Дубина

Швейцария — Россия

253 Коринна Бий *Россия, моя спящая любовь.* Поэма в прозе. Перевод с французского Натальи Шаховской

261 Петер Штамм *Дачники.* Перевод с немецкого Н. Федоровой

Литературное наследие

272 Шарль-Фердинанд Рамю *Смерть Большого Фавра.* Перевод с французского Галины Модиной

БиблиофИЛ

278 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

Библиография

281 *Швейцарская литература на страницах "ИЛ". 2002–2013*

Переводчики номера

284

© "Иностранная литература", 2013

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года — "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Общественный редакционный совет:

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Б. В. Дубин

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
Г. М. Дашевский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

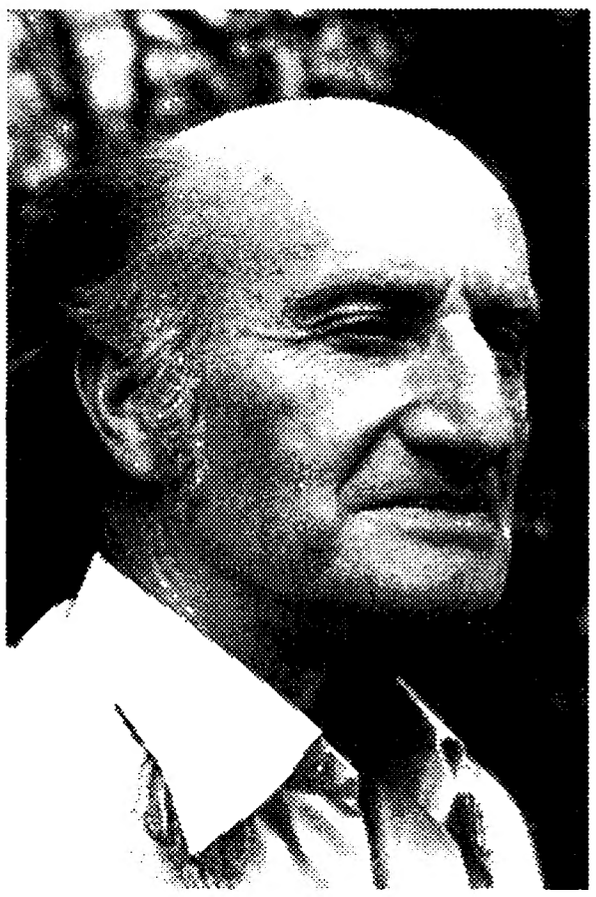
Ван Мэн
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. И. Леенсон
М. А. Липко
Е. М. Мамардашвили
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Герхард Майер



Б*ородино*

Роман

Перевод с немецкого Ирины Алексеевой

Герхард Майер [Gerhard Maier; 1917–2008] родился в Нидербиппе, на северо-востоке кантона Берн, и провел там почти всю свою жизнь. В молодости мечтал стать архитектором и учился в Бургдорфе высотному строительству, однако эти мечты так и не сбылись. В 1938 году Майер устроился дизайнером на нидербиппскую фабрику по производству лампочек и проработал там тридцать три года. Писать начал еще во время учебы, однако всерьез обратился к литературному творчеству лишь в 1957 году, когда лечился от туберкулеза и был вынужден жить в санатории. В 1964 году вышла первая книга его стихов. За ней последовали другие публикации. В 1971 году Майер ушел с фабрики и целиком посвятил себя литературе. Широкая публика узнала о Майере, когда в 1979 году Петер Хандке отдал ему половину врученной ему премии Кафки. Несмотря на растущую популярность и внимание со стороны литературной общественности, Майер продолжал жить в Нидербиппе довольно замкнутой жизнью. В 1997 году большим ударом для него стала смерть жены, с которой они прожили шестьдесят лет и воспитали троих детей.

Роман "Бородино" ["Borodino", 1982] – вторая часть амрайнской тетралогии Майера "Баур и Биндшедлер" ["Baur und Bindschädler"],

© Zytglogge Verlag Bern 1982
© Ирина Алексеева. Перевод, 2013

в которую также вошли книги "Остров мертвых" ["Toteninsel"], "Баллада о снеге" ["Ballade vom Schneen"] и "Страна ветров" ["Land der Winde"]. В 2007 году издательство "Зуркамп" переиздало тетралогию отдельной книгой и в настоящее время имя Майера на слуху у интеллектуалов немецкоязычного пространства. Нередко его сравнивают с Робертом Вальзером. И действительно, стиль Майера отличается возвышенной швейцарской одухотворенностью, чуждой суетным устремлениям. В потоке сознания смешиваются жизнь и классическая литература, насущные заботы и размышления о вечном. Немецкий литературный критик Петер Хамм однажды назвал Майера "самым известным незнакомцем немецкоязычной литературы". Тем приятнее, что и у русского читателя наконец появилась возможность с ним познакомиться.

Перевод выполнен по изданию "Borodino" [Suhrkamp, 2007].

Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, — то уничтожится возможность жизни.

Лев Толстой *Война и мир*[1]

"Я не хотел отвечать, Биндшедлер. Потом пришло повторное приглашение. Речь шла о юбилейной встрече. Мобилизовали нас как раз сорок лет назад. Многих и в живых-то уже нет. А встретимся еще раз, годика через три, допустим, так еще меньше останется..." — сказал Баур, шагнул к окну, вернулся к камину, опять к окну, заметил паутинку на ветке форзиции, вновь встал у камина.

"Значит, надо встрепенуться, надо включиться в процесс, освободить 11 ноября, оценить возможность поддержать отношения с друзьями, обменяться воспоминаниями.

И ровно в тот день, Биндшедлер, то есть именно когда была встреча, небо прояснилось. Установился восточный ветер, чем-то вроде запаха истории повеяло над местностью, и понеслись звуки труб, правда, неслышные. Настал ясный день", — сказал Баур. Он притулился к керамической облицовке камина, которая спереди, над топкой, образовывала каминную полку, где стояли три фарфоровые подставки, в двух торчали огарки свечей, в средней свеча полностью догорела.

Солнечные пятна на персидском ковре тем временем слегка побледнели.

1. Эпилог. Ч. 1. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

“11 ноября я довольно рано прибыл в гарнизонный город. Стал слоняться вокруг техникума (ты же в курсе, я там высотному строительству обучался). К круглому фонтану отправился, к тому, который позади Липовой рощи. Погрузился взглядом в окно гимназии по эту сторону рощи, в котором, как нарочно, отражалось небо. Напомнил себе, что за таким же точно окном наверняка то и дело декламируют стихи, в том числе хрестоматийный стишок Гёте про розочку, и смотрят в глаза гимназистки, отражающие небо, небо над пустошью, где росла та самая розочка”, — сказал Баур, заложив руки за спину и уставившись в какую-то точку в глубине сада.

“А потом, Биндшедлер, я зашагал по направлению к Городскому дому — месту нашего заседания. Дойдя до него, я развернулся и вновь направился к техникуму. Не без труда разминулся с целым отрядом бывших. Пересек кампус Высшей технической школы. Пошел своим когда-то обычным маршрутом, когда на переменках гулял. Но обсерватории по пути уже не встретил. Приблизился к вилле торговца сырами. Перед нею встал надолго. Полностью погрузился в мир фонтанов, с трех сторон окруженных фигурами Серебряного века. Лестницу обрамляли каменные ангелы, и я переводил взгляд с одного на другого.

Подумал о как минимум пятидесяти летних курортных сезонах, которые эти ангелы здесь выдержали, не состарившись и даже поз своих не поменяв”, — сказал Баур, слегка скрестив ноги.

Я подумал о княжне Марье, о том месте из “Войны и мира” Толстого, где она решается отправиться в странствия. Потом перед глазами поплыли Праценские высоты, где князь Андрей Болконский (ее брат) лежал, истекающий кровью, сжимая древко знамени. И где он впервые в жизни обратил внимание на небо, на высоту, тишину, бесконечность небесного свода. Где он лежал, освободившись от страданий, желаний, надежд, открытый таинствам этого мира.

Я сидел нога на ногу. Смотрел через окно вдаль. Потом стал наблюдать за Бауром, который в данный момент ходил взад и вперед, то и дело посматривая за окно на ветку форзиции, которая вот-вот распустится.

“Когда я вернулся обратно к Городскому дому, Биндшедлер, туда как раз входила группа бывших. Я опознал только одного: Эрнст Шютц, ну помнишь, с которым мы еще вместе школу рекрутов заканчивали.

Поздоровались.

Я стал прикреплять юбилейный значок на воротник с левой стороны. Шютц мне помог. Кто-то протянул мне руку, представился, назвал меня по имени.

‘Да-да, привет, Шаад’, – сказал я с радостной улыбкой, а про себя подумал: как бедняга изменился!

Вошли в холл гостиницы. За столиком сидел Фриц Цуллигер, он раздавал пригласительные билеты – за деньги. Фурье стоял рядом с ним, наш любезный служака из третьего полка. Он постарел. Носил усы.

Стояли все вместе, одной толпой.

Привыкали к именам.

‘Фриц Хабеггер здесь?’ – спросил я. Мне сказали, что он уже внутри. И ротные пришли, и командиры взводов, вахтмейстеры, капралы, и майор Босхардт – тоже.

Пошли наверх в парадный зал. Столы были составлены в четыре ряда. Впереди – площадка для оркестра. На возвышении – стол в торце наших рядов, там сидели начальники. Третий взвод расположился за столами вдоль окон. Командир взвода Маттер пришел, вахтмейстер Эггер, Яун из стрелковых частей, который, казалось, пережил десятилетия, словно ангелы торговца сырами. С краю за столом обнаружил Фрица Хабеггера. Поздоровался. Подошел к нему. Положил ему руку на плечо. Сказал: ‘Фриц Хабеггер, стоит мне завести речь про действительную службу, как ты тут же приходишь на ум. Я говорю тогда, что вот тебя-то я бы без проблем всегда узнал, и ночью, и в лесу, и в любом другом месте, да на любом расстоянии, ей-богу. Всегда бы узнал тебя по бряканью котелка, по шагам или по кашлю. Да-да, ей-богу!!’

Хабеггер посмотрел на меня... Произнес: ‘Я тебя не знаю’.

Оркестр заиграл марш.

Фельдфебель Крэтли изображал бурную радость по поводу того, что собралось (последовало зову) так много бывших (168, по моим подсчетам). Он поприветствовал офицеров: капитана Ребера (теперь он – бригадир-полковник), капитана Амманна (теперь – подполковник), майора Босхардта (теперь он – полковник). Командир полка явился позже, высокий, худой, старый-престарый полковник Бахман, который когда-то принимал у нас присягу на пехотном полигоне. У него утром встреча была с однополчанами еще с Первой мировой”, – сказал Баур и принялся прохаживаться туда-сюда.

“Биндшедлер, прекратив обороняться, мы дни напролет отступали на запад, шли ночами. Вдали громыхала гроза. ‘Они стреляли из Толстой Берты (гигантская немецкая пушка времен Первой мировой войны)’, – сказал я.

Пулеметчик Зуттер расслышал что-то о ‘толстых’ ружьях. И с тех пор его легкий пулемет стали называть толстым”, – сказал Баур, прислонясь к камину.

Перед глазами у меня замаячили цепи гор, над которыми бушевала гроза. Я сказал Бауру, что у меня в памяти тоже запечатлелось то недоразумение во время ночного марша. И что пару лет назад я снова прошел весь тот маршрут.

“Итак, фельдфебель Крэтли выступил перед нами с приветственным обращением. Стали подавать еду: суп-лапшу с блинами, жаркое с картошкой, овощной салат. Лейтенант Маттер заказал красное вино. Ели. Чокались. Пили.

Биндшедлер, а для меня весь этот зал превратился в одну ледяную глыбу, в которую вмерзли лица, фигуры. Причем лед этот не казался местным, из наших ледников, это был лед русской тундры.

И с каждым взглядом, с каждым куском жаркого, с каждым глотком красного вина ледяная глыба подтаивала. Чем больше глотаешь картошки и мяса, тем отчетливее, тем живее, тем достовернее становятся люди за четырьмя столами.

Так что я лопал без остановки.

Таяние льда сопровождалось какими-то особенными звуками, какой-то свист воздуха, что ли, слышался, ветерка, гулявшего по каменоломням, где, бывало, упражняешься, занимаешься самоподготовкой, а от границы в это время доносится рокот орудий”, — сказал Баур, опять уставившись в какую-то одну точку за окном, закинув руки за спину. Солнечные пятна тем временем уже немного сдвинулись. “Биндшедлер, мне не хватало Вилли Бютикофера, дояра из Винигер-Берге. Йохана Лемана мне не хватало, смешливого батрака из Эмменталя. Пауля Шаада, изготовителя циферблатов из Верденбурга, — мне даже показалось было, что я с ним поздоровался, — не хватало тоже. И еще много кого”, — сказал Баур.

Я посмотрел в окно, за большой выгон, принадлежавший торговцу яйцами. Увидел, как Наполеон смотрит за Неман, в подзорную трубу, разумеется, используя пажа в качестве штатива. Утверждают, мол, Наполеон решил, что видит вдали русские степи, посреди которых и находится Москва. Какой-то уланский полковник, поляк, в безумном порыве воодушевления от присутствия Наполеона, ринулся со всем своим отрядом форсировать реку, и во время переправы сорок уланов из пятидесяти утонули вместе с лошадьми. Говорят, что Наполеон, не очень-то одобрив в целом этот показной героизм, позже наградил полковника орденом Почетного легиона — легиона, которым распоряжался лично. “Солнце сияло по-прежнему, хотя оно и было холодным, если можно так выразиться. Во время передышек, когда не надо было напрямую контактировать с ледяной глыбой (в которой происходили упомянутые изменения, сопровождаемые теми звуками), я

смотрел в окно, где в поле моего зрения попадали, по крайней мере, три или четыре флага, висевших над улицей на натянутой веревке. Их трепал легкий восточный ветерок. Они были исполнены благородства и словно погружены в размышления, исторического толка, разумеется, — причем один из них, самый большой, флаг Швейцарской Конфедерации, вытягивался по ветру и реял почти горизонтально, потом опадал и начинал трепетать.

И я тогда подумал, слышь, Биндшедлер: 'Вот они, флаги-то...'"

"Помнишь, как Болконский пошел со знаменем в руках навстречу французам (неважно, что знамя было не швейцарское), когда его земляки уже побежали от французов, и он практически остановил это бегство, бегство, которое разворачивалось прямо на глазах главнокомандующего Кутузова на Праценских высотах", — произнес я, прерывая Баура. Я уже не сидел, закинув ногу на ногу, я оперся на руки, готовясь вскочить, но все же остался сидеть.

Баур улыбнулся, посмотрел прямо перед собой.

"Да! Стало быть, там, в том зале, мне суждено было наблюдать практически воскресение из мертвых, овеваемое воздухом каменоломен, а на улице развевались флаги, благородно паря над домами на летнем курортном ветру", — промолвил Баур, снова скрестив ноги. Те самые ноги, которые, можно сказать, носили бравого пехотинца Баура вокруг всего света.

Баур подошел к окну, указал на ветки форзиции со словами: "Еще два-три дня, и они распустятся, я имею в виду — цветы. Я так рад, честно. Я люблю форзицию, она вся желтая такая. И знаешь, ветки, когда цветут, покачиваются так иногда, совсем как флаги".

У меня перед глазами снова встал Неман, за которым громоздились башни облаков, словно кто-то ставил театральные декорации, ожидая выхода героического тенора.

"Да, Биндшедлер, и тут как раз прибыл председатель городского совета. Он попросил чашечку кофе, за счет города, разумеется. Фельдфебель Крэтли сказал, что дождевая вода стекала за воротник офицерам. И что тем не менее целая группа стрелков (Фриц Цуллигер, еще трое и он, Крэтли) стреляли так метко, что завоевали штандарты. И он специально съездил в Лис эти штандарты забрать, чтобы они украшали нашу сегодняшнюю встречу. Вот, вывесил их здесь, стрелковые штандарты. А борьба была нелегкая. Но как бы то ни было, они победили. И лицо Цуллигера сияло. А фельдфебель словно куском подавился.

Потом началось поминовение павших.

Фельдфебель Крэтли сказал, что шестьдесят пять наших товарищей (если я не ошибаюсь) оказались призваны в *Великую армию усопших.* Некоторые из них отправились туда еще во время действительной службы (кое-кто — по собственному почину, как тебе известно, Биндшедлер).

Он зачитывал погребальный список: ...Шаад Пауль ...Бютикофер Вилли ...Леман Йохан (который вроде, говорят, повесился)...

По сигналу Крэтли сто шестьдесят восемь человек встали, чтобы почтить память умерших.

Издали зазвучало 'Мы шли под грохот канонады...' в исполнении трубача, которого Крэтли, по-видимому, укрыл где-то позади зала, в коридоре", — сказал Баур, на ходу трижды хлопнув в ладоши, одарив меня улыбкой, которая затем исчезла с его лица.

"В четыре часа дня (по-моему, так) мемориальное заседание горной стрелковой роты было объявлено закрытым. В головах бродило вино. На улице еще светило солнце. Над улицами реяли флаги.

Я распрощался с товарищами из третьего взвода, с лейтенантом Маттером, впоследствии командиром полка; с капитаном Ребером, который позже стал бригадным офицером и, между прочим, выступил с докладом об обеспечении своевременной боеготовности, классный был доклад, кстати, если сравнивать с отдельными формулировочками фельдфебеля Крэтли, которые порой то в краску вгоняли, то в обморок — внутренне, конечно. Я попрощался и с Бахманом, этим длинным, худым, старым полковником. Упомянул к случаю, что когда пришел на встречу, то спрашивал, жив ли еще старина Бахман. Причем добавил тогда, что годика два назад вроде бы видел его издалека в Берне, но, правда, не поздоровался с ним. Офицер на входе заверил: нет-нет, Бахман давно умер.

Бахман разулыбался.

'Вот вам мой приказ, — сказал он, — в следующий раз подойти и поздороваться. Тогда мы с вами выпьем вместе чашку кофе или бокал вина'.

А организаторов, Биндшедлер, я проигнорировал, включая того самого вахтмейстера, которой отправил нас обоих через ледник Алеч без страховочной веревки.

Я его недавно видел на рынке. Он продавал какой-то женщине ветку форзиции".

Баур стоял у камина, неподвижно уставившись в одну точку в саду. Я сказал себе, что мы не виделись уже два с четвертью года со времени нашей прогулки по Ольтену; и что в

Амрайн я, собственно говоря, приехал впервые в жизни; что, вполне возможно, мне (думал я, сидя на стуле, закинув ногу на ногу) суждено было находиться ровно в том месте, где в свое время стоял Баур, держа в руках коричневые полуботинки, а это, в свою очередь, напомнило Меретлайн — правда, та вместо полуботинок держала в руках череп ребенка и белую розу.

Ушли из гостиной, отправились в бывшую столовую, где раньше висела картина, изображавшая двух охотников во время утиной охоты, в тот момент, когда собака рвалась с поводка, поднятая выстрелом, второй охотник, не удержавшись, опрокидывался назад, падая из лодки в воду, утка падала вниз, а тот первый, с ружьем, покатывался со смеху, наблюдая всю эту сцену. Мы пошли наверх обедать, чтобы потом, после обеда, успеть поглазеть на детский маскарад.

Пройдя вперед, до поворота дороги, вспомнили о лепестках цветущей вишни, осыпавших траурную процессию. В привокзальном переулке помянули кузину Баура Иду, которая, заглядевшись на какого-то мужчину, неловко повернулась да и упала. Прошли через привокзальную площадь и, взглянув на пути, увидели другую кузину, Мину, которая стояла у окна вагона и с улыбкой приветствовала родственников, что могло создать в душе Баура впечатление, будто Мина только для того и родилась на свет, чтобы проездом через Амрайн поприветствовать своих родственников.

Всюду на привокзальной площади были разбросаны конфетти, преобладали лиловые, напоминая плац гимнастического союза, обсаженный отцветающими вишнями — японскими, конечно. Солнечный свет был белесого оттенка.

Мы прошли через подземный переход под железной дорогой. Стали попадаться первые детские маски. Баур сказал: “Ты знаешь, на карнавале, особенно в первые дни, время словно хочет закончиться. И мне кажется, что детские маски, особенно белые, с бубенцами на костюмах, способствуют тому, чтобы этого не случилось”.

Ребенок в маске, которого вела за руку мама, нес трещотку, но вертеть ее был явно не в состоянии. Над нами взлетела целая стая голубей. “Биндшедлер, вон там ресторан, где обычно справляют поминки после похорон одноклассников, едят копченую колбасу и хлеб, пьют вино. И где на следующий день, ты ведь помнишь, остатки этой трапезы еще раз всплывают, рядом, в канализационной канаве. А напротив стена с плакатами, навевающими разноцветные партитуры греческих скал, от которых вздымается эгейский ветер, приносящий стрекот цикад”, — говорит Баур.

Ребенок в маске перед нами отпустил руку матери, переложил трещотку в правую руку, стал ею размахивать. Вновь появилась стая голубей, на этот раз они полетели на восток. “Вон там жил Иоахим Шварц, ну тот, помнишь, который дерьмо из туалетов откачивал”, — сказал Баур. Я глянул на этот двор, на каштаны, на то место, где стоял дом. Ребенок по-прежнему крутил трещотку. Я подумал, что в следующем доме жил майор кавалерии. И правда, западная стена походила на бугорчатый ковер, словно делящий фасад на лоскуты, за которыми рождались, жили и умирали — иногда и насильственной смертью.

“И ты знаешь, Биндшедлер, когда я вижу такую вот детскую колясочку на высоких колесах — вся белая, обода деревянные, — я невольно начинаю подозревать тут астральные субстанции, которые явно свидетельствуют, что прервалась нить времен”, — сказал с улыбкой Баур, указывая на супружескую пару в масках и с коляской, только что свернувшую налево, за угол, и там, сразу за поворотом, приятели обнаружили целую толпу детей в масках, образовавшуюся перед рестораном “Медведь”. Кто-то из масок уже прилип к игровым автоматам в ресторанном садике, другие гудели, визжали, швыряли конфетти.

“Этот ресторанный балдахин — видишь? — расписывал мой бывший одноклассник, Георг, он сейчас в Австралии живет”, — сказал Баур. Посмотрели на балдахин.

Я вдруг увидел князя Андрея, как он, тогда, вечером 25 августа, лежит, облокотившись на руку, в разломанном сарае, на краю расположения своего полка, и в отверстие сломанной стены смотрит на стоящую у забора березу с обрубленными нижними сучьями, и размышляет о своей жизни, которая представляется ему тесной, тяжкой и никому не нужной[1]. Мне вспомнилось, что он, тем не менее, так же, как и семь лет назад в Аустерлице накануне сражения, чувствовал себя взволнованным и раздраженным; что его, князя Андрея, мучили в особенности три главных горя его жизни: утрата Наташи, смерть отца и французское нашествие на его страну. Я припомнил тот момент, когда князь Андрей, выпроводив всех своих посетителей (несколько офицеров и Пьера), вернулся в сарай, лег, растянувшись на покрывале, но не мог уснуть. Одни картины в его воображении сменялись другими, и на одной из них он надолго остановился. Когда Наташа однажды вечером в Петербурге рассказывала ему, как она минув-

1. Л. Н. Толстой. Война и мир. Т. 3, гл. XXIV.

шим летом, пойдя за грибами, заблудилась в большом лесу. И как она несвязно описывала ему и глушь леса, и свои чувства, и разговоры с пчельником. И как она, всякую минуту прерываясь, говорила, что не может рассказывать, что она рассказывает не так, что он ее не понимает. И как он, князь Андрей, всякий раз уверял, что прекрасно ее понимает. И как он действительно понимал все, что она хотела сказать. Больше того, именно эту-то силу и открытость душевную он и любил в ней, искренность души, которую как будто связывало тело[1].

Баур потянул меня в сторону. Я огляделся. Суматохи вокруг прибавилось. Я сказал, что меня только что посетило видение при виде того расписного балдахина: я воочию наблюдал, как Наташа рассказывает князю Андрею о случае в лесу, когда она собирала грибы. Баур расхохотался. Кругом свистели, вопили, трещали. На деревьях болтались бумажные змеи. Парочка с коляской остановилась немного поодаль. В юго-восточном углу ресторанного садика на мачте вяло шевелился флаг. Статуя сирены на крыше пришкольной постройки походила на гриб.

“Биндшедлер, смотри, вот там, на первом этаже, был парикмахерский магазин, — сказал Баур, указывая на дом напротив. — Хозяйничал в нем долгое время один автогонщик по имени Кепеник, курил как паровоз. На затылке у него вечно были фурункулы. Прямо над ним жил Бенно, мой родной брат, он тогда на металлургическом заводе работал, гимнастикой увлекался, а летом все по грибы ходил.

Бенно жил в постоянном страхе, что жена его обманет; например, вернувшись домой, он тайком шарил в платяном шкафу или вызывал специального агента, чтобы при свидетеле поймать свою Розу с поличным. А в свободное время ходил за грибами и больше всего любил лисички собирать. Я иногда ходил с ним за компанию, с превеликим удовольствием. И когда я сегодня вижу лисички, ну, скажем, на базельском рынке, перед глазами сразу встает моя мать, которая склонилась над плитой, трещат в топке дрова, а она помешивает в сковородке лисички, и запах жареных грибов, наполняя дом, опять-таки напоминает о Бенно, который хотел поймать Розу с поличным. Вот так оно и идет все по кругу, Биндшедлер”, — добавил Баур. Возникло такое чувство, что нить времен все-таки не порвалась, вернее, что опасность разрыва миновала. Но, с другой стороны, мгновение стало восприниматься как нечто долговечное.

1. Л. Н. Толстой. Война и мир. Т. 3, гл XXV.

Под ресторанным балдахином маски кружились в хороводе, съезжали с горки, размахивая трещотками и бумажными змеями. В магазине напротив — ну там, где раньше заправлял своим парикмахерским салоном Кепеник, висели в витрине модели самолетов и громоздились картонные коробки. Я попытался представить себе, как выглядел этот самый Кепеник, заядлый курильщик с фурункулами на затылке, и решил, что у него наверняка была привычка носить шейный платок, даже за рулем гоночной машины.

"Биндшедлер, видишь вон того барабанщика? Я ведь его еще раньше спросил, умеет ли он вообще барабанить. Он с улыбочкой кивнул. Сдается мне, он забыл, что маску на лицо напялил, смотри, груша вместо носа. Этот парень, лет ему вроде около сорока пяти, он внук вдовы столяра, мы с Катариной ее время от времени навещали, ходили к ней в этот столярский дом, и там, на парадной половине дома, в гостиной, висела ее свадебная фотография, под которой она обычно в кресле сидела, и эта самая фотография с каждым разом темнела, деталей уже было не разобрать. Он на складе работает, этот внук, на штабелере ездит. Жена от него сбежала. Дети тоже куда-то подевались. А живет он ровно там, где раньше скорняк жил, который, к слову, тоже работал на металлургическом и гимнастикой увлекался, и в детстве я ему все кроличьи шкурки таскал и всякий раз боялся, что они ему не сгодятся.

Для внука вдовы столяра это великие дни, Биндшедлер, дни карнавала-то. В Амрайне всегда бывали люди, для которых карнавал — главное время. Люди, которые исключительно в такие дни и становились, собственно говоря, понятны другим", — сказал Баур.

Человек этот как раз тут и начал барабанить. Дети в масках выстроились в колонну следом за ним. Сразу вспомнился гамельнский крысолов. Пошли за ним на некотором расстоянии. Последними в карнавальном шествии шагали наши старые знакомые с детской коляской, у которой, судя по тихому покачиванию, обода были кривые. На площади перед "Медведем" кругом виднелись лиловые лужи. Ветер то и дело спускался вниз с балдахина и бороздил эти лужи.

Перед моими глазами встала Наташа, как она вместе с братом и дворней ехала в маске на санях к дяде в соседнее имение, участвовала в охоте на волков, и с охоты ее встречала балалайка. Оказалось, что это — распоряжение дяди, всякий раз встречать охоту балалайкой, а слуга-балалаечник сидел в охотнической.

Детская карнавальная процессия миновала бывшее подворье майора кавалерии, прах которого, говорят, был развеян из

дырявой урны по ветру в буквальном смысле этого слова. Прошла мимо бывших угодий Иоахима Шварца, которые прежде тоже находились по ту сторону местной речки, текущей сейчас где-то под тротуаром. Оставила слева ресторан, где Баур с одноклассниками в память о погибших школьных товарищах вкушали копченую колбасу с красным вином и хлебом. У края дороги, в ветвях, извивались бумажные змеи. Конфетти продолжало сыпаться прохожим в лицо или за шиворот. Парочка с коляской немного подотстала. Слышался как будто скрип колесных ступиц. Многие дети сдвинули свои маски на затылок, и казалось, что они пятятся задом. Барабанщик во главе колонны вовсю обрабатывал, обстукивал пластиковую мембрану. Глядя на стену, увешанную плакатами, я попытался представить себе белую детскую маску с бубенчиками под костюмом, которой приходилось в одиночку шагать по Амрайну, потерявшись под вечер первого дня карнавала. Именно в этот момент опять показалась стая голубей, летящая на запад. Через несколько минут голуби пересекли детскую маскарадную процессию в восточном направлении. Пройдя через подземный переход, вышли на площадь, на которой рядком стояли сплошные магазины. Здесь барабанщик остановился. Море масок заполонило площадь. “Вон там, Биндшедлер, стояла красная гостиница, ее потом снесли! — сказал Баур, кивком головы указывая на торговый центр “Кооп”. — В красной гостинице была штаб-квартира духовой музыки. Слышишь, Биндшедлер, по весне, когда ее снесли, окрестные каштаны ночи напролет проводили в сомнениях, растить ли им и нынче из своих почек новые голубиные крылья. А осенью, когда они все-таки вырастили из почек листья, они лежали, сброшенные, голубым эхом — подобные мертвым птицам”. Баур улыбнулся, провел рукой по лбу. Над торговым центром стояло белое облако. Я перенес тяжесть тела с правой ноги на левую, прислушался к трещоткам, трубам и тамбуринам.

“Красная гостиница была построена в конце того века, типичный фин-де-сьекль. Вход в ресторан, пара ступенек наверх, располагался на северо-западном углу. С восточной стороны к гостинице был пристроен мясной магазин, собственно, филиал конторы Иоахима Шварца. Дальше шла еще одна пристройка, универмаг, теперь все это как раз и называется ‘Кооп’. Там работал один управляющий, он еще фигурирует на снимке с гимнастами, который висит у моей дочери над столом, ну, ты знаешь, тот самый снимок, который под определенным углом зрения отливает перламутром, а сделано фото перед пивоварней. Раньше здесь главная улица проходила, потом вела через железнодорожные пути, и, стоя перед барь-

ером, когда опускался шлагбаум, можно было причаститься колбасному магазину, впрочем, только вприглядку, через сетчатку, — тому самому колбасному магазину, владелец которого одним из первых в Амрайне завел себе автомобиль, причем не обыкновенный какой-нибудь, а такой очень спортивный, практически гоночный. А в ветвях могучей липы, которая до сих пор стоит, запутывалось небо, особенно осенью, когда над Амрайном задувал драконий ветер, превращая телеграфные провода в струны арфы и разучивая зимнюю песню, поначалу совсем тихим голосом.

Эта площадь была своего рода эпицентром карнавала. Приезжие общества гимнастов, и среди них самый активный — кружок из Инквила, выступали здесь с танцевальными программами, показывали танцы — негритянские, индейские, цыганские. В цыганских во время танца ударяли в тамбурины кулаками, били по локтям и коленям. А потом неделями напролет мы пытались передать мальчишкам искусство цыганских, индейских и негритянских танцев, стремясь подражать образцам в одежде, вооружении и музыкальных инструментах. И то же самое вооружение мы использовали осенью, в пору традиционных сражений, под звуки арфы драконьего ветра", — рассказывал Баур. Он подвергся нападению в виде пригоршни конфетти, которую, проходя мимо, бросила ему прямо в лицо дама с детской коляской, сделав вид, как будто так и надо. И вправду, теперь было хорошо слышно: ступицы и оси детской коляски требовали смазки. И еще вблизи отчетливо видно было покачивание коляски, вызванное кривыми ободами, зато из поля зрения ускользнуло ее содержимое, о котором у Баура уже сложилось свое мнение. Парочка с коляской удалилась в сторону пивоварни, подтверждая подозрения Баура, что именно паре с детской коляской и детской маске с лошадками или санками под белым костюмом предстояло выступить на карнавале в одиночку, одиноко или, так сказать, потерянно.

Продвинулись на несколько шагов вперед. Баур стряхивал с плеч конфетти. Торговый центр походил на теплоход: вот первая палуба, вторая, третья, — но до парохода с Миссисипи явно не дотягивал.

"А здесь, вот на этом самом месте, каждый раз в понедельник вечером, устраивали грандиозный спектакль. Маски плыли по площади, танцуя, жестикулируя, крича, они двигались от гостиницы к 'Павлину', от 'Павлина' — к гостинице, причем обслуга 'Павлина' перемещалась в гостиницу и работала там — и наоборот. Ресторан 'Павлин' находился к югу от красной гостиницы, и вместе они образовывали прямой угол в се-

веро-западном направлении. В ресторане красной гостиницы стояло электрическое пианино. Музыку задавала картонная лента с дырочками. То была музыка фин-де-сьекль, звуки которой время от времени, и прежде всего в дни карнавала, роем устремлялись из красной гостиницы, взвиваясь вверх, и терялись в кронах каштанов, листья которых ложились на землю, словно мертвые птицы", — сказал Баур и втянул в себя воздух, присвистнув высоко и низко. Между тем какой-то ребенок в маске встал перед Катариной, чтобы поздороваться с ней. Катарина протянула ему руку, низко поклонилась, похвалила самодельную маску. Все по-прежнему было пронизано белесым светом. Никакого ветра в тот момент не чувствовалось.

"Здесь я однажды прогуливался в наряде пекаря, вместе с Линдой. А распорядитель по костюмам, его звали Остервальдер, так до сих пор и стоит на своем стуле, овеваемый время от времени перламутровым глянцем, слева, в самом заднем ряду, там, где все почетные члены, в темном костюме, из-под расстегнутого пиджака виднеется двухцветная лента гимнастического общества. Этот коллективный портрет гимнастов, как ты знаешь, долго хранился у нас на чердаке, заслоненный пружинным матрасом, в коричневой рамке, немного запыленный, разумеется", — сказал Баур, оглядываясь вокруг, словно занимаясь подсчетом отсутствующих каштанов.

"А вот тут недавно прошагал мимо один человек, пружинистым шагом, словно был обут в мокасины, можно было подумать, что его задача — явиться или уйти незамеченным. Этот человек пятьдесят лет назад был одним из устроителей ночного натюрморта в дни Амрайнского карнавала: комнаты в 'Павлине', распахнутая дверца кассы, в детской кроватке дочка хозяина — с комком ваты на лице", — сказал Баур.

Внук вдовы столяра, громко барабаня, зашагал в сторону Юрских гор, выбеленные вершины которых высились на севере, а контуры, если глядеть отсюда, то и дело прерывались стоящими кругом объектами недвижимости, но все равно можно было догадаться, что контуры эти мягко растворяются в небе, наподобие музыки Чарлза Айвза, теряющейся в молчании, в тишине. Между тем дети в масках вновь построились в колонну и зашагали следом за барабанщиком, причем девочка в самодельной маске бежала с мамой за руку позади всех. Мы пошли за ними на некотором расстоянии.

"Биндшедлер, вот здесь тоже открывалась возможность кое-чем поживиться, и опять только вприглядку", — сказал Баур, указывая на мебельный магазин, стоявший напротив здания школы. Прежде он был покрашен в желтый имперский цвет, и это неизгладимо врезалось в память. В первые

два года учебы это созерцание мебели их особенно развлекало. У них была учительница, которая всегда ходила в коричневых полуботинках, она первая однажды принесла в школу бананы и засахаренный бернский лук. А на полуботинках у нее были настоящие индейские шнурки. Эта учительница переехала потом в Берн. Позже она умерла от атеросклероза, так что ее никто с тех пор не видел.

Мы шли мимо здания школы.

“Здесь, в северо-западном крыле, слышь, Биндшедлер, были старшие классы. Здесь и распустилась пышным цветом любовь к Линде. А вот там, слева, видишь окошко с барочной кованой решеткой? Там находилась школьная лавка, и мои коричневые полуботинки были куплены именно здесь, ну те самые, для конфирмации. А железная ограда справа – она еще тех времен. И турник тоже, я на нем большой оборот делал. Гимнастика была моей страстью. Я даже подумывал, не стать ли мне акробатом в цирке”, – сказал Баур.

На крыше трансформаторной будки каркала ворона, но ее перекрывала барабанная дробь в исполнении внука вдовы столяра, чья свадебная фотография, по мнению Катарины и Баура, постепенно темнела.

“На эти деревья, – сказал Баур, указывая на каштаны южнее пивоварни, – я частенько засматривался из окон того самого северо-западного крыла, особенно весной, когда *нежная* зелень окутывала кроны и сквозь нее просвечивал фасад пивоварни, прямо как в Париже”.

После того как детская маскарадная процессия расползлась между столиками на террасе ресторана, он встал, прислонившись спиной к каштану, этот внук вдовы столяра.

Между тем время подходило к четырем часам дня. Все так же светило солнце. Его белесый свет ложился на крыши, на юго-западные фасады, на кроны каштанов сверху, освещал он и людей (во всяком случае, те части их тел, которые были к нему обращены). Сейчас, в карнавальную субботу, в первый день того великого (по Бауру) представительного времени, когда мир раскрывается во всем своем великолепии, каковое и на самом деле, очевидно, ему присуще, чтобы во все оставшиеся триста шестьдесят два дня действовать словно под маскировкой. Из переулка открылся вид на Юрские горы. Я сказал Бауру, что эти горы своими мягко расплывающимися очертаниями напоминают мне музыкальные композиции Чарлза Айвза, которые точно так же словно тают, уходя в тишину. Баур ответил, что если смотреть на эти горы с шоссейного моста, то эта расплывчатость настолько бросается в гла-

за, особенно вечером в хорошую погоду, что возникает соблазн — коли уж привлекать какие-то музыкальные ассоциации — сравнить это таяние с Четвертой симфонией Шостаковича, причем постепенное затихание звуков в этой симфонии, во всяком случае для него лично, самое захватывающее во всей истории музыки, насколько он может судить, опираясь на ретроспективный обзор. Причем в истории музыки речь идет скорее не об обзоре, оценке на взгляд, а о суждении на слух, о прослушивании. Следующую, Пятую симфонию, Шостакович, реагируя на критику партии, завершил совсем иначе, так сказать, громоподобно.

Между прочим, как раз недавно он наткнулся на имя Шостаковича в связи с портретом русской пианистки Марии Юдиной, о независимости и личном мужестве которой Шостакович сообщает такие вещи, что дух захватывает. Например, она всегда и в любой компании сообщала о своих религиозных убеждениях, даже в тех условиях, когда атеизм в России настолько доминировал, что одна принадлежность к церкви имела для человека скверные политические последствия. Ее платье, напоминающее монашескую рясу, также красноречиво говорило о стремлении открыто провозглашать свою веру. Самая невероятная история, однако, связана со Сталиным. Диктатору понравилась непостижимым образом попавшая к нему пластинка с до-мажорным фортепианным концертом Моцарта № 25, по каталогу Кехеля № 503. Он распорядился отправить пианистке 20 000 рублей. Она (по словам Шостаковича) ответила следующим письмом: “Благодарю Вас, Иосиф Виссарионович, за Вашу помощь. Я буду молиться за Вас денно и нощно и просить Господа, чтобы он простил Ваши прегрешения перед народом и страной. Господь милостив, он простит. А деньги я отдам на ремонт церкви, в которую хожу”. С Юдиной ничего не сделали. Утверждают, что пластинка с моцартовским концертом стояла у Сталина на диске патефона, когда его нашли мертвым в загородной резиденции.

Во времена всеобщего нивелирования личности и сходящего на нет индивидуализма фигуры, подобные Марии Юдиной (судя по портрету), несли людям утешение и радость. И, наверное, такие характеры могли формироваться и расцветать только под диктаторским давлением, когда попиралась духовная свобода.

Баур поправил на голове шляпу.

Вечерами на исходе лета над Юрскими горами нередко появлялись барашковые облачка, розовые, и было их очень много, и тогда размывание очертаний превращалось в величественную симфонию угасания. И если такие вечера прихо-

дились на субботу, то по воле случая с белых церковных колоколен вдоль хребта Юра лился колокольный звон, мощно вливаясь в эту симфонию угасания.

Прошли мимо пивоварни. Баур забыл оповестить окружающих, что именно здесь когда-то фотографировалось общество гимнастов. Но, судя по двум каштанам, слева и справа обрамляющим дом, по балкону над парадным крыльцом и черным кованым перилам, наверняка как раз здесь и было то самое место, где управляющий универмагом стоит на стуле в самом заднем ряду вместе с тремя другими ветеранами гимнастического общества, а само общество сгруппировалось вокруг.

А каштан, который высится с северной стороны, — тот самый, в семи шагах от которого стоял Баур, когда мимо проезжала праздничная процессия госпитального базара, и вместе с нею — Иоганна, изображавшая *Гельвецию*, в повозке с упряжкой убранных цветами лошадей.

Баур посмотрел на землю. И здесь тоже кругом все было усыпано конфетти. На кустах и выступах стен висели бумажные змеи, красные и зеленые.

Завернули на дорожку, по которой наверняка частенько хаживали Гизела, Юлия, Иоганна, а также Бенно и Филипп. Миновали вишневый сад на повороте дорожки. Сквозь ветви яблонь увидели значительный фрагмент Юрского массива, который простирался на восток, и в верхней его части виден был какой-то замок. В отчетливой прозрачности мгновения вороной жеребец, стоявший под яблонями на лугу торговца яйцами, воспринимался как статуя.

Подойдя ближе, Баур сказал мне: “Вот за этой дверью на гумно Филипп однажды встал, подняв вверх мотыгу. Он сказал: ‘Если попробуешь войти, я опущу мотыгу!’ Я вошел. Он опустил мотыгу... Несколько месяцев спустя я за Филиппом погнался. Он споткнулся о каменный колодец за домом, колено повредил, причем серьезно, — сказал Баур и посмотрел на опорную балку крыши, словно хотел сказать, что под этими стропилами училось жизни не одно поколение; потом указал на дощатый пол гумна и добавил: — Здесь стояла паровая молотилка, которая в конце лета путешествовала от одного двора к другому, испуская клубы дыма. В те же времена часто случалось, что локомотивы на железной дороге, выбрасывая искры, поджигали живые еловые изгороди вдоль путей, и это очень беспокоило стада коров, а тем временем сливовые деревья вверх и вниз по долине вбирали в себя всю голубизну неба, пронизанного ястребами, которые парили попарно в вышине, издавая пронзительные крики, что немного не согласовывалось с созидательным занятием сливовых деревьев”.

Я подумал о полковнике Бахмане, том древнем тощем старичке, которого Баур посчитал умершим. Луч солнца, пробившись между кирпичами, отразился в сияющей лысине Баура, который именно в этот момент обернулся и сказал: “На одном из этих ящиков лежал когда-то увитый лентами венок, который мы доставили в Цюрих на похороны Бенно. Он лежал под ясным небом в открытом гробу, можно было разглядеть левый клык у него во рту”. Баур надел шляпу, обстоятельно придал ей нужную форму. Обойдя дом, он остановился и сказал, что именно здесь стоял свояк Фердинанд, глядя на вишню и произнося знаменательные слова о том, что больше никогда не допустит, чтобы его вишни разрастались так высоко.

Он спилил у них все верхушки. Он не хотел, чтобы вишни у него были высокими. На газоне западнее садового домика цвели желтые весенники, попадались и белоцветники. Даже подснежники встречались порой. Позади, в плодовом саду, виднелась белая дымка. Подойдя ближе, я убедился: это все белоцветники. Баур присел на корточки и замер, возможно, ожидая порыва ветра, чтобы ощутить аромат, — и дождался.

Солнце явно собиралось уже скрыться за холмом. Снова, подойдя к весенникам, я подумал, что это наверняка та самая вишня, под которую Анна с криком убежала прятаться от своих преследователей, намеревавшихся сплавить ее в психиатрическую клинику. Прохладный ветер освежал виски. Солнце зашло незаметно, никакого торжественного зрелища не было.

“Биндшедлер, ровно там, где ты стоишь, была раньше земля для пастбища и пашни. На северо-западе по весне всегда зеленело пшеничное поле, в середине лета оно уже было золотым и напоминало морские волны, когда поднимался ветер. А мужчина с пегой окладистой бородой, отец Анны, был, что называется, архитектором этого ландшафта, он делал так, чтобы осенью прямоугольный участок земли в северо-западной части его земельных угодий начинал выделяться насыщенным бурым цветом, а через несколько недель на этом участке появлялась *нежная* зелень. Секрет был прост: он сеял пшеничные зерна, бессознательно имитируя ван-гоговского “Сеятеля”, правда, еще через несколько недель ему приходилось мириться с тем, что всю его забаву с бурым и зеленым перечеркивала зима, растянув над возделанным полем белое покрывало, словно призывая глаза к покою, по крайней мере на несколько недель, после чего здесь начиналась настоящая оргия красок, предстающая отдохнувшим глазам вокруг вновь обретенного прямоугольника, покрытого *нежной* зеленью, и все это была прелюдия к победоносному круговороту”, — ска-

зал Баур, профиль которого на фоне гаснущего неба напоминал вырезанный ножницами силуэт. Полувальмовая крыша дома Баура отливала перламутром. По Амрайну разносилась барабанная дробь.

Поленница у северной стены дома в основном состояла из сливовых поленьев — на дрова порубили сливу, пораженную древесным грибком, который вредил дереву последние два-три года: ветки сделались ломкими, листья и плоды становились все мельче и мельче, сказал Баур. А ведь он мастерски завалил его, это дерево: обнажил боковые корни вокруг ствола, обрубил их топором и потом только свалил дерево с помощью веревки, привязанной к верхушке. Когда дерево упало и обнажились мощные стержневые корни, оказалось, что они полностью изъедены грибком, а ведь это и была причина, почему сливу непременно надо было убрать. Если бы он его просто спилил, сказал Баур, оставалась бы, кроме того, опасность, что крестьянин во время сенокоса наткнется на пень.

Ему было жаль этого дерева, ведь более полувека назад он срывал с него спелые сливы; иногда целыми днями, как говорится, торчал под ним, прислушиваясь к местности, правда, ничего особенного не слышал, потому что в ту пору здесь находились только дома акушерки, почтальона и мужчины с пегой окладистой бородой. Соседней фабрики тогда еще не было. Здесь, в основном, заготавливали сено для коров, потому что на клочке земли под названием “треуголка” росла всего одна яблоня — золотой ранет, а клочок этот Бенно взял в аренду у одного землевладельца. На соседнем поле, отделенном от “треуголки” ручейком, когда-то стоял лен. Когда лен однажды зацвел, синими такими цветами, Баур нарвал себе букет. Хозяин этого поля нажаловался тогда его матери, что, впрочем, не избавило Баура от пристрастия к голубому цветку.

Однажды во время игры одна девчонка улеглась в боковую борозду на этом поле. Тогда он принес в ладонях воды из того самого ручейка, что отделял льняное поле от “треуголки”. Эту воду он вылил девочке на венерин бугорок; а брат этой девочки, помнится, все играл своим париком, стоя на перроне в Амрайне, когда служил в армии, десятилетиями позже, разумеется, проговорил Баур, повернув лицо к угасающему небу, и так замер на некоторое время — вид его чем-то напоминал старую фотографию.

Он был дитя природы, не иначе, сказал про себя Баур, вновь поворачиваясь ко мне, поэтому вновь почувствовал себя в своей тарелке только тогда, когда в поте лица своего стал возделывать фруктовый сад. На это же указывает и его увлечение Торо, Генри Дэвидом Торо, который построил се-

бе в лесу хижину, на берегу озера, чтобы годами наблюдать за рыбами, травой, кленом, белкой, землеройкой, лисой, совой, снегом, ветром, молнией, льдом. Причем свои наблюдения он описал и сделал это до того удачно, что книга являет собой захватывающее чтение даже в переводе. Баур все время испытывает тягу к такому образу жизни, но редко может себе позволить помечтать об этом. Ведь так всегда: именно тем, что тебе близко, ты, по странному стечению обстоятельств, с легкостью пренебрегаешь. Именно так происходит у него с "Войной и миром" Толстого: всю жизнь — и всегда это происходило осенью — он испытывал отчетливую потребность в этой книге, но только минувшей зимой ему довелось эту потребность удовлетворить.

Тем временем мы зашли в садовый домик. Стояли оба, опустив руки по швам, взгляды устремлены на Юрские горы. Было уже совсем холодно. Что нас действительно объединяет, произнес Баур, так это, видимо, любовь к Востоку, я имею в виду славянские народы. Приходится признать, сказал он, что Россия для него воплощает страстную тоску по родине, возможно потому, что она такая большая — и такая истерзанная. Он считает, что на земле мало народов, которые столь самодостаточны. А те деформации, которые они испытывают сегодня, те непостижимые, бессмысленные деформации — они чем-то напоминают инфекционные заболевания, их просто нужно пережить, они — вроде насморка.

Мы оба посмотрели на Юрские горы, над которыми ширился покров тени. Я убедился, что весь южный склон порос буками, и представил себе, как четко выделяются буковые стволы на белом фоне, когда там выпадает снег. Вспомнил, что (по рассказам Баура) горы начинают как бы *кипеть* еще за несколько дней до наступления плохой погоды. Попробовал представить себе эту картину и тогда действительно услышал далекое *пение лесов*, и это пение перенесло меня назад, в тот вечер накануне битвы при Бородино, когда главнокомандующему сообщили, что пехотинцы надели белые рубахи, они готовили себя к завтрашнему дню, к смерти. На что Кутузов сказал: "Чудесный, бесподобный народ! — А потом, качая головой, с закрытыми глазами повторил еще раз: — Бесподобный народ!" Из Амрайна доносились звуки трещоток и рожков. Где-то совсем далеко гремел барабан.

Еще раз вышли наружу, в сад. Баур остановился, указал на островок свежей земли и сказал: "Здесь стоял клен, причем с тремя стволами. Но ты видишь, Биндшедлер, между этим каштаном и той группой ореховых деревьев уже ничего больше не помещается, тесно. Поэтому мы с Катариной и решились уб-

рать этот клен. А здесь, где сейчас ты видишь несколько кустиков белоцветника, тоже стоял клен, правда, другой — красный, у него такие же цветы, как у шарообразных кленов на улице Индустриштрассе. Он плохо сочетался с соседними деревьями, да еще вдобавок так резво пустился в рост, что забот с ним было хоть отбавляй. К тому же осенью, когда он сбросил листья, образовалась целая гора палой листвы. А в нашем возрасте, Биндшедлер, развивается отвращение к палым листьям. Березы мы тоже спилили. Они стояли слишком близко к дому, водостоки то и дело засорялись березовыми сережками, а по осени — забивались листьями. Помимо прочего, березы относятся к разряду деревьев, которые не терпят обрезки, они, можно сказать, истерично реагируют на вмешательство в свой рост и всегда в ответ на обрезку начинают буйно и необузданно расти.

А видишь, Биндшедлер, вон ту низинку возле сливы, здесь раньше находился пруд с утками и гусями. Вокруг него стояли индюки, издавая клокочущие звуки, покачивая гребнями. Сад был обнесен проволочной сеткой, и зимой, покрытая инеем, в лучах солнца она казалась гибким драгоценным ожерельем. Мы видели его в окно гостиной, во всяком случае ту часть, которая выходила на улицу и где стояла старая вишня. Возле нее наш последний вороной конь еще раз оглянулся на дом, когда коновал уводил его", — сказал Баур, почесал себя за правым ухом (четырьмя пальцами правой руки, на тыльной стороне которой виднелись родинки), с плотоядным выражением прикрыл правый глаз и голову слегка склонил вправо, а левую руку чуть приподнял и в этой позе напомнил ангела, стоящего справа от ступеней крыльца, у входа на виллу торговца сыром, поднимая над головой лавровый венок, который (венок) вызывает в памяти тамбурин, когда цыганки вскидывают его над головой во время карнавала (по рассказам Баура) на площади перед красной гостиницей.

"На том месте, где сейчас стоит садовый домик, находился мой маленький садик, Биндшедлер, а в нем малина, клубника, астры, морковка. Особенно меня интересовала клубника. Она казалась мне чем-то чужеродным, чем-то из доисторических времен. Там я проводил эксперименты, ботанические эксперименты, обреченные на неудачу. В мой садик однажды забрела курица. Я пытался курицу прогнать. Курица вспорхнула, натолкнулась на проволочную сетку, упала, да так и осталась лежать, видимо, стала жертвой сердечного приступа. Так что мои контакты с курами отягчены муками совести", — подытожил Баур.

Теневая завеса над южными склонами Юры сгустилась, небо на западе поблекло, бывшее имение Анны стало темнее.

Я сказал Бауру, что мне только что пришло на ум слово *Араканга*, он знает, это зоопарк на Унтерфюрунгсштрассе, семнадцать, в Ольтене. Мне пришло в голову: бывают же такие роскошные слова: вот эта *Араканга*, к примеру, или — *Бородино*.

Было, как я уже сказал, очень прохладно. Пошли в дом, чтобы на втором этаже поужинать: рис с шампиньонами, зеленый салат. Гостиная была обшита деревом. К западной стенке лепилась скромная книжная полка. В проеме между окнами висела "Девочка на красном фоне" Анкера[1] (разумеется, репродукция). Офорты с изображением трав и пейзажей украшали остальные стены.

На десерт подали кофе и печенье. Баур сказал, что раньше он был заядлым курильщиком. С двадцати четырех лет он больше не курит — по случайному совпадению ровно столько же лет, сколько он дымил как паровоз. Он считает, что курение сжигает духовную энергию. Кстати, именно в этой комнате лежала Лина, жена Филиппа, когда у нее был туберкулезный менингит, и она выздоровела.

Над полями и угодьями между тем наступила ночь. Уже замерцали отдельные звезды. Серп луны висел прямо над Амрайном, где все слышнее громыхал карнавал: шутихи, гудки, сигналы трубы, беспорядочный барабанный бой.

Я подумал о Филиппе — и о вопросах, которые хотел бы задать.

Поблагодарил Катарину, собрался было спуститься вниз, но взгляд упал на один из офортов с изображением горы, цветной офорт, Баур, видимо, тоже обратил на него внимание, потому что тут же ни с того ни с сего подошел ко мне и сказал: "Завтра вечером именно здесь — причем топографически изображение не очень точное — будут праздновать День солнцестояния. На гребне этой горы зажгут огни, точно не менее пятидесяти, а у подножия будут запускать ракеты, чтобы в ночном небе распустились хризантемы, японские вишни (все в цвету, конечно), целые сады. А вот оттуда, — и он указал на место правее офорта, — другой такой же клуб будет стараться запустить в небо свои огненные сады, тоже с помощью фейерверка, внизу границу обозначат горящими кострами. Раньше этот праздник солнца праздновали каждый год, и всегда в карнавальное воскресенье по старому календарю, в восемь вечера, открывался он выстрелами из ракетниц. Это

1. Альберт Анкер (1831—1910) — швейцарский живописец, прославившийся в первую очередь отображением сельской жизни.

очень известная церемония. И тебе, Биндшедлер, думаю, понятно, что с годами, по прошествии десятилетий, она слилась воедино с религией, с карнавалом, с танцами инквильского гимнастического общества, которые исполнялись каждый раз на площади перед красной гостиницей — все эти индейские, негритянские и цыганские танцы. И если в течение года вам доведется увидеть замок Бехбург, то нередко вместе с ним вы видите хризантемы и огненные сады, и именно в тех местах исполняются упомянутые танцы".

Баур надел очки, показал пальцем на какую-то точку на офорте со словами: "Видишь, вот Амрайнская церковь. Это южный склон Юрского массива. Правда, замок Бехбург уже не так выглядит. Вот эта башня еще стоит, и та — тоже, но строения между ними уже разрушились, только фасады остались, а за ними ничего нет. На их месте сейчас висячий сад, и позади него старые каштаны, они хорошо видны.

В этом замке Бехбург я был однажды на дне рождения. Причем тогда мне впервые довелось посмотреть на Амрайн сверху. Южный склон Юры я до того момента тоже никогда не видел с этой перспективы. Вид на Швейцарское плато был просто грандиозен. Во время праздника я не раз заходил и в висячий сад, бывал там и в сумерках, и ночью — чтобы взглянуть на окружающие земли или чтобы снаружи заглянуть в пиршественный зал, одновременно держа правую руку на бруствере, чтобы прощупать пульс замка. Я люблю этот замок, Биндшедлер. Ну а кто, собственно, не любит замков? Недавно я прочитал книжку о замках Луары, довольно бегло ее просмотрел — и выяснил, что эти замки очень интересовали Бальзака, некоторые из них даже попали в его книги. Я стал думать о Бальзаке лучше.

Всякий раз заново для человека оказывается сюрпризом, Биндшедлер, что местность, импонирующая человеку, сразу вызывает в памяти образ женщины, и ты непроизвольно приписываешь ей историю жизни, обязательно связанную с обсуждаемой местностью и обладающую красноречивыми, хотя и юношескими, достоинствами. Причем выдуманные истории жизни всегда оказываются проще, чем реальные". Он отступил на шаг. Снаружи слышались вопли, гудки, беспорядочный барабанный бой.

"Так вот, значит, речь у нас шла о замке Бехбург, который сейчас выглядит несколько иначе. Теперь к замку ведет аллея. У меня она всегда связана с Рильке, с его 'Осенней песнью'. И когда я по этой аллее шагаю, Райнер Мария Рильке тут же присоединяется и шагает вместе со мной. И восточная башня Бехбурга кажется мне тогда башней замка Мюзот, где Рильке за-

канчивает свои ‘Дуинские элегии’, где на него находит ужасающая немота, в этой атмосфере его сводит в могилу болезнь, а *далекая возлюбленная* преданно ухаживает за ним до смерти — находясь далеко от Мюзота”, — сказал Баур и добавил, что День солнцестояния празднуется теперь раз в три года.

Катарина тем временем отнесла всю посуду на кухню и сразу приступила к мытью. Мы предложили свою помощь, она отказалась.

Снова отправились в путь, спустились вниз по лестнице, вышли на террасу и остановились. Баур указал на фруктовый сад, говоря: “Вон в той низине стоял обрубок ивы, прутья которой действительно шли на плетение корзин, а плел их Якоб-корзинщик, тот, что жил на склоне и был не только корзинщиком, но и пасечником, коз разводил и за деревьями ухаживал. В этом саду тоже есть деревья, которые он прививал. Он применял прививку черенков в расщеп. Просто никакого другого способа не знал. Якоб-корзинщик был большим ретроградом. Например, он не терпел у себя электрического света. Перед домом у него рос каштан. А под каштаном был колодец, в каменной нише которого он замачивал ивовые прутья, чтобы они сделались гибкими. Якобу-корзинщику открывался вид на долину, на лес, над которым весной дымилась цветочная пыльца, словно желтые облака невиданной величины. Небо тоже необычайно красиво смотрелось с его участка. Якоб-корзинщик вовсю использовал это преимущество и сделался знатоком погоды, соглядатаем *сил небесных*. А в синеве его глаз была частица амрайнского неба в ту пору, когда расцветает луговой шалфей. — Баур провел рукой по голове, ладонь его задержалась на затылке, пока он разглядывал Большую Медведицу, раскинувшуюся над Юрскими горами. — А сегодня от той ивы ничего уже и не осталось”, — добавил он под конец.

Было зябко, посмотрели на градусник, висевший в беседке: минус два. Что поделаешь, февраль на дворе. Температура к утру может опуститься еще на три-четыре градуса. А днем погода уже, собственно говоря, теплая и солнечная, десять-двенадцать градусов тепла. Возможно, в марте февральская неустойчивость продолжится.

Когда мы вошли в нижнюю комнату, Баур указал на глиняные плиты со словами: “Здесь когда-то раньше стояла печка с подогреваемыми сиденьями, не кафельная, а облицованная песчаником. Однажды трубочист отсоветовал ею дальше пользоваться. К тому же выяснилось, что стену за печкой повело и она все больше выпучивается — пришлось ее срочно заменять. Решили дымоходы не перекрывать, и вместо печки построили камин. Кузина Элиза частенько стояла, при-

слонившись к этой печке, вся в черном, худая, с покрасневшими глазами. Локтем правой руки она опиралась обычно на верхнюю плиту-сиденье, рассказывая нам про жизнь, в основном про ту, которая шла на другом берегу реки. Вот так, Биндшедлер, она у меня в памяти и осталась — как *кузина Элиза, стоящая у печки*, и повешена эта картина на южный склон моей души". Баур шмыгнул носом довольно демонстративно и зашагал взад-вперед, на разворотах пружинисто прочерчивая в воздухе полукруг правой ногой.

Шторы на окнах подняли вверх. На столе в глиняном кувшине стояла ветка форзиции. Я сел в кресло, стоявшее, вполне вероятно, там, где когда-то стоял Баур в день конфирмации в синем костюмчике, держа в руках коричневые полуботинки, и говорил мне, что между окнами на секретере вроде бы должны стоять две влюбленные парочки, которые Баур предоставил для призов в дни детского храмового праздника, а потом заполучил обратно, так что эти милые фарфоровые фигурки вновь встали по обеим сторонам зеркала, перед которым приводила себя в порядок Иоганна, когда ей довелось исполнять роль *Гельвеции* летним воскресным днем в двадцатые годы.

Мне пришло в голову, что в картинной галерее Баура (во всяком случае, согласно моему опыту), судя по рассказанному, должны непременно висеть следующие картины: *Кузина Элиза, стоящая у печи, Поле, усеянное костями, Три женщины с хризантемами.*

Из Амрайна снова донесся барабанный бой, гудки, ликующие крики. Баур решил развести в камине огонь: поверх скомканной газеты он шалашиком сложил тонкую лучину, добавил более увесистых поленьев, поджег бумагу и схватил каминные щипцы, чтобы подправить это дровяное сооружение, если, горя, оно начнет разваливаться. Огонь начал гореть ровно, и Баур подложил пару крупных березовых плашек, наверное, от тех самых сваленных им берез, которые он уже упоминал. Одна, трехствольная, стояла раньше прямо перед домом, две другие — по отдельности позади дома, причем настолько близко, что сережки и листья всякий раз засоряли водосток, и ситуацию никак нельзя было улучшить подрезкой деревьев, поскольку березы этой операции не переносят и отвечают на обрезку истерически буйным ростом.

Баур подложил еще дров, посидел некоторое время на корточках перед камином, из которого поначалу пыхнуло дымом в помещение, провел рукой по каминной полке, к которой утром время от времени прислонялся, рассказывая о встрече ветеранов и то и дело сожалея, что я не мог на ней присутствовать.

Между тем я взял в руки иллюстрированную книгу “Замки Луары”, которая лежала на видном месте, думая о словах Баура, что, мол, местность, располагающая к себе человека, как правило, сразу требует женщину, которой вегетативно можно приписать оживленную жизнь, соотносящуюся с этой местностью. Я как раз открыл страницу про замок Вилландри, где с правой стороны, в цвете, — общий вид замка, живописное изображение в разгар лета. И почувствовал, что точка зрения Баура и вправду добавляет достопримечательным местам очарования.

На другой странице я увидел черно-белую фотографию с изображением павильона, у которого левая сторона была обрезана краем страницы, перед ним — булыжная мостовая, лестница с двумя маршами, ведущая в террасный сад и обрамленная деревьями. Между лестницей и павильоном открывается вид вдаль.

Но самыми обворожительными в Вилландри были сады. Их восстановил доктор Карвальо в тридцатые годы. Эти сады, среди которых возвышалась главная башня и красовался на холме сам замок, располагались тремя ярусами. Их задумали в подражание садам эпохи Ренессанса: огород, огромный квадрат с цветочными клумбами, окаймленными стриженными кустами самшита, фигурный сад в партере с разноцветными грядками, в самом верхнем ярусе — каскад фонтанов.

Две трети цветных иллюстраций посвящены были самшиту, фигурно подрезанные кустики которого составляли орнамент. Сам дворец стоял на берегу маленького озерца, сиял желтыми имперскими фасадами, отличался импозантной конструкцией крыши и многочисленными каминами.

Дымка истории, обволакивавшая Вилландри, навевала чуть ли не меланхолию. На ум приходили Наполеон, Бородино, Наташа, а между тем сквозь окна ворвалась ночь. *Девочка на красном фоне* сидела у открытого окна на самом верху башни, слушая звуки гитары, доносившиеся из самшитового сада, под луной, подернутой розовой дымкой. Да-а! Вот в какие дебри может увлечь Баур своей болтовней о замках и женщинах. Я захлопнул книгу с большой неохотой.

Между тем в каком-то подъезде, гараже или сарае наверняка уже поставили ту коляску, покачивание которой, как мы достоверно выяснили, связано было с кривизной деревянных ободов, ту самую, которую вечерней порой везла супружеская пара в масках, идя какое-то время позади детского маскарадного шествия. Правда, ее содержимое (астральные субстанции, которым — как утверждал Баур — суждено противостоять разрыву времен, и это происходит всякий раз в первый день Амрайнского карнавала) наверняка уже улетучилось.

Баур зажег два свечных огарка, сунул вилку в розетку, подошел к проигрывателю, поднял крышку и сказал: “А сейчас послушаем балалайку”.

К слову, эту пластинку привез им из России сын вместе с остальными шестью пластинками. Он ездил по Транссибирской магистрали, не обошлось без приключений, что называется, потому что, пока ехали до Байкала, у него разыгралась невралгия, и левая половина лица распухла, так что потребовалась срочная консультация врача, и весь план путешествия порушился, потому что ему пришлось срочно отправиться в Москву, а оттуда он самолетом вернулся на Байкал, чтобы продолжить путешествие Транссибирским экспрессом.

Баур выключил свет. Мы расположились у камина. Балалайка все сильнее и сильнее затмевала того гитариста в самшитовых кустах под окном. Казалось, мы перенеслись на берега Немана, где стоял Наполеон, глядя в подзорную трубу на русские степи, в глубине которых ему мнилась Москва и откуда его прогнал неповоротливый с виду Кутузов, и этот факт отогнал балалайку на некоторое расстояние, побудил ее на время уступить поле битвы гитаре, пока Наполеон не оказался у окна на острове Святой Елены, он стоял, скрестив руки на груди, наблюдая за парусным судном, вот оно отошло от берега, и тут балалайка начала прорываться снова, все громче и громче, а парусник все удалялся — с Марией Валевской на борту.

Тем временем к нам присоединилась Катарина. Теперь мы сидели у камина втроем, слушая балалайку и отдаленный барабанный бой.

— Как поживает Филипп? — спросил я у Баура.

— Филипп умер, — сказал Баур.

Раздался выстрел из ракетницы, и перед глазами распустилась розовая вишня, огненный сад.

— Месяца полтора назад мы ездили на кремацию, — сказала Катарина.

Баур сделал музыку потише. Пахло березовыми дровами.

“Иоганна говорила, что Филиппу снова пришлось делать химиотерапию, — сказал Баур. — Это было перед Рождеством. И на этот раз он на все рождественские поздравления ответил, как говорится, с обратной почтой, еще и поздравление к Новому году успел послать.

А потом звонок Иоганны: ‘Филипп умер’.

Это было в воскресенье.

В тот же день началось расследование одного происшествия, и машинист локомотива показал, что рано утром, недалеко от станции Бехбург, прямо на путях перед локомотивом внезапно возник человек. Тело подняли с рельс, и тут обнару-

жили машину, в которой была найдена жена этого молодого человека, она была мертва.

Знаешь, Биндшедлер, несколько десятилетий назад тут сгорело одно подворье. Оно стояло южнее Амрайна, на лесной опушке. Во время спасательных работ пожарники наткнулись на два обгорелых трупа. Это был мужчина с винтовкой в руках и корова с веревкой на шее.

На месте пожара позже стоял улей одного учителя, который каждому своему классу читал вслух притчу Толстого 'Сколько человеку земли нужно?' и дом которого постигла та же участь (то есть он сгорел), и было это в тот период, когда в Амрайне месяц за месяцем, всегда в ночь с воскресенья на понедельник что-нибудь да горело. Теперь на месте пожарища весной и осенью устраиваются выставки, и музыка из выставочных павильонов — при нужном ветре, разумеется, — долетает до упомянутого улья, владелец которого наверняка давно уже сменился.

Представляешь, Биндшедлер, тот мужчина с винтовкой в руках был дедом супруга той женщины, которая сидела в машине возле железнодорожной платформы — мертвая".

Долго смотрели в огонь.

У меня перед глазами запестрели фиалки, которые (по словам Баура) зацветают на южном склоне Юры как раз в пору Амрайнской весенней ярмарки. Причем в синеву фиалок вливался барабанный бой, такими пульсирующими толчками.

"Иоганна взяла на себя заботу о венке. Был вторник, когда мы отправились в крематорий. Холодно было", — сказал Баур, подложив в огонь пару березовых поленьев. Он выглядел утомленным.

"Ну вот, ехали в поезде. Гизела приехала на пригородном из Верденбурга. Иоганна, Фрида и наша дочь ехали на скором, в который мы потом должны были подсесть. Мы с Катариной оказались напротив Иоганны и Гизелы. Остальные сидели через проход. Дочь пыталась подбодрить всех анекдотами. Мне нездоровилось.

'Ты слишком мало ешь!' — сказала Иоганна, посмотрев на меня.

Мне невольно вспомнились индюшки моей матушки, их неотступные взгляды, булькающие звуки, их заискивающая манера поведения, в конце концов. Впечатление усугубляло обилие красного цвета в их экстерьере и трепетание налитого кровью гребня.

Я сказал сам себе, что индюки мне, собственно говоря, никогда не нравились, хотя англичане и американцы на Рождество едят именно индюшатину. А еще я подумал, что Гизела явно

постарела, а ее сыновья как раз в том возрасте, в каком умер Фердинанд. И спросил себя, что должна чувствовать Гизела, видя того из сыновей, который копия Фердинанда.

За окном пробегали заснеженные пейзажи с редкими темными прогалинами, время от времени показывались деревушки, в основном неказистые. И я подумал, что ведь Филипп освоил несколько профессий, но с одной из них — ремеслом зверолова — опоздал эдак лет на сто пятьдесят. Наверное, он тогда играл бы на аккордеоне, как заправский зверолов, наигрывал бы народные мелодии, швейцарские, конечно, сидя у костра, под перламутровым небом, и смотрел бы, как ветер гонит барашки облаков из Канады, над лиловыми лужами, к Тихому океану.

Слышь, Биндшедлер, Филипп ведь был еще и хорошим танцором. Он, ну, как принято говорить, имел успех у женщин. Еще в очень юном возрасте он мне рассказывал, как занимался любовью с девушкой из Амрайна прямо в вагоне пригородного поезда. Тогда прямо вдоль полотна стояли каштаны. И нижние ветки ласкали вагонные бока на полном ходу, а при ветре — и на остановках. И еще колодец был под этими каштанами, из литого чугуна, весь в завитушках, и вокруг него — круглая чаша. Воду из этого колодца первоначально накачивали особой педалью. Позже сделали *проточный* колодец, и вода все время переливалась через край чаши, размягчая почву вокруг нее", — сказал Баур.

Снова раздался выстрел из ракетницы, рождая хризантемы и цветение японской вишни. Гудение рожков и крики тут же заглушили звуки балалайки. Обнаружился и барабан, выдавая присутствие внука вдовы столяра, который вечером возглавлял детское маскарадное шествие подобно амрайнскому крысолову.

Балалайка смолкла.

Баур подошел к проигрывателю, перевернул пластинку, еще убавил громкость, и музыка теперь звучала, так сказать, эхом из туманной дали. Катарина принесла бокалы со спиртным.

"Если подытожить жизнь Филиппа, Биндшедлер, что у нас будет тогда в сухом остатке?

У меня, как уже сказано, останется в памяти, как он занимался любовью с дочерью Амрайна, причем в вагоне пригородного поезда, стоящего на запасном пути под каштанами, возле чугунного колодца с шестигранным основанием, изделия фин-де-сьекль. И что была ночь, когда все это происходило, и что вода в колодце журчала, а ветер гнал по привокзальной площади древесный лист (или множество листьев), и

одновременно листья каштана придавали подвижность свету фонарей, переменчивый отраженный свет то и дело ласкал груди девушки, груди, которые уже тем временем истлели на амрайнском кладбище, после того как стойко перенесли увядание в горячем свете амрайнского лета.

С этой привокзальной площадью, Биндшедлер, у нас вообще немало связано. Здесь, например, однажды упала на землю моя мама, споткнувшись о проволоку. Она шла к тете Ханне, которая была старше кузины Элизы, любившей стоять у печки, и в облике которой, во всяком случае в области глаз, наблюдалось сходство с императором Францем Иосифом того периода, когда он, всякий раз наклонившись вперед, подтирал нос указательным пальцем.

Тетя Ханна жила за сыроварней. Надо было взобраться по внешней деревянной лестнице, оттуда вы попадали на сумрачную веранду, с веранды — в темную кухню, и уже оттуда — в комнатку при кухне, где обычно все сидели вместе за чашкой чаю. Остальные комнаты никто никогда не видел. Пахло сушеными грушами, липовым цветом, перечной мятой, в редких случаях — квашеной капустой. Впоследствии тетя Ханна слилась для меня с прустовской тетей Леони", — улыбаясь, заявил Баур. Теперь он принялся расхаживать взад-вперед, словно стоял на тропинке, по которой хаживал его отец, а затем и Бенно, ранним утром, с сигаретой в зубах, а тем временем на рождественской елке горела одна-единственная свечка, по-видимому, не столько организуя, сколько подытоживая их жизнь, ибо его (Баура) род жил, собственно говоря, скорее прожитой жизнью. Когда Баур снова уселся, заложив ногу за ногу, сложив руки на коленях, стало казаться, что он вслушивается в какой-то отдаленный звук. Катарина принесла бутылку "Амзельфельдера", тарелку с арахисом, бокалы. Взяли по бокалу, Катарина разлила. Чокнулись за здоровье. Выпили. Держа в руках бокалы с вином, смотрели в огонь.

"Ну вот, мы сидим в поезде, — продолжил Баур. — И Гизела вдруг говорит: 'Кстати, а что будет с имуществом Филиппа?'

Справа пробегали виноградники, а слева точно так же назад уходило Бильское озеро. Проехали мимо острова Святого Петра, вспоминая знаменитое имение Жан-Жака Руссо, заняться чтением которого я уже давно намеревался. Добрались до конца озера, потом глянули на Ле Ландерон, и дочь сказала: 'Хочу как-нибудь съездить туда, в Ле Ландерон. Прелестный городишко, наверное'. Остальные подтвердили. Филипп рассказывал мне, что в Ле Ландероне он время от времени работает. Дело в том, что он какое-то время торговал швейными машинами, чинил их, делал профилактиче-

ский осмотр. Так что Ле Ландерон неразрывно связан у меня с этой работой Филиппа, которая, правда, длилась недолго, но это от технических умений Филиппа никак не зависело.

Добравшись до Нойенбурга, надели плащи, вышли на перрон, встали прямо перед Филиппом, который явился нам во плоти — галлюцинация, не более того.

Под ручку с Гизелой спустился вниз по лестнице, прошел через подземный переход, опять поднялся вверх, как и все остальные. Стоя перед вокзалом, все единодушно решили перекусить — прямо здесь, в буфете, потому что времени было уже почти час дня, но я сказал, что мы дома успели пообедать. Я, тем не менее, тоже вошел в буфет, вспоминая, что мы тут уже как-то перекусывали с Филиппом.

Иоганна заказала еду, разумеется, по-французски. Мы с Катариной взяли фруктовый пирог и кофе.

'Каспар, ты слишком мало ешь!' — обратилась ко мне Иоганна. И перед глазами опять встала индюшка с трясущимся красным горлом.

В привокзальном буфете пахло рвотой. Мы с Катариной ели за отдельным столиком. Разговор за соседним столом перерос в ропот недовольства. Дело в том, что еду, заказанную Иоганной, принесли, но напутали и подали не то. Возник небольшой скандальчик. Дело попытались уладить. На лицах посетителей за другими столиками расцвела улыбочка, хотя и не очень добрая. Мы между тем получили свой пирог и кофе. Пирог был вкусный.

За едой я поглядывал вокруг. 'Эти итальяшки как-то живее, — подумал я, — да и благороднее'. Сообразил, что Филиппу десятилетиями приходилось общаться с ними.

Через высокие окна падал свет, холодный, какой-то городской зимний свет. Я полностью отдался во власть мгновения, изображая Филиппа, который частенько здесь сиживал. Я добавил к свету рвотного запаха, подмешал недовольного ропота, хождение туда-сюда, звяканье приборов, звон бокалов — и, выпив эту микстуру, добился ощущения легкого блаженства.

Сделали попытку заплатить. Опять разыгрался небольшой спектакль. В результате за всех заплатила Фрида — всю сумму.

Надели плащи, нашли туалет — те, кому он был нужен, разумеется.

Я спросил, не хочет ли кто-нибудь еще раз пройтись по городу и оттуда уже поехать в крематорий. Время-то есть. Договорившись, двинулись прочь парадным маршем, сокрушая рвотный запах. Шагая к озеру, миновали угодья, подвигнувшие дочь к восклицанию: 'Папа, до чего прекрасно! Хотела бы я там жить'. Гизела шла со мной под ручку. Было холодно, но ясно.

Спустившись вниз, решили было, что видим перед собой музей. Это оказалось здание почты. Я вспомнил, что в здешнем музее должно висеть несколько полотен Ходлера[1], среди них — пейзаж с вишней, таким юным и хрупким вишневым деревцем в осеннем наряде, и еще картина с изображением улицы, которая уводит к горизонту, прямая как стрела, слева и справа обрамленная каштанами. Каштаны не особенно пышные и стоят не густо, как обычно вдоль аллей, а гораздо реже.

Справа располагался ресторан, где мы с Филиппом как-то перекусывали, прямо на бульваре. Слева, в гавани, стояли корабли. Прошли вперед, там надо было повернуть под прямым углом, прошагать мимо солидной шеренги желтых имперских фасадов, а по левую руку уже открылось озеро, и над ним гулял зимний ветер, который, конечно, долетал и до набережной, засаженной платанами, за которыми на берегу виднелись те самые желтые строения, создававшие атмосферу больших городов, не в последнюю очередь благодаря дующему с востока ветру.

Людей, кроме нас, почти не было. Какая-то женщина кормила чаек. Уцепившись за Гизелу, одетую в черное (как и Иоганна), я то и дело оборачивался, наблюдая за чаячьим балетом. В центре большой стаи чаек упомянутая женщина выглядела как хореограф (она тоже была вся в черном), в то время как наша благородная массовка, казалось, благотворно влияла на представление, придавая ему, однако, оттенки хичкоковского сценария, потому что все задавались вопросом: 'Хорошо, а что мы будем делать, если эти чайки внезапно на нас нападут?'

Найдя нужную автобусную остановку, мы еще раз выпили кофе в чайной напротив.

Когда мы вышли на остановке 'Крематорий', стало еще холоднее. Справа, на склоне, виднелось желтое здание, со всех сторон окруженное деревьями. По дороге к кладбищу мы встретили квартирную хозяйку Филиппа. Поблагодарили ее. Недалеко от лестницы заметили детей Филиппа. Они разговаривали с каким-то знакомым. Племянников было не узнать. Собралось шестнадцать человек. Когда все спустились вниз по лестнице, похоронный служащий дал знак подойти ближе. При входе в ритуальный зал в глаза сразу бросался венок из еловых веток, огромный, с красными розами и красными гвоздиками. Он стоял на фоне тяжелого лилового занавеса. На полу также несколько ваз с цветами и гроб.

1. Фердинанд Ходлер (1853—1918) — швейцарский живописец.

Все расселись по местам. Заиграл невидимый орган. Неслышно вошел молодой священник. Орган смолк. Священник начал говорить, по-французски разумеется.

'Французский надо бы знать', — подумал я. И тут же: Филипп, тебе жилось нелегко. Но в то же время тебе жилось хорошо. Ты умел жить, остановив мгновение. А потом не смог. Мы постараемся держаться твоих принципов... Ты умел играть на аккордеоне. Ты мог на слух подбирать так называемые народные мелодии, только раз услышав их. И знаешь, Филипп, у тебя всегда были такие узкие, длинные, но главное — остроносые ботинки, чести донашивать которые был удостоен именно я. В техникуме я тоже носил такие, то есть это были твои ботинки. И во время перерывов, когда мне приходилось проходить мимо групп техников, у меня было ощущение, что непременно надо наклоняться вперед, но не из-за техников, а скорее из-за ботинок, потому что, когда слегка наклонишься, края брючин лучше закрывают ботинки.

Я никогда не стыдился тебя, Филипп, только самую малость — из-за ботинок. Летние туфли у тебя были, как правило, с дырочками. А помнишь, Филипп, как ты подвесил мяч в бывшей конюшне, на резинке, закрепленной вверху на потолке и внизу на земле? А как ты прыгал — легко, словно перышко? А как бил по мячу? Ты еще там, в конюшне, повесил мешок с песком, тяжелый такой. И ты убивался над ним в прямом смысле этого слова. Я до сих не могу понять, как это все вынесли твои суставы, локти и ключицы.

А ты помнишь, Филипп, как доктор пришел извиняться, когда умерла Лина, потому что за два-три дня до этого он сказал, что Лина — симулянтка? Ты ведь помнишь, как больно нам было слышать эти слова доктора, когда он назвал твою Лину симулянткой? И помнишь, как руки Лины в агонии пытались завести часы? И ты точно должен помнить, как потом, над траурной процессией, впереди, у поворота дороги, трепетали цветы вишни. Потом ты уехал в романскую Швейцарию. И остался там. Женился на другой. А потом однажды позвонил мне и сказал — голосом, который трудно было узнать: 'Каспар, у меня рак гортани. Завтра операция'.

Позже ты своими боксерскими руками пытался помогать себе, когда говорил, но эти звуки уже нельзя было назвать речью. Ты кашлял через специальное кольцо, вделанное в шею. И тебе приходилось прочищать горло через это кольцо особой щеткой, тонкой и длинной.

Потом тебя бросила жена, забрав с собой детей. Старший сын, Филипп, завел себе тяжелый мотоцикл, наверное, почти такой же, какой был когда-то у свояка Фердинанда. Ты ведь в

курсе, у него был этот знаменитый ‘Харли-Дэвидсон’. Мы ведь с тобой в детстве-то никогда таких мотоциклов не видели. И помнишь, как мы гордились тем, что у нашего свояка, то есть у мужа нашей Гизелы, был настоящий ‘Харли-Дэвидсон’? И как они на нем выезжали по воскресеньям, и Гизела ехала в коляске сбоку? И как Фердинанд стоял потом за домом и, глядя на вишню в нашем саду, говорил: ‘Я не допущу, чтобы вишни вымахивали такие высокие. Все верхушки буду спиливать. Не нравится мне, когда вишни высокие’. Помнишь все это, Филипп?

Кстати, белоцветники, которые мы собирали в Левентале, расцветают по-прежнему. Когда они цветут, я сажусь перед ними на корточки и жду, когда порыв ветра принесет аромат.

Потом ты попросил сына завести себе автомобиль, потому что считал мотоцикл слишком опасным. На этом автомобиле он и врезался в стену. На его кремации ты еще смог присутствовать. А потом остался практически один. Однажды ты сообщил мне, что у тебя появилась подруга. Я сегодня пытался отыскать ее в толпе... Сейчас твои кости, твои глаза, твое сердце сжигают. Для тебя больше нет тени, нет зимы”, — сказал Баур, пристально глядя на пылающие угли.

Свечи догорели.

Катарина хотела было подлить вина. Бутылка оказалась пуста.

Музыка стихла. Баур сказал, что сейчас надо было бы поставить Четвертую симфонию Шостаковича, но уже поздно.

Доели последние орешки. Из центра Амрайна звуки рожков, возгласы, барабанный бой слышались теперь с такой интенсивностью, что было ясно: карнавал достиг своего апогея.

Катарина принесла сверху три свечи, вставила их в шведские фарфоровые подсвечники, зажгла свечи. Баур подложил еще дров. И потом заходил взад-вперед, так сказать, по своему исторически сложившемуся маршруту.

Я подумал о том утре Бородинской битвы, когда над Колочею, в Бородине и по обеим сторонам его, особенно влево, там, где в болотистых берегах река Война впадает в реку Колочу, стоял тот туман, который тает, расплывается и просвечивает при выходе яркого солнца и волшебно окрашивает и очерчивает все виднеющееся сквозь него. К этому туману присоединялся дым выстрелов, и по этому туману и дыму везде блестели молнии утреннего света — то по воде, то по росе, то по штыкам войск, толпившихся по берегам и в Бородине. Сквозь туман этот виднелась белая церковь, кое-где крыши изб Бородина, кое-где сплошные массы солдат, кое-где зеленые ящики, пушки. И все это двигалось или казалось движущимся, потому что туман и дым тянулись по всему этому про-

странству. Как в этой местности низов около Бородина, покрытых туманом, так и вне его, выше и особенно левее по всей линии, по лесам, по полям, в низах, на вершинах возвышений, зарождались бéспрестанно сами собой, из ничего, пушечные, то одинокие, то гуртовые, то редкие, то частые клубы дымов, которые, распухая, разрастаясь, клубясь, сливаясь, виднелись по всему этому пространству...[1]

Баур тем временем наконец сел. Втроем мы смотрели в огонь.

“Снова зазвучал орган, — сказал Баур, — и панихида подошла к концу. Выходя, мы оглянулись, мысленно послали последний привет Филиппу, посмотрели на венок с розами и гвоздиками; заметили раскрашенного ангела.

Над площадью по-прежнему сиял все тот же свет.

Посетили могилу Филиппа-младшего. Когда возвращались по склону наверх, из трубы крематория вылетело облачко дыма. За ним еще одно. И еще. И тогда стало совсем холодно.

Сквозь первое, верхнее облачко пролетели три чайки”.

Серп луны тем временем переместился довольно далеко на запад и теперь почти касался вершины Гюггеля (примечательного возвышения в нижней трети южного склона Юры).

Мы стояли ровно на том месте, где стоял в свое время сваяк Фердинанд, слово в слово повторяя недовольство по поводу разросшихся вишневых деревьев.

“Двое мужчин, созерцающих луну”, — сказал Баур, после того как мы уже длительное время стояли, не спуская глаз с серпа луны, который, казалось, прочно запутался в филигранной резьбе листьев бузины. Дуновение амрайнской карнавальной ночи освежало лицо.

Баур почесал себя за ухом, поднимая и опуская руку с пальцами, сложенными в единый коготь, и звук этот создавал акустический противовес к карнавальным воплям из Амрайна, к которым, долетая со склонов Юры, добавился крик сыча, прозвучавший троекратно. “Каспар Давид Фридрих, говорят, написал свое полотно *Двое мужчин, созерцающих луну* около 1819 года. Еще за два года до этого на его картинах начинают встречаться два персонажа, погруженных в созерцание пейзажа. Например, двое путешественников, которые на фоне силуэтов Нойбранденбурга рассматривают краски неба, освобождающегося от утреннего тумана. Вот *Двое мужчин на берегу*

1. Весь абзац представляет собой скрытую, но точную цитату из романа Л. Н. Толстого “Война и мир”. Т. 3, гл. XXX. Орфография и пунктуация подлинника сохранены. (*Прим. перев.*)

моря наблюдают восход луны и смотрят на горизонт. Или другая картина: мужчина и женщина сидят на корме парусника, а перед ними видение города над водами моря[1].

Картина ‘Двое мужчин, созерцающих луну’ относится к числу этих пейзажей. За серебряным серпом уже угадывается весь лунный диск. Мужчина помладше дружески положил руку на плечо спутника. Вдвоем наблюдают они за небесным явлением. Сразу распознаешь в этом *консолидирующую силу природы*, культ дружбы, характерный для того времени, который для верующих представал непостижимой силой, внушающей одновременно доверие и священный трепет. Взгляд на луну считался одновременно взглядом внутрь себя.

На рыжевато-коричневом фоне заката плащи и капюшоны мужчин отчетливо выделяются”, — сказал Баур, не отрывая взгляда от лунного серпа, который висел над *Гюггелем*, запутавшись в филигранной резьбе бузинной листвы.

Я застегнул вязаную куртку, поднял повыше воротник. Баур сложил руки на груди, наклонил вперед голову, слегка выпятил подбородок, выдвинул левую ногу на полступни перед правой, согнул левую в колене, оперся на правую. “Биндшедлер, недавно мы слушали одного священника на проповеди. Речь шла об истории творения. Он говорил, мол, необходимо учитывать, что люди в древние времена еще не представляли себе физическую картину мира. Поэтому написано, например, что луну на небо повесили — и так далее”.

В этот момент серп вырвался на свободу. Филигранная резьба слегка отпрянула. “Биндшедлер, двадцать минут кряду этот человек пытался исправить нашу картину мира, то есть он отступил от того, что есть”.

Подмораживало. С горы доносились крики сыча. Серп луны освещал теперь обратную сторону Гюггеля. Филигранная резьба листьев не пострадала.

“Мы, во всяком случае *жители Европы*, дожили до того, что готовы обменять все наши картины на одну-единственную: на материалистическую картину мира и окружающих миров”, — сказал Баур.

Выстрел из ракетницы разорвал, что называется, тишину. За ним еще один. И еще.

“Впрочем, эта обменная акция, Биндшедлер, спровоцировала двойной трюк эволюции: телевидение и комиксы.

Так мы и дожили до машин, производящих картинки, и до историй в картинках с сопроводительным текстом в виде пу-

1. Имеется в виду картина Каспара Давида Фридриха “На парусном корабле”.

зыря изо рта. Причем мы всерьез стараемся, чтобы народы тех стран, которые еще не причастились ко всему *западному*, поднялись до нашего уровня, помешавшись на том, чтобы навязать им одновременно свои фабрики картинок (пока они есть в запасе)", — сказал Баур. Он высморкался, пригладил волосы, и рука его на какое-то время так и замерла на затылке, пока он рассматривал созвездие Большой Медведицы, которое тем временем откочевало на север.

"Своей картиной 'Двое мужчин, созерцающих луну' Каспар Давид Фридрих делает более понятной хоть какую-то часть мира.

Этот акт постижения нас всегда волнует. Поэтому искусство — это нечто волнующее, построенное на сопричастности. Современное искусство зачастую помогает понять то, что не так-то просто поддается пониманию, поэтому некоторым людям оно кажется непонятным. Искусство, которое рассчитано на понимание сходу, наверняка стереотипно", — сказал Баур. Я повернулся и поднял глаза на южный склон. Над ним я тоже увидел Большую Медведицу.

"Вы что, так на морозе и стоите?" — сказала Катарина, направляясь наверх с нижнего этажа, где она устраивала мне место для ночлега.

"Биндшедлер, где-то ближе к концу своего романа 'Война и мир' Толстой говорит: если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, — то уничтожится возможность жизни"[1].

Вдали снова послышалась барабанная дробь, к которой подмешивался крик сыча, а у меня перед глазами стоял князь Андрей, я видел, как он в нерешительности остановился, когда адъютант крикнул: "Ложись!" Граната, как волчок, дымясь, вертелась между ним и лежащим адъютантом. И я вспомнил о том, что князь Андрей совершенно новым, завистливым взглядом глядел на траву, на полынь, на струйку дыма, вьющуюся от гранаты, и говорил себе при этом, что он не может, не хочет умирать, что он любит жизнь, любит эту траву, землю, воздух...[2]

Потом граната взорвалась. Князь Андрей рванулся в сторону и, подняв кверху руку, упал на грудь. В пороховом дыму кустики полыни принимали причудливые очертания.

Отправились в дом. На веранде я сказал Бауру, что недавно прочитал у Карла Фридриха фон Вайцзеккера, что ограничение действительности миром разума и миром воли порождает

1. См. прим. на с. 6.
2. Л. Н. Толстой. Война и мир. Т. 3, гл. XXXVI.

искажение точки зрения и действий человека, что приводит сегодня к убийственным последствиям. Попытка изменить понятие познания в ходе самого познания осенена, впрочем, пониманием того факта, что философия для нас, людей, слишком сложна. Я добавил, что для меня человеческая жизнь подобна музыкальному произведению, когда заботятся не о его начале, средней части или завершении, а в большей степени о том, как его можно подать через отдельные детали, но так, чтобы в них отразилось целое. Относительно такого музыкального произведения редко задаются вопросом, откуда взялись отдельные ноты или для чего они в конце концов предназначены, а просто играют музыку по этим нотам, а фоном служат березовые рощи, Большая Нева, южный склон Юры, Брокдорф или катакомбы.

И я высказал мнение, что ни в коем случае нельзя просто-напросто убирать из произведения все низкие тона. И я считаю, что как раз произведения Дмитрия Шостаковича похожи на упомянутое музыкальное произведение. И вместо того чтобы болтать сейчас о сузившемся музыкальном восприятии, надо умнее обходиться с полнотой звучания клавиш, правда, иногда не покидает странное чувство, что звучит электрическое пианино.

Все вместе мы выпили наверху еще по чашке чаю. Потом разошлись.

Когда из крана по раковине забарабанила вода, я вспомнил детскую карнавальную процессию сегодня вечером, с внуком вдовы столяра во главе. Но сквозь кроны каштанов я увидел за окном вовсе не фасад пивоварни, как Баур, а белую церковь Бородина, и она проступала сквозь туман, который всему может придать волшебные очертания. К этому туману подмешивался дым шутих и ракет. Сквозь пелену тумана и дыма повсюду проступали уже отблески утренней зари.

Когда я спустился вниз, серп луны пропал. Зато ярче мерцали звезды. Прислушиваясь к звукам, доносившимся из сливового сада, я как будто услышал электрическое пианино красной гостиницы, звуки которого, роясь, рассыпались в кронах каштанов. Это случалось чаще всего в дни карнавала, но и летними воскресными вечерами, и в пору майских жуков, когда весь Амрайн бывает наполнен улетающим низким жужжанием, по крайней мере теми теплыми вечерами, когда нет опасности, что майские жуки по ошибке залетят в дом, потому что они тупо летят с юга на север, и значит, дверь, расположенная с северо-западной стороны, никак не может стать для них ловушкой.

Я подумал, что на тему “Разум и жизнь”, конечно, можно было еще кое-что сказать. Например, что Карл Фридрих Вайцзеккер в той же связи упомянул следующее: европейская культура Нового времени различает в процессе познания теоретиче-

ское, рационально-прагматическое и моральное понимание. Теоретическое понимание венчает башня науки, рационально-прагматическое перерастает в широкий спектр техники и экономики, моральное охватывает рациональность прогрессивной политики, правовое государство, поиски истины в свободных публичных дискуссиях, социальную справедливость. Ни одна из этих сфер не предоставляет приюта чувственному восприятию того, о чем идет речь. Когда-то таким приютом была религия. Она и сегодня по-прежнему была бы таким единственным приютом, если бы ее можно было примирить с современным сознанием.

Я мог бы добавить от себя, что в западную тенденцию к повальной материализации всех сфер жизни вносит свой радикальный вклад восточная тенденция, а именно та, которая создала свою религию против всех религий.

Так ландшафт нашей жизни все больше и больше напоминает брошенные земельные угодья: кругом стоят уютные дома, ветер шевелит занавески на окнах, и они развеваются, как флаги, над ухоженными садами, которые аккуратно обрамляют дома; но так или иначе — людей там больше нет.

Но я, честно говоря, порадовался, что не сказал все это вслух, мы и без того уже стали напоминать общество *заслуженных учителей*, отпочковавшееся от общества *сверхчеловеков*.

Снова посмотрев на сливовый сад, я представил себе, как тогда, в марте, Баур сквозь открытое окно туалета, во время бритья, например, увидел местность, то есть южный склон Юры со сливовой рощей в придачу отраженным в зеркале в перевернутом виде, а за несколько дней до этого выпал снег, и земля была вся в белых и черных пятнах, дул фён, а этот альпийский ветер будил в душе Баура своего рода астральное пианино, далеко превосходящее по звучанию пианино в красной гостинице; по полноте звука оно могло сравниться с органом, а музыка прилетала не из космического пространства, она лилась из сливовых крон, провозглашая весну, провозглашая жизнь.

Свечи на каминной полке еще горели. Чтобы настроить себя на сон, я некоторое время прохаживался туда-сюда, думая о том, что сон, в свою очередь, можно рассматривать как настройку на смерть. А потом перед глазами явилось видение: я стоял, превратившись в Баура, перед его домом, за самшитовым деревцем. Мартовское утро. Накануне ночью выпал снег, украсив кусты и деревья резным кружевом. Я посмотрел поверх крыши бывшей конюшни на крону липы, возвышавшейся перед домом, где раньше жила Анна. На самой верхушке дерева сидел сарыч. Он повернул голову.

Пламя свечей начинало трепетать, когда я проходил мимо, от этого по окружающим предметам в комнате метались беспокойные тени — в той самой комнате, где Баур со своими домашними проводил довольно много времени, на Рождество например, по утрам, когда выпадал свежий снег, поздними осенними вечерами, когда соседняя липа сбрасывала листья, и они стаями летели к земле, или в летние воскресные дни, когда приезжали в гости Гизела и Фердинанд, и тогда у сарая стоял Фердинандов "Харли-Дэвидсон", поначалу — с коляской, и где они за чашечкой черного кофе, в духоте, вели беседы о видах на урожай пшеницы, о времени, проведенном на острове Рюген, наверное — и о больничном базаре, где Иоганне приходилось изображать Родину, и она ехала на телеге, украшенной летними цветами.

Я увидел Иоганну, стоящую перед зеркалом, которое висело в проеме между окнами, и решил, что ее платье тоже должно быть украшено кружевами ручной работы, и уже представлял себе, как такие кружева будут смотреться среди цветов, где обычно доминирует синий цвет, на фоне которого кружева будут выделяться особенно отчетливо, как и светлые волосы Иоганны.

Мне подумалось, что перед этим зеркалом брился еще отец Баура, причем в известный день — перед своим отъездом в Цюрих, где он, работая, копил свободные дни, чтобы потом, летом, помогать домашним собирать урожай пшеницы. В четыре часа утра он с косой на плече уже устремлялся на пшеничное поле, шагая по полевым тропинкам, срывая колоски, а тем временем в вышине пели жаворонки, они и сегодня поют, пока ветер создает в полях видимость прибоя.

Отец Баура всякий раз во время бритья немного нервничал, зато его сынок испытывал известное облегчение относительно предстоящей нормализации своих жизненных условий. Позже действительно начинали поспевать сливы, плоды, которые, так сказать, замыкают в себе всю тишину из синевы неба. Кстати, скрежет фруктового пресса во дворе у слесаря на повороте улицы способствовал тому, чтобы сделать эту тишину постижимой (временами дополняясь визгом свиньи, ведомой на бойню).

Я вспомнил семейные фотографии, которые показывал мне Баур и на обороте которых Катарина надписала имена и годы рождения изображенных. Люди стояли на фоне декорации, представляющей некий салон, с окнами, картинами, драпировкой, и было подозрение, что настоящие тут только ковер на полу, стулья и столик.

Столик находился в центре оси симметрии. На нем стоял свадебный букет Гизелы, расположившейся несколько позади столика в темном строгом платье с рукавами по локоть, опира-

ясь большим пальцем правой руки о край столика, под ручку с Фердинандом, на котором тоже был свадебный темный пиджак с букетиком цветов на левом лацкане. Фердинанд походил на уланского ефрейтора, переодетого в штатское, времен императора Франца Иосифа, который на тот момент уже полдюжины лет как покоился в гробнице капуцинов в окружении Сисси и своего сына. У Гизелы на голове был веночек.

Оба сидели, устремив глаза в объектив, словно заглядывали в грядущие дни, которым предстояло наполниться копанием картофеля, варкой еловой древесины (для получения целлюлозы), во всяком случае, это касалось Фердинанда, который какое-то время своей жизни обязательно должен был отсидеть за рулем "Харли-Дэвидсона", первое время — с коляской, так что изображенной здесь паре предстояли поездки на "Харли-Дэвидсоне", в том числе в Амрайн, где Фердинанду всякий раз приходилось вставать позади дома и, глядя на вишни во фруктовом саду, высказывать свое мнение об облике вишневых деревьев. Далее ему предстояло сравнительно рано умереть, оставив Гизелу одну на десятилетия, ту самую Гизелу, которая, как и Баур, сначала поехала в Нойенбург вместе с Иоганной, чтобы принять участие в прощании с Филиппом, вынужденным провести последние годы своей жизни без голоса, с дыркой в шее, через которую он дышал и через которую вынужден был время от времени чистить свою трахею.

Слева от столика сидела мать Баура. Она выглядела моложаво, и на коленях у нее лежала белая роза. На ней было платье длиной до щиколоток. На груди красовался букетик.

По другую сторону столика восседала мать Фердинанда. Ее тоже обеспечили розой. Шею украшала нитка жемчуга.

Рядом с ней стоял Баур, положив правую руку на спинку ее белого стула. На нем были короткие штанишки, высокие ботинки на шнуровке, полосатая рубашка с широким отложным воротничком апаш а-ля Шиллер. Ему было на вид лет пять. Напротив него стоял Филипп. Левую руку он положил на спинку стула своей матери, на нем были короткие штанишки, рубашка с воротничком апаш.

В заднем ряду стояли (слева направо): Юлия (одета в белое, с букетом роз), папаша Баур (с усами, стрижка ежиком), новобрачные, Иоганна (примерно в том возрасте, когда она исполняла роль Родины), Бенно, гимнаст-виртуоз (у открытого окна, обрамленного драпировкой).

Такие семейные фотографии складируются в ящиках, а тем временем снаружи идет своим ходом история, на поля приходят весны, лета, уж не говоря о зимах, покрывающих мохнатым инеем проволочные сетки курятников.

Слышались сигналы рожков, гром литавр.

Я взял в руки лежавший сверху журнал. Свечи по-прежнему горели. Я сел, стал смотреть на красные угли. Даже сейчас слышны были крики, гудение, барабанный бой. Шел третий час ночи.

На обложке журнала был изображен атакующий медведь, на обороте слева — скачки, справа — танки, вертолеты, над ними флаг с серпом и молотом.

Я стал листать журнал. Советы уже вовсю осваивали Африку, посылали свой вооруженный флот во все страны мира и, проникнув на Кубу, поставили свой сапог на порог Южной Америки...

Стал листать дальше, наткнулся на фотографию в полный разворот листа: танк, вид сверху. Что не удалось казакам, того достиг Кремль с помощью своих танков: они заняли Афганистан.

"Мы говорим, что дальше нам не прорваться, и все-таки прорываемся, а потом любой сосед мирится с нашими завоеваниями". (Из русского журнала "Вестник Европы" за 1870 год.)

На Западе канцелярии и иностранные представительства осиротели, политики и чиновники давно покинули столицы, когда в сочельник первые из 350 транспортных самолетов приземлились на аэродромах Кабула и Баграма. 28 декабря Кабул надежно захвачен советскими войсками. Днем позже начинается наземная операция. Одна мотострелковая дивизия отправляется на северо-западную границу к Кандагару, другая прорывается прямо в Кабул. Ровно в момент начала нового десятилетия тиски сомкнулись; советские войска стояли на Хайберском перевале, захватив ворота в Пакистан и Индию...

Дальше в журнале я обнаружил карту: передвижение русских к Персидскому заливу обозначено было пятью стрелками. На одной из следующих страниц была фотография кадетов. Кто это, интересно: советские кадеты или кадеты царских времен? Фото, сделанное в московском Суворовском военном училище, на первый взгляд затрудняло ответ. Помпезные портьеры вполне могли относиться к XIX веку, так же как и традиционная форма, которую до сих пор носят будущие военные кадры в Советском Союзе. Под историческим полотном с изображением фельдмаршала М. И. Кутузова, героя освободительных войн против Наполеона, будущие офицеры поглощают завтрак. Распорядок дня, изобилующий строгой муштрой, позволяет им познакомиться с новейшими техническими методами ведения войны и с идеологическим арсеналом "Армии мира", которая в последние три десятилетия то и дело вторгается на чужую территорию.

Самая большая сложность — обладать знанием того, когда пора что-либо прекращать, сказал Горчаков (1798–1883).

Угли все больше и больше покрывались пеплом. Свечи почти догорели, звуки карнавала стихли. Я дремал.

Листая журнал дальше, я наткнулся на конное изображение царя, который держал икону перед отрядом коленопреклоненных офицеров. О Боге вспоминали всегда, как только Святая Русь завершала свои войны. Сегодня кремлевские властители дурят мир замаскированным экспансионизмом с совсем другой идеологической подоплекой. Еще году в 1900 один изобретательный педант подсчитал, что Российская империя на протяжении веков ежедневно увеличивалась на 90 квадратных километров. Дальше в журнале шло цветное изображение какой-то битвы.

Россия всегда оставалась для своих соседей внушающим страх безрассудным колоссом. И все же нет прямой преемственности между Петром Первым, Екатериной Второй, Сталиным и Брежневым. Связь прерывалась, русский империализм как в прошлом, так и сейчас подвержен колебаниям.

То, что историк восточных стран Райнхард Виттрам говорил в свое время о царской империи, похоже, до сих пор остается в силе: русская внешняя политика на всем пространстве России — от Дальнего Востока до Балтийского моря — строится на базе одной и той же имперской традиции, одновременно следуя различным сиюминутным потребностям, насыщенная традицией и свободная до произвола.

Пугающий призрак большой медведицы — или медведя.

Я смотрел на кучку золы.

Потом вернулся к портрету фельдмаршала Кутузова, которого представлял себе раньше более грубым, по-крестьянски, более усталым, но главное — он казался мне старше.

Свечи погасли.

Я лег в постель. Засыпая, я видел себя в автобусе, который едет по горной дороге на острове Эльба; видел дом, где жил Наполеон в изгнании; некоторое время удерживал перед глазами этот дом, озаренный ускользающим светом; вдыхал запах земли; видел, как желтизна испанского дрока смешивается с голубизной неба. Потом я заснул... Во сне мне вместе с другими солдатами предстояло взобраться по отвесному снежному склону, колонной по одному. Ослепительно солнечная погода. К острову Крит причалил парусник. Отдан приказ грузиться на корабль. Снежный мост рухнул. Во время падения стало ясно, что далеко внизу — освободившаяся от снега Зимментальская долина.

Меня разбудило давление мочевого пузыря. Я пошел за дом, в сливовую рощу, заодно посмотрел на Большую Медве-

дицу, удивляясь тишине, которая царила над Амрайном, только что праздновавшим карнавал. Я подумал о том, как счастлив был князь Андрей, когда он наконец узнал такое небо. Все ничтожно, все ложь и обман, кроме этого неба. Нет ничего, ничего, кроме него самого. Но и это ничто. Нет ничего, кроме тишины и покоя.

Я услышал топот лошадей, голоса. Наполеон скакал по полю брани, осматривая убитых и раненых. Вплотную перед князем он остановился и сказал: “Какая прекрасная смерть!”

Я снова видел Большую Медведицу.

Было пронзительно ясное утро. Из Амрайна доносился звон колокола. Я подумал, что это один из пяти колоколов, звонивших во время похорон Анны. Стоя у открытого окна, я разглядывал бывший луг торговца яйцами, на котором не далее как вчера днем видел Наполеона, смотревшего в подзорную трубу за Неман, в русские степи, в середине которых он предполагал обнаружить Москву. Вдалеке между двумя домами виднелся дальний лес позади долины, над которой, когда дул фён, по утверждению Баура, возвышались Альпы.

Я представил себе этот просторный луг ранним летом, как он сиял тогда, размышляя попутно об Иоахиме Шварце, который фактически свел на нет восточную желтизну лугового разноцветья, все время направляя своих золотарей удобрять участок торговца.

“Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, то уничтожится возможность жизни”, — произнес я про себя, повторяя слова Баура, а сам остановился у окна, скрестив на груди руки и неподвижно глядя в одну точку в саду.

Я закрыл окно, послонялся немного туда-сюда, протянул руку к альбому репродукций, лежавшему на книжной полке: Оскар Виггли (Коллекция Призм, Париж). Оскар Виггли живет в Париже, рассказывал мне Баур, и в Юрских горах, в Мирьо, в помещении бывшего ресторана; вывеска “Кафе Насьональ” там до сих пор висит, хотя буквы выцвели. Оскар Виггли относится к числу немногих скульпторов, которых Баур может принимать всерьез. После завтрака мы все вместе отправились на службу. Холод был нешуточный. Впереди, где дорога заворачивала, над лесом действительно видны были изящные контуры Альп. Указывая на виллу, стоящую на привокзальной улочке в окружении лип и прочих деревьев, Баур отметил, что они посажены здесь в те времена, когда император Франц Иосиф еще прочно сидел в седле. В липовой кроне над нами застрял объемистый кусок неба.

“Биндшедлер, довольно давно мы с Катариной прочитали ‘Марш Радецкого’[1], и это сподвигло нас на то, чтобы отправиться в Вену, причем именно в пору цветения каштанов.

В 19-м районе, вблизи Петцляйндорфского кладбища, мы остановились на ночлег; гуляли среди террасных виноградников Венского леса, посетили гробницу капуцинов, были в Пратере, всей душой привязались к Рингштрассе, к городскому парку, к его акациям и павлинам, заглянули в каждый уголок Хофбурга, зашли в Бургкапеллу, где он, император, каждый раз прощался со своими усопшими близкими, съездили в Шенбрунн, чтобы погулять по парку, постоять в приемной императора.

Во время путешествия мы неоднократно встречали на пути императора с его охотничьей свитой, во всяком случае, нам попадались лани и олени, в предков которых император, видимо не попал — промахнулся.

Мне часто приходилось разъяснять, что я испытываю привязанность не к одному только императору Францу Иосифу, ко всему тому пространству, которое он соединял воедино и которое породило Адальберта Штифтера, а также двух Густавов — Малера и Климта.

Наше паломничество, Биндшедлер, приблизило нас к тому историческому самосознанию, которым обладают каштаны, когда они цветут и наполняются ветром”, — сказал Баур. Он посмотрел на небо, которое вновь простодушно раскинулось над нами.

Ворковал голубь. По привокзальной площади ветер гонял опавший лист. Ни одна машина, ни один мопед, не отправились еще, так сказать, в путь-дорогу. Мы подошли к подземному переходу. Баур сказал, что его охватывает странное щемящее чувство, когда он тут идет, потому что именно здесь стоял в свое время дом портного, очень похожий на жилища мелкопоместного русского дворянства. И такой красивый сад разбит был вокруг, причем на солнечной стороне располагались клумбы и грядки, а с севера и востока — яблоневый и вишневый сад. Кроме того, здесь росли ели, березы и разнообразные кустарники, например, ракитник и сирень. Так что оно было исполнено своеобразного благородства, это поместье с прилегающим к нему садом, где обитал портной со своим семейством и подмастерьями. Всего раз в жизни Баур позволил себе костюм на заказ, и сшил его тот самый портной, чей дом стоял там, где сейчас только воздух. Умер он, кстати, совсем

1. Самый известный роман австрийского писателя Йозефа Рота (1894—1939).

недавно, этот добрый человек, который всю свою жизнь портняжничал, но, помимо всего прочего, основательно увлекался пением и был страстным орнитологом, организовавшим бесчисленное множество экскурсий, чтобы ближе познакомить людей с пением птиц. Он проводил свои экскурсии ранним утром по воскресеньям в близлежащих лесах.

На его похоронах, конечно, пел мужской хор. Раньше-то он, Баур, знал поименно каждого, а теперь, дай Бог, двух-трех певцов узнает в лицо. Так что он еще раз убедился в том, что человек — и без того родившись чужаком — постепенно становится на земле все более чужим.

Я в этот момент подумал о Болконском — о том, как он лежал под небом на Праценских высотах и таинство этого мира открылось перед ним.

Ветер играл бумажными змеями, которые свешивались с ветвей и болтались на подоконниках.

Церковь, дом священника и дом дьяка составляли тот фон, который напоминал о Мерике или о поэте *звенящих знамен*[1]. Посередине стоял огромный каштан. Теперь гудели все колокола. Золотой петух кричал, повернувшись на юго-восток. Мы вошли в церковь через северные ворота, использовав вход под башней, поднялись по лестнице до хоров, сели у южного окна. Людей было мало. Церковная кафедра явно относилась к XVI или XVII веку. На одном из окон впереди, там, где хоры, Христос благословлял ребенка. На другом окне он шагал по облакам с распростертыми руками. На окне справа он являлся Марии Магдалине.

“Две или три из этих живописных картин на стекле появились здесь в свое время по инициативе врача, отца первоначальной владелицы виллы на привокзальной улочке”, — прошептал мне едва слышно Баур, явно заметив, что все мое внимание было поглощено росписями по стеклу.

В церковь вошел священник. Органист начал играть. За расписными окнами качались ветви деревьев. Орган смолк... “В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твер-

1. *Нем.* “*klirrende Fahnen*”. Образ из последней строки известного стихотворения Гёльдерлина “Die Hälfte des Lebens” (“Im Winde klirren die Fahnen”).

дью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй.

И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что *это* хорошо.

И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что *это* хорошо. И был вечер, и было утро: день третий.

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что *это* хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый.

И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что *это* хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро: день пятый.

И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что *это* хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; вам сие будет в пищу; а всем зверям земным,

и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, *дал* Я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой"...[1]

Так начинается Библия, сказал священник, она начинается с истории творения. И он считает, что возникновение мира нельзя было описать нагляднее, чем это сделано с помощью грандиозных языковых образов Библии. Хор запел: "...Боже, дай нам узреть Твое величие, / не доверяться ничему преходящему, / не возрадоваться тщете; / сделай нас наивными / и пред Тобою на земле, / чтобы были мы кротки и радостны как дети..."[2]

Я подумал о восточной церкви и ее песнопениях. И о том, что там, впереди, на хорах, и стоял Баур полстолетия назад, в коричневых полуботинках конфирманта, запах которых он вспоминал во время прогулки в Ольтене...

"А дальше там сказано, — продолжил священник: — '<...> И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И

1. Бытие. 1:1–31.
2. Строфа из стихотворения Маттиаса Клаудиуса "Вечерняя песня" ("Abendlied").

увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни...'"[1]

За окном справа качались ветви деревьев.

Не хватает здесь еще и вязов, под сенью которых веками покоились гробницы. В зимнюю пору пушистый иней превращал их кроны в ветвистые рога, принадлежащие существу, которое стоит на страже в ожидании воскресения спящих вечным сном, дабы препроводить их в те края, где нет теней, нет зимы, сказала Иоганна, — так я подумал, когда мы (если верить Бауру) проходили через то место, где прежде эти вязы стояли.

"Моя мама зачесывала волосы наверх; выращивала мяту; срывала ее цветы в ту пору, когда над пшеничными полями дрожал горячий воздух. Особенно высоко она ценила полынь. И порой я вместе с нею, как я уже говорил, приходил к тете Ханне, квартира которой пахла липовым цветом. Но мы и в Верденбург ходили вместе, несколько раз даже в день храмового праздника, который отмечался всегда в первое воскресенье августа, как раз когда поспевали сливы — на дереве перед домом свекрови Гизелы, осанистой женщины строгих правил, мужа которой я никогда в жизни не видел. Впрочем, этот дом стоит до сих пор. Да и вокзал в Верденбурге все тот же. Изменился только зал ожидания, где встроили туалет, который занял половину всей площади зала. В Верденбурге, Биндшедлер, на главной улице был придорожный камень, он находился возле дома, который построили Фердинанд и Гизела. При виде этого камня возникало ощущение, что он раскрывает перед тобой ход времени, как только ты на него усядешься, сразу мелькают дни, ночи, месяцы, годы, лета и зимы", — говорил Баур, разглядывая камень, на котором бронзовыми буквами было написано: *Каролина Баур-Кастен.*

Побродили по кладбищу, прошли мимо могилы, где захоронена урна того самого Бергера, который всю свою жизнь положил на то, чтобы добиться получения наследства, оставленного ему в Англии; наткнулись на камень с изображением парусника, напоминающий прохожему о Марии Валевской,

1. Бытие. 2:7–9, 15–16, 21–22; 3:1–6, 23–24.

об острове Святой Елены, о Наполеоне; обнаружили дуб со сломанной верхушкой, открывавший вид на опушку леса с зарослями молодых дубков, трепещущих от ветра, и все это сопровождалось музыкой Бенджамина Бриттена, из вещи, название которой уже стерлось из нашей памяти.

"Тут лежит Юлия, – сказал Баур, – помнишь, та самая, которая забыла, что тополь – это тополь. Через несколько недель после этого она села на стул спиной к окну, а на лице у нее выросла почка, становясь все больше и больше, а росу с этой почки она однажды намазала на ручки двери и дверные косяки, потом собрала грязное белье, бокалы, столовые приборы, увязала все это в узел, вышла на улицу и поехала в Верденбург. Ее вернули обратно. Потом настала осень. Почка раскрылась, и расцвела роза[1]. Юлия попала в больницу. Пошел снег. Раковая роза пахла невыносимо. Юлия все время срывала повязку. Катарина навещала Юлию почти каждый день. А Юлия не помнила ни одного имени. А Юлия радовалась, когда ее навещали. Поначалу ее встречали в коридоре, где она ходила туда-сюда, одна или с мужчиной, который тоже забыл все имена. Они нравились друг другу, ходили друг к другу в гости в палату, стараясь никому не попадаться на глаза. Рассказывают, что однажды Юлия стоя заснула возле батареи и не удержала равновесие", – говорил Баур. Вязы стояли неподвижно, охватывая ветвями солидный кусок неба. Над Амрайном кружил сарыч. Бородинское сражение и последующая осада Москвы с бегством французов безо всяких новых сражений есть (по Толстому) одно из самых поучительных событий мировой истории. Сарыч камнем упал вниз. После победы французов при Бородине не только не состоялось ни одного решающего сражения, но и вообще ни одной значительной стычки, и тем не менее французская армия перестала существовать. Сарыч угодил в собственную ловушку. Кампания 1812 года от битвы при Бородине до изгнания французов доказала, что одна выигранная битва еще не означает завоевания страны и что сила, определяющая судьбу народов, заключена не в завоевателях.

"Биндшедлер, Юлия сломала тогда шейку бедра. Юлия со сломанной ногой шла навстречу смерти. Человеку, стоящему у ее кровати, она могла сказать: 'А у тебя красивое лицо!'

Корешки раковой розы подавили болевые центры в мозгу Юлии, говорили врачи. Юлия стала выглядеть заметно моло-

1. *Нем.* Rose – "роза", "рожа, рожистое воспаление". Здесь и далее – игра слов.

же, а раковая роза посреди лица у нее все разрасталась и разрасталась. Потом настало Рождество. Юлия часами разглаживала рукой одеяло, с такой улыбкой, какая иногда появлялась у Филиппа, после того как он лишился голоса.

Иоганна и Гизела тоже навещали ее. Иоганна в таких случаях на несколько дней оставалась в Верденбурге. Свояк Густав каждый день с часу до трех сидел у постели Юлии, стараясь быть поближе к балконной двери. Гизелу запах раковой розы мучил тоже. Иоганна однажды принесла большую семейную фотографию. А позже, говорят, она показала Юлии увеличенное фото, на котором Юлия запечатлена как санитарка в сумасшедшем доме, она стоит, опираясь правой рукой на спинку белого стула.

Через несколько дней Катарина рассказала, что, когда она собралась уходить, Юлия долго трясла ее руку, улыбаясь. На следующее утро Юлия умерла.

Купили гвоздики (дело было в январе), красные гвоздики. Отправились в больницу. Медсестра отвела нас в морг. Там она отодвинула деревянную крышку. Юлия была видна по пояс. Раковая роза была прикрыта. Мы положили туда гвоздики. Теперь это был поясной портрет с красными гвоздиками", – сказал Баур.

Сарыч больше не кружил. С улицы Кирхгассе доносился звук трещотки, который сразу вызывал в памяти образ внука вдовы столяра, детскую маскарадную процессию, супружескую пару с коляской на высоких колесах.

"Вот по этой посыпанной гравием дороге и катил катафалк, раньше, когда траурная процессия обязательно проезжала по всему городу, – сказал Баур, поправляя шапку, а звук трещотки тем временем становился все глуше. – Кстати, о катафалке: Марсель Пруст в своем романе 'В поисках утраченного времени' описывает, как он возвращался домой со своей больной бабушкой. Солнце начинало опускаться; оно освещало бесконечную стену, вдоль которой ехала коляска, пока они не добрались до улицы, где жили. Тень лошадей и коляски, которую заходящее солнце рисовало на стене, на кирпичном фоне выглядела, словно катафалк на помпейской терракоте.

Биндшедлер, я считаю Пруста самым интеллектуальным писателем. Марсель Пруст (по крайней мере с моей точки зрения) писал самую ненапряженную прозу. Ненапряженность – это противоположность халтуре. Ненапряженность, наверное, стоило бы соотносить с качеством жизни.

Марсель Пруст сделал невыразимое выраженным. Для меня это мерило автора. Сделать невыразимое постижимым – общество не в состоянии этого сделать. Экономика тоже не в

состоянии. И общество, и экономика оперируют тем, что в их распоряжении. Из жести, например, делаются автомобили. Половая любовь реализуется в детях.

В своих метаниях мы склоняемся к миру жести. Другой мир был бы полнее: с прозрачными горизонтами, окружающими сад, по центральной оси которого находится *древо жизни.*

Есть подозрение, что Астерикс и шоумен Руди Каррелл не способны продвинуть нас вперед, не способны это сделать ни жевательная резинка, ни Карл Маркс. Но и никто из нас на это не способен, хотя люди все вновь и вновь стремятся к простоте (к святой простоте, по возможности), которая, похоже, доступна только детям, старикам, монголоидам и позволяет им иногда видеть мир вдоль упомянутой оси", — сказал Баур с такой гримасой, как будто ему явился херувим с обнаженным разящим мечом.

"Зато в прошлом году мы подробно познакомились с Эльзасом. Искали дом Альберта Швейцера в Гюнсбахе, потому что жена нашего хозяина была его крестницей. Осмотрели Изенгеймский алтарь, съездили в Страсбург. По вечерам углублялись в дискуссии, в часы, когда над пограничной землей раскидывалось звездное небо. Обсуждали гуманитарную помощь, приходя к противоположным выводам, что, скорее всего, объяснялось тем, что миссионеры опирались на конкретный опыт, а мы — на сборную солянку готовых взглядов. Установили, что и церковь уже изменила свою точку зрения на Гитлера; и что интеллектуалы остались разве что только на Востоке, среди диссидентов.

В воскресенье отправились в Гертвайлер на проповедь. Там есть церковь времен фин-де-сьекль. Сначала прошли через деревню, на кладбище. Там они и упокоились, старые бойцы Первой и — в чуть более молодом возрасте — Второй Великой войны. Центральная ось кладбища отмечена была обелиском из искусственного камня. На большей части могил были помпезные надгробия, окруженные кустами роз, которые, конечно, цвели и источали аромат. Я посмотрел поверх могил на Вогезы, на склонах которых наверняка и погибли некоторые из этих бойцов.

Напротив кладбища находился вокзал, типичный образчик из 'Обретенного времени' Марселя Пруста: примерно четыре метра шириной, двенадцать длиной и двенадцать — в высоту, такой крайне скромный вокзальчик, и рельсовый путь перед фасадом, как бывает только в больших странах. На местность ложился свет вершины лета.

Вошли в церковь. Деревянный алтарь украшало зеленое покрывало с золотой бахромой. Точно так же была украшена

балюстрада кафедры. В алтаре, слева от распятия, стоял букет полевых цветов. Блеклый розовый цвет стен проступал из-под патины пограничных времен.

Священник читал притчу о блудном сыне, а потом стал говорить на эту тему. Он был очень молод. Я то и дело посматривал на букет полевых цветов, исполненный простодушия нижнеэльзасских полей, красок, одновременно интенсивных и сдержанных, да еще в помещении, где, несмотря на роспись на окнах, угадывался пограничный свет вершины лета: символ прозы Пруста!”

Ворона села на верхушку вяза, выдавила из глотки каркающий звук, потом еще и еще.

Ветер обдувал лицо, карнавальный ветер. Можно было сказать, что он всегда уносит прочь *звуки битвы*, но и — *лепет* листьев, например, той березы, на которую смотрел князь Андрей накануне Бородинской битвы.

И можно было сказать, что ветер время от времени приносит дожди, затяжные дожди, в том числе и на Праценские высоты, от этого памятники покрываются мхом, лишайниками.

А когда снова прояснится, то тут, то там лопаются коробочки мака, семена которого не успокаиваются, пока не породят новые растения с такими же коробочками, и те снова начнут лопаться.

“Биндшедлер, примерно в восьми шагах к югу от могилы Юлии находилась могила Лины. В ответ на предсказание, что они когда-нибудь станут соседками, там, за вязами, они определенно сказали бы: ‘Невероятно!’ Глядя при этом на Юрские горы, покрытые первым снегом, который, если стоять вот здесь, всегда заставляет меня вспомнить Линду, Ханса, школьную комнату третьего класса, школьный двор с имперским желтым фасадом мебельного магазина, с ласточками в небе; они щебечут, а ветер приносит что-то вроде аромата шиповника. Потом, Биндшедлер, этот фасад стал для меня той самой ареной Ронды, которую испанцы считают не просто национальным архитектурным памятником, а местом, где в восемнадцатом веке был придуман классический бой быков. С тех пор бесчисленные тореадоры на деле доказывали то, что сказал однажды Педро Ромеро, виртуоз этого смертельного ритуала: ‘Страх наносит больше ран, чем бык!’” — сказал Баур, улыбаясь мне.

Дойдя до асфальтовой дорожки, ведущей к ритуальному залу, Баур остановился, указал на груду убранных могильных камней и сказал: “Там лежит ангел с розой, который был свидетелем того момента, когда прах майора кавалерии, подхваченный ветром, уносило из дырявой урны”.

Когда мы проходили мимо дома священника, на память пришел “Художник Нольтен”[1], ведь давно было пора его основательно проштудировать. Затем мы свернули на дорожку, которая шла вдоль изгороди, за которой сплошь были неожиданные находки.

“В этом доме около семидесяти лет назад жили мои предки. Так что по этим плитам наверняка проходили и мама, и Гизела, а также Юлия, Иоганна и Бенно.

А там жил кузен Альберт, тот самый, у которого часы. На южном фасаде еще висит табличка с его именем. Сейчас там живет проповедник, у которого, кстати, сын — писатель. В Берлине живет. Мы с Катариной там два года назад были. Ранней весной. Посетили дворец Шарлоттенбург, обедали в зимнем саду, под тихую музыку, перед глазами — вся панорама замка, как у Юлии — все родственники на семейном фото. В павильоне Шинкеля по соседству есть полотна Каспара Давида Фридриха. Так что я первый раз в жизни, нет, второй (первые оригиналы я увидел в Цюрихе на выставке ‘Искусство из Дрездена’), стоял перед картинами моего любимца. Среди прочих полотен там были пейзажи острова Рюген, невероятная пластика.

Съездили и в Восточный Берлин. Пограничные формальности нас немного смутили, как и гигантский памятник солдату — в районе Кепеника, по-моему. На балконе виллы в стиле модерн, закусывая и глядя на Шпрее, я почувствовал, что смущение переросло в печаль. Незадолго до того я прочитал ‘Штехлин’ Фонтане, где описана Шпрее и корабли на ней. Кстати, жили мы в Тиргартене, где стоят особняки знаменитых архитекторов. Накануне возвращения, это было чудесное мартовское воскресенье, мы еще раз прошлись по Тиргартену, выпили кофе в уличном кафе, прогулялись в тюльпановом цветнике, разбитом при дворце, где частенько прогуливается федеральный президент, наткнулись недалеко от колонны Победы на монументальные бронзовые фигуры, изображающие кайзера и полководцев, которым довелось выстоять в бойне под Берлином.

С тех пор случается, Биндшедлер, что мне чудится, будто я в Тиргартене, пью кофе, а вокруг зеленеют кусты, и ясное небо висит над кайзером и над полководцами”, — сказал Баур. Мы перешли через линию пригородной железной дороги, и Баур показал на какой-то куст, говоря, что это дикая роза. Его взволновало, что в Амрайне, посреди деревни, обнаружился такой роскошный розовый куст. Мол, в вагоне поезда он все-

1. Новелла Эдуарда Мёрике (1804—1875).

гда садится так, чтобы видеть эту розу из окна. А когда куст цветет, то это для него важное событие, ведь, в конце концов, речь идет о той самой полевой розочке Гёте, от которой у гимназисток, говорят, глаза расцветали небесным цветом.

Потом пошли вдоль яблоневого сада, в котором он, Баур, несколько раз сталкивался со своей мамой, а если говорить точнее, то по воскресеньям в январе или феврале, когда деревья подергивались фосфоресцирующим зеленым налетом, дул альпийский фён, солнце ранней весны все это освещало, и яблоневый сад превращался в священную рощу, и в ней из аромата возникала призрачная мамина фигура.

Вот справа дом одного архитектора, отец которого некоторое время был любовником вдовы Альберта Баура. А там — бывшее жилище тети Ханны, недалеко от железнодорожной насыпи, где они с Катариной (это он говорит для Катарины) каждый год собирали летний букет из шалфея, маргариток, скабиозы, герани, эспарцета, но теперь это время позади, весь этот летний сбор, потому что даже вдоль насыпи уже ничего подобного не растет, наверное, из-за ядовитых веществ в осадках.

Остановились на мгновение, обернулись, увидели на коньке крыши, под которой жили когда-то предки Баура, голубей, сидящих ровной шеренгой, на одинаковом расстоянии друг от дружки, и все головки повернуты на юг. Баур заметил, что эти голуби всегда кружат вокруг домов Иоахима Шварца, Альберта Баура и его родственников, и еще обычно вокруг ресторана, где принято справлять поминки.

Ступая по лиловым лужам, прошли через короткий подземный переход, на той стороне стали взбираться вверх по крутой улочке, добрались до отвесной стены основного подземного перехода, за которым приветливо глядело на нас здание магазина “Кооп”, чем-то напоминающее корабль — современный, разумеется. Раньше там стояла красная гостиница, магазин промышленных товаров, “Павлин”, в котором, одурманенная, сидела дочка хозяина. Молочная лавка потеснила крестьянский двор, где стоял каштан, тень которого ложилась на желтый островерхий фронтон дома, обращенный, в свою очередь, к красной гостинице, дружелюбно глядящей из-за крестьянского сада, который летом заполонен цветущей живокостью, а осенью — георгинами, и с южной стороны которого неустанно журчит вода, вытекающая из деревенского колодца, плеск которой прерывается разве что порывами ветра или жаждущими прохожими. Разумеется, воробьи тоже утоляют жажду именно здесь, хотя поручиться за это было бы слишком смело.

С восточной стороны от этого дома стояло грушевое дерево, очень старое, за ним — мастерская шорника. Между

нею и крестьянским двором, чуть сзади, виднелся торговый дом мебельщика, который слегка прихрамывал, много пил, однако мебельную торговлю в руках держал крепко.

Этот мебельный магазин позже перестроили в католическую часовню, но на фасаде, обращенном к улице, до сих пор не до конца стерлись надписи, предлагавшие шкафы, постельное белье, перины.

Итак, в сопровождении неустанного плеска воды гимнасты из Инквила показывали индейские, негритянские и цыганские танцы, а электропианино с правильными интервалами посылало музыкальные звуки вверх, к кронам каштана и груши, пока руководитель группы гимнастов громким распевным счетом сдерживал танцевальные ритмы своих подопечных.

Развернувшись, можно было увидеть старый мост для перехода над путями, дом тети Ханны, подворье у самых путей, затем маленький домик, принадлежащий закройщику, который был заядлым стрелком.

“Биндшедлер, вон там над самым обрывом стоял дом портного, который был еще певцом и орнитологом”, — сказал Баур, на ходу подбирая с земли игральную карту — восьмерку.

По пути я смотрел на ту улицу, где мы шли вчера за детской карнавальной процессией. При этом мой взгляд скользил по бывшему мебельному магазину, в котором Бенно покупал свои шкафы.

Баур остановился. “Видишь ли, Биндшедлер, в этом доме живет теперь дочь хозяина ‘Павлина’. Все елки, которые тут растут, она посадила в один день: в тот самый, когда снесли ‘Павлина’. Вот так примерно выглядел тот крестьянский дом, который стоял напротив красной гостиницы, во всяком случае, у него была такая же островерхая крыша.

Однажды мы ходили сюда в гости. Был воскресный вечер. Не успел я оказаться в гостиной, как ударил по клавишам пианино, и раздался расплывчатый, не слыханный ранее, но, возможно, давно желанный звук — такой *дальний*, что ли. И потом, Биндшедлер, я невольно подумал о *твоем* Болконском, которому впервые только на Праценских высотах открылось небо, величие, тишина, бесконечность звездного неба, — проговорил Баур, почесывая себя за ухом, в этот момент — за правым. — Я окружил этот звук двумя-тремя другими звуками, они шли один за другим. Эти звуки затерялись в комнатных растениях, в портьерах, в безделушках. Так что получилось что-то вроде звуковой картины мира”.

Ель зашевелилась. В ее верхушке застрекотала сорока, обратившись в сторону мебельного магазина, а у меня тем вре-

менем перед глазами поплыли санкт-галленские кружева, сплетающиеся в цветы, которые не источали аромата, но зато от них исходил удивительный покой, и украшены ими были королевские подушки, что — как говорится обычно в рекламе, — конечно, отнюдь не преувеличение, потому что подушки эти выходят за рамки обыкновенных вещей, это просто-напросто королевское украшение, причем редкие цвета ткани, оливковый и цикламеновый, подчеркивают особенность этих подушек самым отчетливым образом. И я подумал, что в восточнопрусских имениях, конечно, тоже висели занавеси с цветочным узором, которые то и дело пытались упорхнуть, по крайней мере, когда открывали окна или на сквозняке.

“А там еще есть печка в форме скульптуры, которая при желании производит тепло, да вдобавок еще запахи и звуки, и которую при сильном нагревании пронизывает дрожь. Эта печка стояла раньше в пивной, при пивоварне.

На столике у двери лежал том прозы Пушкина. Над пианино висела картина поперечного формата, в черной рамке, изображающая пейзаж, такой мрачноватый, пронизанный ветром. В углу над диваном висели увеличенные портреты хозяев ‘Павлина’. На внутренней стороне двери бросался в глаза портрет того столяра и члена кантонального парламента, который в соседнем городишке занимался строительным бизнесом и в свое время построил дом Фердинанда в Верденбурге. На этой фотографии топорщились легендарные усы, а сам их владелец смотрел в тот момент куда-то наверх, наверное, на своих столяров.

Так вот, значит, в гостиной стоит еще масляная печка из того ресторана, где обычно справляли поминки, например, после похорон Лины, отца, матери, Юлии, и всегда стол накрывают в малом зале ресторана, перед которым была сделана фотография гимнастического общества, где с западной стороны стоят два каштана, а над входом — балкон все с теми же коваными чугунными перилами, правда, кое-где они схвачены проволокой.

Биндшедлер, когда мы уходили, можно было напоследок заглянуть в сад сквозь кухонное окно. Там видны были березы и орешник. Там были подснежники и белоцветники”, — сказал Баур.

По переулку мы вышли на главную улицу и пересекли ее. Баур показал на здание, у восточной стены которого видны были остатки плинтуса и паркета.

“Это дом Линды, знаешь, той самой, у которой отец был пекарь и гимнаст-виртуоз. А видишь беседку? Напротив нее

мясная лавка, и там знаменитый разделочный стол из мрамора с золотом", – сказал Баур, сворачивая на улицу, ведущую мимо пожарного водоема. Прошли мимо дома с пристроенной к нему мастерской, где жил один из братьев пекаря – столяр; его четвертый по старшинству сын некоторое время выполнял роль почтальона – между Линдой и отцом. Позже он упал с крыши беседки и разбился насмерть.

На перекрестке остановились.

"Там старая больница, – сказал Баур, – а за ней новая. Посередине – бывший морг, там еще внизу был свинарник. И случалось, что свиньи начинали визжать, когда шло прощание с покойным.

Я вспоминаю, как строили старую больницу. Я даже помогал собирать продукты для прежней деревенской больницы. Она сегодня стоит пустая, то есть не совсем, иногда там военные квартируют, летом обычно там курсы живописи, рисунка, моделирования. Обнаженную натуру пишут в специально оборудованном помещении на чердаке. Там девушки – стоят или лежат. А те, кто их рисует, трудятся над их силуэтами, напоминающими отчасти горные цепи, низменности, тундру. Сейчас стена вся увита диким виноградом, он доползает до самой крыши. Отдельные плети проползают между кирпичей на чердак и потом снова прорастают усами наружу".

В небе кружили два коршуна.

Один из них кричал.

Придя домой, поднялись наверх, где висела гравюра с изображением замка Бехбург, над которым по вечерам распускаются хризантемы.

Катарина принесла суп-лапшу, потом жаркое из говядины, картофельное пюре, овощной салат. Она хитро улыбалась.

"Вообще-то Ханса Бютикофера там тоже не было", – сказал Баур. Я в этот момент как раз приступил к жаркому, перед глазами – заснеженные ели, долина Юстисталь.

В травинках отражался большой участок торговца яйцами.

Катарина принесла кофе.

"У бригадира Ребера доброе лицо старого индейца, – сказал Баур, заставив меня вздрогнуть, и тут же продолжил, назидательно подняв кверху указательный палец: – Биндшедлер, я тут на Рождество книгу в подарок получил, от Катарины, называется *Как вздох буйвола зимой*[1]".

1. T. C. McLuhan. Wie der Hauch eines Büffels im Winter, 1971. Немецкий перевод книги "Touch the Earth: A Self-Portrait of Indian Existence".

Баур принес книгу, показал обратную сторону обложки. Там было написано: “Что такое жизнь? Это свечение светлячка в ночи. Это вздох буйвола зимой. Это маленькая тень, скользящая по траве и исчезающая на закате” (Кроуфут, предводитель черноногих индейцев, незадолго до своей смерти в 1890 году).

Из Амрайна вновь стали доноситься звуки труб, барабанная дробь. Возможно, та парочка с коляской снова в пути, так что имеются субстанции, способные противостоять разрыву времен.

Баур между тем открыл обращение вождя Ситла, произнесенное в 1855 году при передаче своей земли губернатору Стивенсу. Баур читал:

Мой народ стал малочисленным. Он как отдельные деревья на равнине, терзаемой ураганом... Когда-то эта земля была населена нашим народом. Мы подобны волнам взбудораженного ветром моря, пробегающим над усеянным раковинами морским дном. Но то время давно прошло, оно миновало вместе с величием моего народа, которое осталось теперь только в воспоминаниях, наполняющих нас тоской и печалью...

Для нас священны кости наших предков, и место их упокоения — обетованная земля. Вы уходите далеко от могил ваших отцов, и похоже, что уходите без сожаления. Ваша религия начертана вашим богом железными пальцами на каменных скрижалях, ибо иначе вы позабыли бы его законы. Красный Человек никогда не мог понять вас и вашу веру и поэтому не мог чтить ваши заповеди. Наша религия передана нам нашими предками; она живет в сновидениях наших стариков, и великий дух передает им ее в священные часы ночи. Она дает нашим военачальникам силы, чтобы сражаться, потому что она укоренена в сердце нашего народа.

Ваши мертвые перестают любить вас и землю вашего рождения, они становятся чужаками, как только переходят через ворота смерти и уходят странствовать за звездные пределы. Их скоро забудут, и они никогда не вернутся. Наши мертвые никогда не забывают тот прекрасный мир, который дал им жизнь...

Когда последний Красный Человек уйдет и воспоминание о его народе у Белых Людей превратится в миф, невидимые мертвые из моего племени населят эти берега, и если дети ваших детей будут думать, что они одни в поле или в лавке, в магазине или в тишине непроходимых лесов, то на самом деле они будут не одиноки... Ночью, когда улицы ваших городов и деревень молчат и вы думаете, что они покинуты, на них будут тесниться вернувшиеся толпы тех, кто некогда там жил, тех, кто по-прежнему любит эту прекрасную землю. Белый Человек никогда не будет одинок...

Да будет он справедлив и дружелюбен к моему народу, ибо мертвые не бессильны. Я сказал: мертвые? Смерти нет. Есть только смена миров.

Все единодушно решили устроить послеобеденный перерыв, потому что прошлая ночь оказалась для нас слишком короткой, и договорились собраться опять около трех часов.

Я уединился в нижней гостиной. Со стороны Амрайна доносился какой-то треск. Над Юрскими горами тянулись разрозненные облачка. Я пробежался взглядом по их контурам, думая при этом о тех девичьих телах, которые пытаются отобразить любители рисования и живописи на чердаке бывшей больницы каждым летом. Я сказал себе, что Толстой в "Войне и мире" самым проникновенным образом показал, как жизнь, история, течение времени неуклонно продолжаются, даже если преходящие судьбы людей уже свéршились. Можно считать, что он показал, как все зарастает травой и как она снова прорастает, эта трава. Наташа, например, вышла замуж за Пьера, это Наташа-то, которая по уши влюблена была в князя Андрея Болконского, перехватившего у убитого адъютанта знамя, чтобы возглавить атаку против французов, Болконского, который позже, в другом сражении — в Бородинской битве — был ранен настолько тяжело, что жить ему оставалось недолго. Та самая Наташа, эта молодая, цветущая, восхитительная женщина, вышла замуж за Пьера, друга Болконского, родила детей, погрузнела, заботилась о своем муже и своих детях, ела суп-лапшу, жаркое из говядины, картофельное пюре, овощной салат, и над русской степью тянулись сезоны летних отпусков, и где-то там в глубине — Москва, которую предварительно сожгли, когда он, *героический тенор*, выпустил в нее свою армию, в то время как Пьер бродил по Москве и носился с мыслью убить Наполеона. Затем его схватили, после того как он спас ребенка из огня и заступился за русскую женщину, ограбленную французскими солдатами и прилюдно обвиненную на площади. Он был арестован как поджигатель и чуть было не казнен, оказался в отступающем обозе вместе с французскими войсками, ему пришлось перенести немыслимые тяготы русской зимы как военнопленному Наполеона, он был освобожден русскими войсками, вернулся домой, встретил Наташу, женился на Наташе, да, на той самой Наташе, которая потом вместе с ним, Пьером Безуховым, с их детьми и другими среди прочего ела лапшу с блинами, жаркое из говядины и так далее, стала старше, мягче, проще, а тем временем летний курортный сезон...

Из Амрайна доносились удары барабанов и литавр, но появились еще и сигналы трубы, которые все учащались. По-

видимому, маскарадная суматоха началась снова, пока ветер бороздил лиловые лужи.

Я подумал: “Может быть амрайнцы затеяли карнавальное шествие по городу? Оно ведь должно проходить по тому маршруту, который обычно использовали золотари Иоахима Шварца”. Я представил себе процессию с машинами, украшенными бумажными розами, рисунками, изречениями, персонажами на злобу дня, по следам последних событий.

Я прилег, но заснуть не мог. Я видел, как мы с Бауром стоим за домом, под звездным небом, рассматривая луну, молодой серп, пронзающий пик Гюггель. Я встал, взял альбом репродукций Каспара Давида Фридриха, нашел картину “Ступени жизни”, на которой изображено что-то вроде острова мертвых с надеждой на жизнь, узнал ее формат, 72,5 x 94 см, а также местонахождение — в Музее изобразительных искусств в Лейпциге; добрался до картины “Большое поле у Дрездена”, где показан момент перехода, перехода от лета к осени, от вечера к ночи, от жизни к смерти; натолкнулся на картину “Вечер на Балтийском море”, напомнившую мне мать Баура, которая вот здесь, в углу, где стоит кушетка, провела свои последние мучительные дни, постоянно опекаемая Гизелой, Юлией, Иоганной, которые, стеная, гладили ее руки, а Иоганна в перерывах вставала в позу протеста против смерти. Я вновь переключил свое внимание на голубые, зеленые, бежевые оттенки облаков, в которых мне чудилось спиралевидное движение, рассмотрел два парусника на переднем плане, три-четыре других — на заднем, костер, у которого стоят два рыбака, а справа в море врезается узкий мыс, образуя гавань, в которой встал на якорь один из кораблей. Эта картина, написанная в 1831 году, находится в Дрездене.

Я отложил книгу и стал прохаживаться взад-вперед, причем по тому самому маршруту, по которому за день до этого прохаживался Баур, рассказывая мне о флагах, развевающихся на улицах гарнизонного городка, а самый большой — швейцарский — флаг то и дело вставал по ветру горизонтально. Я попытался представить себе зал, который в его воображении превратился в глыбу льда, с вмерзшими внутрь лицами и фигурами, смотрел, как он непрерывно ест, подумал о Вилли Бютикофере, Пауле Шааде, Иоганне Лемане, которых я очень любил, слышал голос фельдфебеля Крэтли, видел близко лицо бригадира Ребера, которое действительно, особенно в профиль, напоминало лицо индейца (только перьев не хватало, пусть даже это были бы не перья последнего из могикан), решил, что в ходе времени есть нечто сюрреалистическое, а еще сообразил, что Баур в те далекие вре-

мена вполне мог садиться на придорожный камень и сидеть там дни, недели напролет, чтобы уловить этот ход. Я встал у камина, перенес тяжесть тела на левую ногу, скрестил руки на груди, направил взгляд на одну точку в саду, попытался представить себе Гизелу, Юлию, Иоганну на общем семейном фото, но одновременно еще и пятилетнего Баура, и Филиппа, и Бенно, и Фердинанда; увидел, что мать Фердинанда держит в руках розовый бутон, мать Баура — распустившуюся розу, Юлия — букет роз; на мгновение задержал взгляд на отцовской стрижке ежиком; сказал себе, что из этих людей остались, собственно говоря, только Баур, Гизела, Иоганна, создавая теперь для меня тот самый фон, который некогда виднелся за спинами этих людей на фотографии.

Я отошел от камина и со скрещенными руками стал ходить взад и вперед, всякий раз видя впереди за окном ветку форзиции, на которой теперь появились отдельные цветки.

"Придуманное Карлом (Марксом), возглавленное кастой интеллигенции (во всяком случае, на Западе), продвигающееся в направлении рая шествие, Биндшедлер, напоминает мне вчерашнюю процессию под предводительством внука вдовы столяра, человека с барабаном и в полумаске, который — когда пришел — прислонился к каштану, взглянул на сияющий день, полный запахов карнавала", — сказал Баур, щелкнув пальцами, большим и безымянным.

По большому участку торговца яйцами прогуливалась ворона, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, клевала что-то, поглядывала вокруг, опять клевала, потом взлетела — и опустилась на яблоню в том месте сада, где Баур когда-то наткнулся на необыкновенно крупные незабудки.

Конечно, многие на Западе знают, сказал я, вспомнив рассказ одной полячки, что жизнь при коммунистах была не сахар. Но истинную меру этого несчастья представить себе невозможно, потому что самоотречение и нужду мы измеряем по своим западным масштабам. Например, люди по десять, по пятнадцать лет добивались, чтобы им дали квартиру, а тем временем ютились в тесной квартирке еще с несколькими семьями. Царила постоянная нехватка продовольствия. Что-то купить означало отстоять очередь — занимали с трех часов утра, невзирая на дождь и снег. А если посчастливится что-нибудь купить, то уж запасались сразу основательно, чтобы потом произвести обмен с друзьями: сигареты на туалетную бумагу, шампунь на сыр — это была борьба всех за все. Не хватало школ, учителей и материалов. Ученики последней смены возвращались домой в девять часов вечера. С другой стороны, было слишком много людей с высшим образованием.

На вступительных экзаменах в университеты дети рабочих и крестьян пользовались льготами — шла скрытая дискриминация интеллигенции. Членство в партии, взятки и связи — вот что определяло профессиональное продвижение. Каждого могли уволить без объяснений. Социального обеспечения не существовало. Безработному приходилось полагаться на свою семью и друзей. Для поступления на новую работу требовалась характеристика от начальника с прежнего места работы. Все руководящие посты занимали только партийные.

Все знали, что все будут получать равное количество злотых вне зависимости от того, делают они что-то на работе или нет. Зарплата не зависела от достижений. Кроме того, рабочий знал, что его труд изначально не имеет никакого смысла — потому что продукция выпускалась без учета рыночного спроса или потому что товар испортится раньше, чем дойдет до рынка. Предприятиям между тем предписывалось выполнение заранее невыполнимых пятилетних планов. Вследствие этой клоунады халатность расцветала пышным цветом. Деморализация такого рода — неизменная составляющая коммунистического общества... Между тем ворона снова слетела на землю, что-то клевала, глазела, сделала несколько прыжков, опять посмотрела вокруг — и улетела в направлении Юрских гор.

“Биндшедлер, мне кажется, нас сегодня не столько беспокоят общественные проблемы, сколько вакуум бездуховности, который увлекает нас, что называется, на край космической пропасти”, — сказал Баур с улыбкой. Я предложил обратиться в качестве примера к финалу Четвертой симфонии Шостаковича, которую он, впрочем, запретил исполнять в декабре 1936 года, незадолго до премьеры, как написано на конверте к пластинке. О решении композитора не допускать эту вещь до исполнения существует много домыслов. Лишь четверть века спустя, 30 декабря 1961 года, измененную версию симфонии все-таки исполнили. Среди сочинений композитора Четвертая во многих отношениях является кульминацией. Согласно партитуре оркестр должен состоять более чем из ста двадцати человек. Умелое вовлечение композитором такого огромного числа исполнителей достойно восхищения. Только после знакомства с посмертно опубликованными воспоминаниями композитора раскрывается противоречие между неистовым, почти невротическим беспокойством, с одной стороны, и глубокой меланхолией — с другой. Чтобы в полной мере ощутить стереоэффект, мы расположились в середине гостиной. Баур сразу вручил мне фотоальбом “Древнерусская архитектура” со словами, что у него заведено воскресными вечерами, когда он слушает Шос-

таковича, листать этот альбом, открывая его в определенных местах, поэтому теперь он воспринимает Шостаковича и эти строения — вместе с пейзажем, разумеется, как нечто неразделимое.

Вот и я открыл фото "Вид на купола церкви Преображения Господня и Онежское озеро". Вступил фагот — после громкого зачина. Кресты отбрасывали тени на купола, которые на протяжении столетий переносили холод и жару, дождь и снег. Онега была неспокойна, окрашена синими тонами, пестрела островами, а по небу плыли летние облака, легкие, белые. Ударили колокола, зазвучала их перекличка, и в ответ запел ветер, зашумел в кронах деревьев. Вступили басы, за ними — высокие голоса скрипок, но вот и Наташа, и князь Андрей, вместе в одной лодке, которая плывет к острову. Наташа положила ногу на ногу, руки на коленях, она смотрит на остров, с которого доносится шум. Блузка облегает грудь. Князь Андрей смотрит то на одно, то на другое весло, потом снова на купола *церкви Преображения Господня*. Временами весло у него повисает горизонтально над водой, а он смотрит на облака, которые равнодушно плывут мимо, словно газовые платочки, только не развеваются на ветру.

В это небо вписана история России: ее морозы и пожары, победы и поражения. Лодка пристала к берегу, мягко воткнувшись в песок. Князь Андрей оставил весла, снял ботинки и носки, закатал штанины, перенес Наташу на берег.

Наташа засмеялась, склонилась над *песчаной лилией* (во всяком случае, этот цветок походил на лилию, хотя бы верхушкой, потому что листья скорее напоминали остролистный падуб), держа лилию в руке, указала на заросли шиповника у кромки леса, потом — на *церковь Преображения*, деревянную дранку которой уже было не разглядеть, повертела стебель лилии между большим и указательным пальцами, а блузка ее трепетала на ветру; и коршун, который давно уже кружил между островом и церковью, взмыл и там, в вышине, в пространстве, где не было облаков, парил, превратившись в маленькую лежачую восьмерку.

Князь Андрей повернулся к Наташе, погладил ее по щеке. *Песчаная лилия* вяло повисла на фоне Наташиной черной юбки. Коршун камнем упал вниз, схватил рыбину, которая блеснула в его когтях.

Наташа и князь Андрей шли к опушке леса, прошли сквозь перелесок и оказались на лугу. Луг пестрел маргаритками, геранью, скабиозами, шалфеем. Бабочки садились на цветы, качались на них, отталкивались лапками и взлетали вверх, особенно много было белых.

Наташа легла на мундир Андрея и закинула руки за голову. Андрей, опираясь на локоть, гладил Наташину шею и подбородок. В глазах Наташи стояли облака. По травинке взбирался муравей. Травинка склонилась к земле. Муравей переполз на лист земляники и исчез под ним.

Князь Андрей вскочил, зашагал к лесу, наклонившись, сорвал лисичку, рассмотрел, понюхал, стал прислушиваться к ветру, который гулял в вершинах деревьев.

Возвращаясь, Андрей раздавил ножку гриба между пальцами, подбросил шляпку левой рукой, пнул, как мячик. Запах гриба распространился вокруг. Наташа поднялась и все смотрела на лес, не замечая, впрочем, ни бабочек, ни шума деревьев.

На песке Наташа обнаружила еще одну лилию, заглянула в венчик. Андрей писал что-то на песке. Ветер тем временем поутих.

Они сели в лодку. Блузка трепетала на ветру, но совсем чуть-чуть. Наташа опустила правую руку в воду и так держала ее некоторое время. В воде стеклянным подвижным отражением стояла *церковь Преображения.* Наташа представляла себе свадьбу и поклялась, что еще много раз будет плавать на лодке по Онеге, летом, когда цветут *песчаные лилии...*

Я читал у одного туриста, говорил я по дороге на вокзал, что поле Бородинской битвы сплошь покрыто памятниками. Есть там и Музей воинской славы. В музее с потолка свисают русские полковые знамена с двуглавым царским орлом. Знамя *8-го полка императора Наполеона* развернуто в особой витрине. Там выставлены мундиры и множество оружия. Можно увидеть карманный компас маршала Нея, столовый прибор Кутузова, его четырехместную коляску. Панорама поля битвы прежде всего поражает невероятным множеством задействованных войск. 26 августа 1812 года в Бородинском сражении участвовало на треть больше солдат, чем три года спустя в битве при Ватерлоо. Школьников, которые приходят сюда целыми классами, подводят к сцене, и, когда поднимается занавес, можно увидеть в действии напичканный артиллерией редут Раевского: клубится пороховой дым, из стволов орудий вырывается огонь, слышен оглушительный грохот битвы. Меньше удалась музейщикам увязка сражения 1812 года против Наполеона с боями 1941—1942 годов против немцев в той же местности. В витрине были выставлены искореженные немецкие стальные шлемы, пулемет, унтер-офицерские погоны, железные кресты.

Снаружи над Бородинским полем в тот весенний день сияло солнце, и утром в день битвы Наполеон надеялся, что оно станет для него *солнцем Аустерлица.*

Старинные русские боевые укрепления, которым уже полтора столетия, сохранились. Правда, их перенесли на несколько метров дальше, потому что на прежнем месте оставалось слишком много тел убитых. На памятнике 145-му пехотному Новочеркасскому *императора Александра III* полку значится, что в день битвы полк потерял убитыми 19 офицеров и 621 солдата, ранеными 23 офицера и 527 солдат[1].

Один британский военный историк написал в 1972 году в монографии, посвященной Бородину, что только в 1916 году в битве при Сомме потери на одном узком пространстве были столь же велики, как в Бородинском сражении.

Перед тем как прибыть в Москву на Белорусский вокзал, электричка делает остановку на станции Фили: там Кутузов после Бородинской битвы на военном совете принял решение оставить Москву.

“Здесь я каждый раз срывал розу, — сказал Баур, указывая вперед, на поворот дороги, где видна была оплетенная розами железная ограда, — предпочитал красную, если мы ехали с классом на экскурсию”. Я тут же припомнил розовые кусты возле массивных надгробий на кладбище в Гертвайлере.

“Кстати, о розах, — сказал Баур, — когда мы были у Оскара Виггли, он на прощание поставил пластинку с фортепианной музыкой Эрика Сати. Я встал у окна рисовальной студии. Над Мюрьо раскинулось небо из стекла. Цвели первые крокусы.

Взгляд задержался на развилке дорог, где стоял каменный крест. Навозная куча позади него отливала желтизной в стиле Брейгеля. ‘Три гимнопедии’ Эрика Сати погрузили меня в грезы Роберта Вальзера о полете над ледяной поверхностью, тонкой и прозрачной, как оконное стекло, которая плавно опускается и поднимается, как стеклянные волны. Я летал над нею и был счастлив. Посреди ледяной равнины стоял храм, который на поверку оказался рестораном, стершимися буквами было написано: ‘Кафе Насьональ’... Крокусы склонили головки, когда Роберт Вальзер прибыл туда, а я сел на дощатый пол, поглядывая на развилку с каменным крестом, где как раз проходила мимо кошка. Мюрьо по-прежнему заливал свет.

‘Этот пейзаж и породил музыкальную шкатулку!’ — сказал я, мысленно ступая по мосту Дубса, по которому мы накануне шли вместе с Оскаром Виггли, Яниной и Катариной, чтобы выпить на той стороне бокал вина, и это напомнило о Марселе Прусте, о соборах Нормандии, об их покрытых медной зе-

1. Памятник установлен 24-й пехотной дивизии, а не 145-му пехотному полку.

ленью крышах. Повторяя поездку вверх по течению, я вслушивался в воды Дубса, которые раньше, когда здесь была мельница, обрушивались с уступа (с шумом, разумеется); я отдался во власть пейзажа, девственность которого почти отталкивала; вошел в ресторан, где Оскар Виггли запускал музыкальный автомат, и тогда можно было под сомнительную музыку смотреть в грохочущие воды и на тот берег...

Кошка прошла мимо навозной кучи, на этот раз в обратном направлении.

Представляя себе последние скульптурные работы Оскара Виггли, я понял, почему ему нравился Эрик Сати, который в 'Трех гипнопедиях' создал музыку, которая выгибается то вверх, то вниз, словно стеклянные волны... 'Три гипнопедии' Эрика Сати отзвучали.

Я повернулся к Оскару Виггли, сказал: 'В прошлом году в Биле я увидел на постаменте с твоей железной скульптурой розы – две красные розы'".

С деревенской улицы донесся звук трещотки. Поволока тени над южным склоном Юры сгустилась, небо на западе побледнело.

Надо быть Колумбом для целых континентов и даже для целых миров, открывать новые пути, но не для торговли, а для мыслей, говорил Генри Дэвид Торо, – заметил я, обращаясь к Катарине, стоя на перроне, там, где навес над ним уже закончился.

Каждый человек есть властелин собственной империи, рядом с которой земная империя царя – лишь кучка земли, оставленная ледником...

Ветер гонял опавший лист над привокзальной площадью.

В нескольких шагах к востоку от нас стоял Баур и смотрел на замок Бехбург, потом на рельсы в направлении Ольтена, что напомнило мне *Араканга*, зоопарк на Унтерфюрунгштрассе.

Сквозь грохот приближающегося пятичасового поезда я сказал себе: "И вправду, есть замечательные слова: *Араканга*, к примеру, или, скажем, – *Бородино*".

Ноэль Реваз

Когда Бабуля...

Монолог для многих голосов

Перевод с французского Ирины Волевич

Ноэль Реваз [Noelle Revaz] – писательница, автор романов "Касательно скотины" ["Rapport aux bêtes", 2002, премия Шиллера] и "Эфина" ["Efina", 2009, рус. перев. 2012].

Ее последнее произведение – драматический монолог "Когда Бабуля..." – рассказывает историю бесконечного ожидания – ожидания Бабулиной смерти, которая изменит все: ее ждут, чтобы навести порядок в доме, сменить работу, заняться спортом, короче говоря, чтобы начать жить по-настоящему. Как и в предыдущих книгах Реваз, главным персонажем здесь является язык. Если в ее первом романе это простонародная, корявая речь неотесанного крестьянина Поля, предпочитающего жене своих коров; если во втором романе это, наоборот, лирический, приподнятый язык несостоявшегося романа мужчины и женщины, чьи любовные чувства не совпали во времени, то этот монолог, в котором звучит множество голосов, выстроен по законам полифонии; они переплетаются, дополняют или, напротив, резко прерывают друг друга, отображая сложную симфонию чувств героев, которые ждут, как герои знаменитой пьесы Беккета "В ожидании Годо", исполнения несбыточного. Эти голоса, анонимные, стилистически абсолютно разные, невозможно приписать ни женщинам, ни мужчинам, да это и неважно, – все они говорят об од-

© Noëlle Revaz
© Ирина Волевич. Перевод, 2013

ном, спрашивают одно: когда же наконец Бабуля умрет, скончается, преставится, отдаст Богу душу, протянет ноги, даст дуба, ляжет в могилу... этот список можно продолжать долго: текст насчитывает около семидесяти синонимов глагола "умереть", и уже одно это ставит перед переводчиком интереснейшую лингвистическую задачу. Итак, изменится ли жизнь к лучшему, когда Бабуля...?

Перевод выполнен по изданию "Quand Mamie" ["Editions Zoé", 2011].

МЫ сколько раз уже говорили: "Когда Бабуля умрет..." Именно так и говорили: "Пока у нас все по-старому. Но когда Бабуля умрет..." Когда Бабуля умрет, мы возьмемся за ее комнату. Сдерем обои и выкрасим стены сплошь в белый цвет. Нет, в ярко-розовый. Или в ярко-зеленый. В кремовый. Когда Бабуля умрет, ее тумбочку порубим на дрова. И всю остальную рухлядь тоже, во-во, прямо топором и в щепки. Для своих лет Бабуля еще вполне бодра, но когда она умрет, придется разбирать ее вещи. Все, что она напихала в ящик своей тумбочки. Вплоть до крестильного чепчика. Когда Бабуля умрет, мы — знаешь что сделаем? — выбросим все подряд, не глядя, а то прямо тошнит, как увидишь все эти старые тряпки на вешалках. Когда Бабуля умрет, ничего не поделаешь, придется очистить комнату, выкинуть ее барахло и даже не перебирать, чего зря время тратить, вывалить все чохом в мусорку, и баста. Конечно, ее комнату придется отремонтировать. Представляешь, когда она скончается, сколько это будет работы — все обновлять. Сменить палас, положить другой паркет — например ясеневый, он лучше прочих, — а на стену повесить картину, что-нибудь красочное, веселенькое. В общем, как только Бабуля умрет, ты ж понимаешь, у нас начнется новая жизнь, все изменится, начнем готовить всякие экзотические штучки, которые палочками едят, а мясо наконец-то будет только с кровью. И вот еще что я думаю: в тот день, когда она скончается, хорошо бы усыпить собаку, ее игрушки выбросить, а галеты раскрошить на лужайке. Для дроздов, пусть клюют. Но, знаешь, мне кажется, лучше все сплошь выкрасить в зеленое — стены, двери, окна. Вот тогда комнатка получится что надо, в ней можно устроить будуар, гостиную, а то и приспособить под гладильную. А уж если перегородку снести, вообще образуется огромное пространство, настоящий холл. Только не надейся, что, когда Бабуля уйдет от нас, мы сразу начнем шиковать — сперва нужно прикинуть, во сколько нам станут похороны.

Потом купим новую машину. Дождемся, когда Бабуля умрет, и тут же срубим яблоню, она совсем захирела, мне уже осточертело каждый год опрыскивать да окуривать ее. О Господи, как сразу пусто станет, и в кресле никто не будет сидеть; кстати, боюсь, что со временем придется его кому-нибудь отдать, из сиденья снизу волос так и лезет. Как только Бабуля умрет, придется все отмыть или лучше... ну да, лучше просто побелить стены, будет чистенько и светло. Ох, и кавардак же начнется, когда Бабуля уйдет от нас... зато сколько свободного места сразу!.. Ее цацки оставим себе, не то чтоб они дорого стоили, но просто в память о ней. А до чего ж красиво получится, если на окна повесить другие занавески, не такие плотные, понимаешь? И если вон там пробить стену, то можно устроить прихожую, и будет, наконец, куда вешать куртки и складывать обувь. А вот там сделать лесенку в три ступеньки и проложить дорожку в сад; знаешь, мне всегда хотелось иметь небольшой водоем, к примеру, биологически чистый прудик. А вот я мечтаю, когда Бабуля умрет, устроить вторую ванную — для гостей, чтобы не натыкаться на них по утрам, когда они выходят из туалета, а то прямо неудобно. Кстати, можно съездить в Италию и разведать там насчет кафеля: у них всегда шикарный ассортимент, да и цены не то чтоб неподъемные. А потом пообедать в Болонье. Можно съездить туда на выходные, даже на самолете слетать, и так каждую неделю, а иногда, чем черт не шутит, и понедельник прихватить, за свой счет. Конечно, нам и здесь неплохо, но, когда Бабули не станет и в квартире будет просторнее, тогда уж заживем в свое удовольствие. А вообще-то, я вот как думаю: когда мы ее потеряем, не это ли самый подходящий момент, чтоб уехать, уехать эдак на годик, а то и на подольше, прожить где-нибудь несколько лет, повидать наконец-то новые края, расширить, так сказать, свой кругозор; после такого всегда возвращаешься другим человеком, возвращаешься и толком даже не понимаешь, откуда ты и куда, чувствуешь себя гостем на родине. Ох уж эта Бабуля, зажилась она на белом свете! Если мне суждено вот так же кончать свой век, я предпочту сделать себе смертельный укол; если я вот так же слягу навсегда, лучше уж пустить себе пулю в лоб; вот что: я прямо сейчас напишу распоряжение, чтобы меня убили, если я уподоблюсь Бабуле; гляди, куда я его кладу, я его вот сюда кладу, запомни! А по обе стороны окна неплохо бы поставить два больших цветочных горшка, и посадить пару оливковых деревьев... нет, пару лимонных, и собирать урожай; в самом деле, давай сделаем из комнаты оранжерею, застеклим стены и устроим зимний сад; там можно будет ку-

рить, и не придется бегать с сигаретой на балкон, где вечно схватываешь насморк. Еще можно посадить помидоры. А мне эта комната видится сплошь желтой: скатерки с провансальским рисунком, эдакий кусочек юга, верно? — он будет согревать душу зимой, в холода, и напоминать о Провансе, — верно? — если вдруг захандрим. Или нет, лучше большие кувшины, типа амфоры, по обе стороны двери, а внутри сплошные теплые тона, керамика всякая, одна-две лампы в углу, и можно будет полеживать на кушетке, — вспомни жену Наполеона![1] — в общем, такое уютное местечко, где приятно помечтать, милое дело. А я вот что предлагаю, как только комната освободится: у нас же нет гаража, так может, это как раз подходящий случай полностью снести перегородку, поставить машину под крышу, а рядом верстак для всяких поделок и стойку для лыж. Когда Бабуля умрет, ты уж мне поверь, мы сами удивимся, до чего она просторная, эта комната, сейчас никак не скажешь, но стоит выбросить весь хлам, как там будет вчетверо больше места, просто сейчас Бабулины цветы под окнами съедают весь свет. Н-да, когда Бабуля умрет, ты увидишь, какую она задаст нам работенку; я думаю, придется вызывать мусорный фургон, другого выхода нет, разве что увезти все ее вещи в багажнике нашей машины; заметь, это вполне реально, благо все равно купим новую. Когда Бабуля умрет... когда Бабуля умрет... когда Бабуля умрет, у нас свободного времени будет навалом. Сможем, наконец, спортом заняться. Знаешь, когда Бабули не станет, мы с тобой сразу поздоровеем, потому что сможем плавать вволю и бегать по утрам; вдобавок, у нас будет свой салат: ведь когда мы сделаем что положено и собака перестанет бегать по газону, его можно вскопать под огород, мы ведь давно этого хотели. И вообще, когда Бабуля отдаст Богу душу, давай разведем целый сад с огородом, яблоню эту дурацкую спилим, наймем кого-нибудь пень выкорчевать и станем выращивать овощи, тогда уж точно оздоровимся, а еще можно поставить в Бабулину комнату велотренажеры и по вечерам заниматься фитнесом. Или — чего уж мелочиться! — давай выроем на этом месте бассейн и будем плавать там каждое утро. Начнем с людьми общаться, гудеть по ночам, короче, жить в свое удовольствие; я думаю, вот так, шаг за шагом, дойдем до того, что купим гриль для барбекю и будем беситься на лужайке, как ненормальные, хоть каждый вечер. Слушай-ка, что мне

1. Видимо, намек на портрет Жозефины Богарне, первой жены Наполеона I, принадлежащий кисти французского живописца Франсуа Жерара (1770—1837). На картине Жозефина сидит на бархатном канапе. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

пришло в голову: давай после Бабулиной кончины заведем себе хобби, времени-то у нас будет хоть отбавляй; я даже планирую, после того как... обустроить в ее комнате мастерскую и заняться ручным трудом; у меня еще такая идея: вот он — удобный случай сменить наконец профессию, я давненько на эту тему размышляю, да-да, именно так; правда, иной раз меня сомнение берет: когда Бабуля преставится, хватит ли у меня решимости уволиться и завести собственное дело? Но, знаешь, в принципе, это вполне реально — заняться своим бизнесом, а на выручку соорудить пристройку в саду. Но я не считаю, что сауна так уж необходима. Досадно, конечно, что приходится ждать ухода Бабули, чтобы завести ребенка, но при ней такое просто исключено; хотя, вообще-то, если дело затянется, всегда можно смотаться в Голландию, у них делают искусственное осеменение, так вот, когда Бабули не станет, тогда-то детишек и заделаем, это будет лучше и для малышей, им достанется больше родительского времени и внимания — ну, ты понимаешь, на что я намекаю. Потому что сейчас разве мы сможем научить их плавать, говорить, кататься на коньках, ходить, вот позже — это пожалуйста, и мы, конечно, повезем их в Лондон, чтобы они там свободно заспикали по-английски, это мы сейчас, пока Бабуля жива, сидим тут как пришитые. Бабуля. Бабуля. Бабуля еще не умерла, но дай только срок — в тот день, когда это произойдет, мы облачимся в одежду, которую никогда не вынимаем из шкафа, в парадную одежду, такую каждый день не носят, так что она совсем новенькая, новее не бывает. У меня тут еще одна мыслишка родилась: хорошо бы воспользоваться случаем и надстроить ту часть дома; стройка, конечно, вещь хлопотная, но раз уж Бабуля отойдет, плевать на все, зато возведем второй этаж над ее комнатой, и этот мезонин сдадим какому-нибудь студентику, вот тебе и постоянный доход; тогда нам уж точно больше не придется вкалывать с утра до ночи; может, даже снова пойдем учиться; культура — это не пустяк, это важно; это мы сейчас, пока суд да дело, должны ишачить; я знаю, будет очень грустно, когда Бабуле придет конец, но после этого все переменится, жизнь пойдет совсем другим курсом; кстати, почему бы не возвести два мезонина вместо одного и пустить двух жильцов-студентов — поимеем двойной доход и обеспечим себе приличное существование; или, еще лучше, две комнатки наверху и две внизу, плюс микроволновки, чтобы еду разогревать; как видишь, нам будет чем заняться, в нашей жизни не все так плохо, главное, когда Бабуля... когда Бабулю похоронят, нам больше не придется сидеть друг у друга на голове. У каждого из нас будет свой заповедный уголок, и

мы уж точно перестанем собачиться, опять станем милыми и любезными, это сейчас мы поднадоели друг другу из-за тесноты, но вот, если сделать две ванные комнаты, будет совсем другой коленкор, и, может, нам даже опять захочется опять... ну, ты понимаешь, — как только Бабуля угаснет, наверняка захочется опять... — это вроде оттепели после холодной зимы, возьмемся за руки и начнем снова радоваться жизни. И разгуляемся вовсю! Да, и насчет кошек: когда Бабуля и усыпленная собака воссоединятся на том свете, я уверен, что нам удастся отучить их шляться по улицам, и они будут мирно спать в собачьей конуре. Бабуля, конечно, еще не скоро протянет ноги, здоровье у нее крепкое, но кто знает, иногда судьба подкидывает такие сюрпризы... я вот что скажу: если у Бабули хоть разок забарахлит мотор, конец может наступить очень быстро, поверь мне, буквально в один миг — раз, и нет человека, вот и Бабуля... вот и Бабуля... ах, Бабулечка — когда она начнет угасать, нам будет нелегко, зато после мы уж развернемся, вот увидишь, мы многое свершим; меня совсем не удивляет, что мы живем, как отшельники, — так уж сложилось, но, если в один прекрасный день Бабуля протянет ноги, мы сразу встрепенемся, мы такое устроим, что небу жарко станет!.. ну а пока ничего не попишешь, это наша Бабуля, это Бабуля, Бабуля тормозит все дело, но в тот день, когда ее уложат в гроб, у тебя сразу вырастут крылья за спиной; когда Бабуля умрет, мы, конечно, всплакнем, но насчет крыльев даже не сомневайся, они развернутся и унесут нас к новой жизни, и с хворями будет навсегда покончено: никаких болячек и походов к докторам. Потому что Бабуля, став покойницей, избавит нас от всех забот. Я тебе больше скажу: сигареты, выпивка — с этим мы тоже завяжем окончательно и бесповоротно. Когда Бабуля даст дуба, нам сразу полегчает; ты только представь себе — в этом доме, где повернуться негде, нам вдруг перепадет ее комната, можно сказать, с неба свалится. И вот я думаю: если мы захотим, можно даже не обставлять ее, а так и оставить пустой, без мебели, то-то будет потеха: весь дом набит под завязку, а она стоит пустехонькая; в общем, такое место, куда можно просто войти и ощутить, что ты способен двигаться, способен дышать, а не только пережевывать свои мысли. Как только Бабуля ляжет в сырую землю, можно будет спокойно ходить по ней; как только ее опустят в могилу, мы уж повеселимся. Но нужно заранее составить четкий план: освободить комнату и взяться за переделки: первым делом избавиться от мебели и барахла, а потом уж спокойно обдумать, как и что, перекрасить стены — насчет цвета решим после, когда там станет посветлее. Спешить некуда; прикинем

не торопясь, что именно мы хотим сделать, когда Бабуля... а знаешь, у меня идея — только не подумай, что меня понесло: мы ведь часто мечтали завести домработницу, вот и поселили бы ее в этой комнате, обустроили бы ее простенько, без затей, а еще можно соорудить перегородку, чтоб держать за ней стол и бельевой шкаф, с этой стороны поставить телик, с той — кровать домработницы, и тогда наши рубашки будут всегда аккуратно сложены, а про пылесос мы навеки забудем, где он вообще стоит. Когда Бабуля испустит дух, мы наконец вздохнем свободно, вышвырнем все ее манатки прямо из окна на лужайку и заплатим этим... папуасам, чтобы взяли их в свои мозолистые руки и отволокли на помойку. Пусть уносят, я им даже приплачу, ей-богу! Да, Бабуле ведь все равно суждено когда-то уйти из жизни, и если этот день еще не настал, то имеем же мы право хотя бы помечтать; в данный момент она занимает все наши мысли, но как только она преставится, мы начнем думать о другом, задаваться другими вопросами; перед нами словно двери тюрьмы распахнутся, мы увидим свет, и в голове забродят всякие идеи; сейчас-то, конечно, нам нечего сказать, но уж тогда-то мы заговорим, ох как мы заговорим — связки в горле завибрируют вовсю, языки развяжутся и замолотят по нёбу и передним зубам; дай только срок, мы так разговоримся, что не остановишь, а чего не успеем сказать, то выплеснем на бумагу, понапишем книг и выложим все, что накопилось в душе. Вот увидишь, как нам полегчает в тот день, когда Бабуля умрет: мы словно глотнем свежего воздуха, вырвемся на волю; ты даже представить себе не можешь, что это такое — сказать себе: Бабули нет больше в ее комнате, и в один прекрасный день так и будет, и в этот день, да, в этот самый день, когда к Бабуле придет смерть, мы наденем на нее самый красивый ее передник, руки обмотаем четками, челюсть подвяжем веревочкой, а потом нарежем для нее цветов, тех, что торчат под ее окном, и покроем ими ее смертное ложе, и будем читать над ней молитвы, но зато, когда ее вынесут из дома, когда над ней вырастет могильный холмик, ты поймешь, что это значит — Вздохнуть Свободно. Ты узнаешь, что значит Жить... да, кстати, вот какое соображение мне пришло в голову: давай перерабатывать отбросы в компост, ведь у нас будет огород, а вон там, подальше, компостная яма, и вообще, настало время подумать об окружающем мире, давно пора было, но какая уж тут сознательность с этой Бабулей: одних памперсов сколько на помойку снесешь, и ночник зажигай перед сном, а использованные шприцы, а все эти термометры, бутылочки для сока, собачьи консервы — хочешь не хочешь, а покупай; приемник

сколько батареек изводит, телик не гаснет круглые сутки, миксер для пюре тарахтит без умолку, а у Бабули сердечный стимулятор и еще какая-то пикалка, и каждый божий день подай ей банан, а бананы, между прочим, на юге растут, и их доставляют самолетами с другого конца света, вот так, ради Бабули, расходуется тоннами керосин, Бабуля глотает лекарства килограммами, Бабуля ставит на уши всю нашу промышленность, а в результате гибнут животные; ох, Бабуля, когда ты умрешь, мы сразу наладим систему переработки отходов, стимулятор вернем докторам, бумаги разберем, и вот еще что не забыть бы: твой халат, Бабуля, мы не будем сжигать вместе с остальным тряпьем, он из синтетики, а дым от горящей синтетики вреден для озонового слоя. Бабуля, если ты когда-нибудь исчезнешь навсегда, наша жизнь сразу встанет на нормальные рельсы, мы вскопаем огород, разведем кур, по воскресеньям начнем ходить на выборы, а то еще и в церковь; да, наши души очерствели, но это только оттого, что им не хватает живительных соков; потерпи, Господи, когда Бабуля отдаст концы, Ты увидишь: мы возродимся, мы сходим к кюре, у меня есть один на примете, он чернокожий, он проповедует Евангелие, он сможет наставить нас на путь истинный, его и понимать-то необязательно, просто сиди да слушай, но, пока Бабуля держится за жизнь, нам даже некогда подумать о душе, нет нам покоя на этой земле; скажи, Бабуля, когда же ты наконец сойдешь в могилу, неужели так трудно взять и перекинуться, долго ты еще будешь собираться на кладбище, нам уже не терпится повидать далекие края, а мы все ждем, скоро ли по тебе прозвонит колокол[1], ведь где-то есть Африка, есть самолеты, а ты нас держишь на привязи, когда это так легко — откинуть коньки. Бабуля. Бабуля. Бабуля, если бы ты согласилась уйти, мы бы тоже смогли уехать. Увы, пока делать нечего, кроме как строить воздушные замки. И думать в первую очередь о комнате. Когда Бабуля умрет, мы тут же опростаем все ее ящики, вызовем грузчиков, пусть запакуют ее барахло в коробки, авось, не надорвутся, они привычные; хотя... чего там паковать, свалить все в кучу, увезти подальше да выбросить. И тогда мы рванем в Пекин — на целый год. Попробуем их китайскую еду и запросто выучим китайский, ведь мы уже выбросим все заботы из головы. Да, вот еще что я хочу сказать: боюсь, мы скоро Бабулю забудем; сейчас-то она тут, у нас под боком, а вот когда прикажет долго жить, мы уже и вспомнить не сможем ее лицо, ее

1. Отсылка к роману Э. Хемингуэя “По ком звонит колокол”.

фигуру, ее запах и цвет глаз, все это канет в небытие, потому что нам тогда уже будет не до того, мы загуляем вовсю, дым коромыслом. Когда Бабуля умрет, даже газонокосилка и та лучше заработает. И наконец-то сможем ходить в парикмахерскую, волосы в порядок приводить. Ты только подумай, как часто мы, лежа в постели, строим планы на будущее, когда Бабуля покончит счеты с жизнью; у нас уже этих планов вагон и маленькая тележка, и, как только *это* случится, они все так и вырвутся наружу. Первое, что сделаем, когда Бабулю упрячут в ящик, это загоним вон ту жуткую вазочку, но, пока Бабуля жива-живехонька, об этом и мечтать нечего; зато в тот день, когда она начнет помаленьку сдавать позиции, ты сразу почувствуешь, как мы оба помолодеем — дряблая кожа натянется, морщины разгладятся, мешки под глазами рассосутся, как их и не бывало, и радость буквально брызнет из нас фонтаном по случаю того, что Бабуля, Бабуля, Бабуля собралась нас покинуть, да и почему бы не порадоваться — конечно, смеяться как-то не с руки, но в целом это вполне отрадное событие, ногам не терпится пуститься в пляс, сейчас-то им не до танцев, сейчас мы сидим тут, как приклеенные, но в тот день, когда Бабуля преставится, мы невольно заулыбаемся, и в наших жилах забурлит свежая кровь, и мускулы окрепнут, и я не постыжусь сказать, что наступила эра возрождения. Да, по сути дела, это очень бодрит — представлять Бабулю в могилке, не давать остыть надежде. Вначале вот что, перечисляю по пунктам: Бабуля отойдет в лучший мир, и у нас словно камень с души свалится. Затем звоним в похоронное бюро, потом читаем молитвы, решаем, кто закроет ей глаза, а кто вложит четки в руки, вот и все, дальше нам делать нечего; как ты считаешь, нам не страшно будет смотреть друг на друга, прижиматься друг к другу перед Бабулей, усыпанной цветами; я-то думаю, побродим-побродим, да и не удержимся, схватимся за руки, и будь что будет, начнем миловаться — сейчас-то нам не до того. Когда Бабуля сойдет со сцены, мы выйдем за порог. Пройдем по газону. Возможно, даже доберемся до почтового ящика. Когда Бабуля умрет, отодвинем мебель и заглянем во все углы, сменим лампочки, распакуем подарки. Вырубим чертов телик. Сможем выключать радио, если песенки будут совсем уж идиотскими. Подберем с пола все, что валяется, починим все, что шатается, выбросим все, что зачерствело или заплесневело. Польем цветы в горшках и фикус в кадке — смотри, совсем зачах, бедный, вон земля вся растрескалась. Когда Бабуля умрет, с бездельем будет покончено. Начнем клеить марки на письма. Закрывать рот рукой при зевке. Находить поте-

рянный пульт от телика. Когда Бабуля умрет, начнем вставать. Начнем ходить, двигаться, бороться с трудностями, работать. Когда Бабуля умрет, наши руки начнут подниматься, наши локти — сгибаться, а пальцы — один или вся пятерня — снова научатся отгонять мух с лица. Как только Бабулю предадут земле, сможем почесать там, где чешется. Сможем показать врачу любой пупырышек под кожей, будь он размером с зернышко, с горошину, с орех, с личи, с небольшой мандарин, да хоть с грейпфрут или с арбуз. Когда Бабуля умрет, наши клетки начнут обновляться, ногти и волосы — расти, а грязь — скапливаться между пальцами ног. И секунды будут сбиваться в часы и в недели, вместо того чтобы падать по одной, разлетаясь вдребезги. В один прекрасный день мы найдем Бабулю мертвой, и это случится здесь, и мы будем дышать тем же воздухом, и ничуточки не изменимся, вот только там, где она лежала, образуется пустота, место, освобожденное для наших жизней; когда она решит покинуть сей бренный мир, мы сядем у ее изголовья и будем следить за ее лицом, которое запечатлеет наступление нашего времени — оно обнаружится на ее шее, под ушами, проглянет в морщинах, остановит взгляд, сомкнет губы и вдруг, внезапно, хлынет на нас, и мы с восторгом погрузимся в эту стихию, где уже нет места дыханию и стонам Бабули. Бабуля расстанется с жизнью, а наш жизненный путь усеют розы. Я тебе еще вот что скажу: все очень просто, и не нужно суетиться, а только помнить, что когда-нибудь это произойдет, и оставить будущее в покое, хотя иногда я себя спрашиваю, куда оно запропастилось, это будущее, и почему так тянет с приходом; боюсь, что чем позже, тем меньше у нас шансов осуществить все планы, когда это случится, когда Бабуля... ну, ты знаешь, о чем я... когда Бабуля испустит дух; в общем, не стоит волноваться, в этот день — один поворот руля, и вот перед нами совсем другая дорога, где фрукты с деревьев сами в рот падают. Как только Бабуля захрипит в агонии, мы все увидим в ином свете. Весь мир будет у наших ног, снизу и сверху, справа и слева, на западе и на юге, мы вознесемся к звездам и будем смеяться вволю, и наши зубы засверкают ярче всех светил. Когда Бабуля даст дуба, конец нашим сомнениям и колебаниям — отныне у нас под ногами будет твердая почва, да что там почва — незыблемая скала! Когда Бабули не станет, надо сразу подключить удлинитель к пылесосу, чтобы почистить наконец салон машины. И телефон может звонить до посинения, никто нас не заставит снять трубку, если не захотим. Когда Бабуля умрет, можно будет наконец-то наладить все, что не ладится в этом доме. Приколотим плинтусы, подкру-

тим винты, смажем дверные петли, сменим замки, обновим весь дом, комнату за комнатой. Такие Бабули — они ведь в один миг не помирают, распад может длиться годами, но в какой-то день мы дотронемся до нее и заметим, что кожа постепенно холодеет, пальцы скрючиваются, глаза — да ты, наверно, видишь? — уже частично помутнели, простыня усеяна волосами, выпавшими с корнем, в общем, можно с полной уверенностью утверждать, что однажды это случится, и мы возродимся, и настанет утро цветастых юбок и темно-синих пиджаков с галстуками, не говоря уж о беленьких носочках, как на первом причастии, утро пышно цветущих садов, чудесное воскресное весеннее утро где-нибудь в апреле месяце, с синим небом, прозрачным воздухом и колокольным звоном; и мы пройдем по аллее, и каждому из нас положат облатки на розовый язык, очищенный от грешных слов, и наши сердца получат благую весть: ныне Бабуля преставилась, и свидетель тому — солнечный свет, да-да, когда Бабуля отправится к праотцам, свет вспыхнет так ярко, что можно будет ослепнуть, он озарит наши лица, и мы будем впитывать его всеми порами, и каждая жилочка наших согретых тел затрепещет, оттого что Бабуля, Бабуля, Бабуля уснула вечным сном, и теперь можно наслаждаться светом до полного экстаза. И колокол над нашими головами будет вызванивать только одно: Бабуля, Бабуля упокоилась, Бабуля почиет в мире. Ну-ка, дай сюда руки, я хочу прочесть по ним, через сколько времени Бабуля умрет. Ты уж поверь, в мире нет ничего бессмертного, деревья с самыми крепкими корнями и те когда-нибудь неизбежно засыхают, камни непрерывно куда-то сползают, моторы даже в самых надежных авто дают сбой, и вот запомни, что я тебе скажу: не может такого быть, чтобы одна наша Бабуля жила вечно, ей тоже суждено когда-то засохнуть, и суставы у нее заболят, и вены на ногах вздуются, посинеют и закупорятся, вот тогда-то и наступит на нашей улице праздник, с той минуты мы и обретем уверенность, на нас снизойдет благодать, и мы в один миг почувствуем себя людьми, и распрямимся во весь рост, и смело глянем в зеркало, ибо это будем мы — настоящие. Надо только помнить одно: как-нибудь утром все развалится, и мы не пойдем в школу, и больше не позволим лупить себя линейкой по пальцам, на деловые встречи наплюем с высокой колокольни, обойдутся и без нас, и перестанем вскакивать по воскресеньям ни свет ни заря, чтобы покататься на лыжах, и никаких докладов начальству, а по ночам — никаких кошмаров, в которых опаздываешь на поезда, проваливаешься на экзаменах, пишешь дурацкие резюме, комкаешь их и швыряешь в море, чтоб глаза не видели. Бу-

дильник пускай звонит, пока не лопнет. Таймер заведем, и пусть его верещит, пока не треснет. По твоей руке я вижу, что Бабуле осталось жить не больше пяти минут, если прибегнуть к обратному отсчету, это выльется в еще семь, нет, уже в шесть ударов сердца... ну-ка, дай я послушаю твое и определю, сколько точно продержится Бабуля. Странно, никаких ударов не слышу, вот и пойми, когда все кончится; а вдруг что-то в ней воспрянет, она встрепенется, и мы будем смирно сидеть, беспомощно сложив руки на коленях и шмыгая носом, потому что платки куда-то задевались, в ожидании ее конца, который наступит совсем незаметно: вот она еще здесь, а вот уже ее нет, щеки западают и темнеют, дыхание застопорилось в груди и выдоха не слышно, дело идет быстро, хотя и недостаточно быстро, и трудно засечь ту самую секунду, когда Бабуля начнет уходить, если вокруг все по-старому, дрозды клюют червей на лужайке, стрелки часов двигаются мерно, как всегда, однако внутри у Бабули процесс идет, медленно, но верно, набирая скорость, и ничто не может его остановить, поверь мне, это дело не сорвется, раз уж Бабуля начала умирать, ее ничто не остановит. И поскольку Бабулина жизнь висит на волоске, приходится устроить лагерь в ее комнате, расстелить одеяла на полу возле постели, не забыть приготовить сандвичи на тот день, когда Бабуля вознесется в небеса, словом, найдется, чем себя занять, пока она будет собираться в последний путь, у меня уже и книжка на этот случай припасена, кладу рядом. В тот момент, когда Бабуля отправится в рай, мы будем тут как тут и увидим все, можно сказать, из первого ряда. А как только она отойдет, все станет предельно просто: останется только скоблить, скоблить и скоблить, у нас в чулане полно моющих средств и новых резиновых перчаток; итак, сперва стираем пыль и сметаем паутину, потом моем и ополаскиваем, выплескивая воду, ведро за ведром, отдираем грязь щетками, стоя на коленях и думая не о том, что "здесь стояло... здесь было...", а о конкретной задаче: как собрать в тряпку и выжать всю эту черную жидкую гадость, которая литрами уйдет в сточную трубу и оттуда в землю, где в конце концов снова превратится в прозрачную воду. А мы опять встанем на ноги. Когда-нибудь мы встанем на ноги и увидим вокруг себя все новенькое, чистое, пахнущее мылом, и наши шаги звонко застучат по кафельным плиткам, и наши голоса зазвучат между пустыми стенами так гулко, что на них откликнется эхо, и комната покажется такой огромной, что в ней легко заблудиться. Знаешь, иногда мне вот что приходит в голову: давай сменим имена в тот вечер, когда Бабуля... просто нырнем в ванну и окрестимся, и

станем другими людьми; когда Бабуля завершит свой жизненный путь, мы как бы родимся заново, воплотимся в идеал самих себя, а нынешние тяготы испарятся, как по взмаху волшебной палочки. Спи спокойно, Бабуля, приятных тебе снов, ты только сомкни веки и нынче же вечером увидишь чудесный сон, там твоя грудь расправится, как лопнувший бутон, и задышит свободно; спи и ничего не бойся, милая Бабуля, твоим мытарствам пришел конец, тебе больше не придется нервничать, глядя, как мы мечемся по дому в поисках пипетки для твоих капель; когда ты уснешь, Бабуля, мы станем спокойными, как дзен-буддисты; давай, Бабуля, сгони с лица эту судорожную гримасу, расслабь скрюченные кисти, наши руки готовы подхватить тебя, пока ты будешь прощаться с жизнью, ты не сомневайся, Бабуля, наши сердца полны любви, мы станем просто воплощением заботы, когда ты начнешь умирать у нас на руках, наши пальцы будут гладить твой лоб, наши ладони взмокнут от твоего пота, волосы мы тебе откинем назад и бережно расчешем, даже не нарушив твой сон, ты ровно ничего не почувствуешь, пока мы будем облачать тебя в чистую рубашку и набивать рот ватой, от тебя, Бабуля, требуется только одно: вообразить, что ты уходишь, держа под мышкой свою корзиночку с вязаньем, а уж мы займемся всем остальным; подумай о себе, постарайся собраться, это же так просто — взять и свернуть с жизненного пути, ты сама удивишься, до чего это просто, достаточно только сказать: “Хватит!” — и вот ты уже за поворотом; в конце концов, что такое материя в сравнении с духом?! Да, Бабуля, постарайся вообразить, что жизнь — это вязанье: еще одна спущенная петля, и нить выскользнет из твоих рук, а вскоре начнется новый день. Но нет, Бабулю вокруг пальца не обведешь, она так просто не уступит, она хочет сама выбрать свой последний год, и день, и час, она не желает прыгать через ступеньку, Бабуля упряма как мул, коему любые проклятия нипочем: встанет поперек дороги, и не сдвинешь его; и никто не знает, когда это случится, и почему это не случается, и с какой стати одних людей смерть забирает рано, а другие живут себе и живут веками, как заговоренные. Бабуля просто эгоистка, у нее одна забота — дышать подольше. Лежит себе в постели и горя не знает; вот скажи мне, что ее заботит, неужели она не может подумать о других?! — но нет, куда там, Бабуля думает только о своих памперсах, живет в замкнутом пространстве, день-деньской разглядывает свои руки, впадает в панику из-за складки на одеяле. Будь она простой занозой, ее бы выдернуть, и дело с концом. Ну ладно, давай рассуждать проще: когда-то день расплаты все же насту-

пит, и Бабуля сыграет в ящик. И тут мы стряхнем с животов крошки от сандвичей, распрямимся, встанем на ноги и почувствуем, что головокружение стихло, и жесты сразу стали увереннее, и мысли в голове обрели четкость, и можно рвануть с места в карьер так, что мотор взревет; осторожней, я ударю по газам, и ты увидишь, как мы помчимся со скоростью две тысячи миль в час, и все можно будет наверстать; только обними меня покрепче, а то упадешь, нет, еще крепче, я хочу, чтобы твои руки сомкнулись у меня на талии, я хочу, чтобы они вросли в меня. Но давай вернемся к исходной точке: Бабуля лежит в постели, и мы за ней ухаживаем по первому разряду. Несем бессменную вахту у ее изголовья. Прочищаем ей уши, выстригаем волоски в носу, следим, чтобы она всегда была вовремя умыта и накормлена. И чтобы простыни у нее были в порядке. Мы сидим в четырех стенах, и у каждой из них два угла. Стены вокруг нас идеально прямые, потолок идеально ровный, за штукатуркой скрыты кирпичи и цемент, а над головой балки и черепица. Итак, на чем мы остановились? Ага, вот на чем: стены здесь крепкие, непробиваемые, наверняка с каркасами, которые при случае можно и разглядеть — в следующий раз, когда нажмешь на выключатель и свет загорится, не забудь разглядеть каркасы. Паркет грязноват — вот здесь пятно, а там подпалина, а тут, видно, кто-то пролил горячий кофе или еще что-нибудь едкое, и пианино закрыто, ну-ка, запиши: подумать о пианино, на нем нужно играть, чтобы не рассохлось; давай, пиши: молоточки застучат по струнам, и мы будем петь на разные голоса, и еще пиши: не мешает почаще усаживаться на кушетку, а то вон подушки вздулись — давненько мы их не приминали. Это ведь наш дом, это мы здесь живем, это мы сидим сиднем под этой люстрой, и так будет вечно, если только Бабуля не окажет любезность переселиться на кладбище; погоди-ка, вот еще что: держу пари, что под этим ковром лежат катышки помета, я давно его чую и все спрашиваю себя, уж не вернулась ли к нам мышка; а еще глянь на комод: видишь, как он косо стоит, не забыть бы поставить его прямо, когда Бабуля скапутится; и заодно напомни мне про этот ящик, нет, лучше дай я сразу внесу в список: задвигать ящик аккуратно, до конца. Как подумаю, что вся эта неподъемная масса давит на паркет, прямо дрожь берет — выдержит ли он? — ты тоже поглядывай там, в своем углу, и кричи, если пол даст трещину. Ой, смотри, Бабуля вроде бы шевельнулась; тебе не кажется, что это *то самое*?.. В книжках пишут, будто агония вызывает непроизвольные движения, смотри, смотри: похоже, ее веки окончательно сомкнулись; ох, только бы они не поднялись, я

где-то читал, что белки глаз могут разлагаться под веками. Хотя... кто ее знает... вдруг она просто притворяется, а сама чувствует себя лучше не надо? Внимание! — Бабуля совершенно здорова, Бабуля лежит в своей постели, в чем мать родила, Бабуля — комедиантка, она устраивает свой спектакль каждый день; внимание! — занавес поднят, одеяло откидывается, перед публикой умирающая, ее веки поднимаются — неужели это голубое желе и впрямь способно улавливать свет? Нет, Бабуля, отбой, давай-ка выходи из образа, мы тебя раскусили, ты вообразила, будто можешь разлеживаться тут и устраивать представления — не тут-то было, хватит уже кашлять и плевать, надоело слушать твои стоны, прекрати раз и навсегда этот надсадный хрип и кончай придуриваться, мы-то знаем, что твоя главная роль — это Покойница на смертном одре, со свечами в изголовье. На самом деле, я думаю, нужно бы посадить ряд лилий, если это случится летом; а бархатцы уже пересажены, они будут хорошо смотреться на альпийской горке; да, и напомни мне заказать хризантемы для высадки в горшках, белые и желтые, только не красные. Сколько же мы делаем для Бабули — о чем-то другом и подумать недосуг, только и заботы, что щупать ей пульс да прикидывать, какие цветы для нее срезать, когда она расстанется с жизнью. Ну, я-то могу поклясться, что в тот день, когда она отдаст концы, одним шампанским не обойтись; обещаю тебе устроить всем праздникам праздник — фейерверк, надгробную речь мэра, детский хор, аттракционы разные, короче, погуляем на славу в тот день, когда... ах, Бабуля, я так скажу: нам с тобой сильно не повезло, ты, видно, решила держаться до ста лет, но прошу тебя, Бабуля, не увлекайся круглыми цифрами, в конце жизни все они одинаковы, в этом деле победителей не бывает, зато мы тут днюем и ночуем у твоей постели, так что давай-ка, Бабуля, выбирай — либо двигаться в последний путь, либо навеки застрять в этой комнате, а ты только глянь, Бабуля, как здесь темно и мрачно, как все обветшало, ты ведь у нас девушка воспитанная, так докажи, что умеешь вовремя поднять паруса. Бабуля, тебе даже невдомек, какие проблемы ты нам создаешь, ты просто источник всех наших проблем, и вполне можно было бы вчинить тебе иск, нанять адвоката и заявить на суде, что ты, Бабуля, устроила нам ад на земле, и никто не сможет это опровергнуть. Мы поклянемся всеми святыми, что эта Бабуля просто бесчеловечна, что эта Бабуля отравила нам жизнь, что она нарушает естественный ход вещей и своими сатанинскими чарами добивается того, что годы идут, один за другим, и ничего не меняется, занавески на окнах как висели, так и висят, стрел-

ки на циферблатах как шли по кругу, так и идут, время от времени издыхает батарейка, вдруг начинает тарахтеть мотор в холодильнике — ну, признайся: ты уже рассчитала, сколько минут он будет шуметь перед тем как затихнуть? — уймись, Бабуля, возьми с него пример, с этого холодильника — он то заходится, то примолкает, лампочки то горят, то тухнут, наши пальто со временем протираются до дыр, в окна тычутся бабочки, и, если их впустить, ты увидишь, как они подлетят к лампе и вмиг обуглятся и сгорят. Пойми, Бабуля, всему на свете приходит конец, все медленно движется к финишу, времена года сменяют друг друга, снег, дождь, солнце — всему свой черед, да и луна, показываясь из-за облаков, каждый раз выглядит по-новому; как бы тебе доходчивей объяснить, Бабуля: однажды ты рождаешься, растешь, а потом приходит время умереть, так давай же, собери свои манатки, сгреби в узелок все нажитое, сунь туда же свою бессмертную душу, стяни покрепче концы, вставь ногу в стремя, и пусть тебя умчат отсюда как можно дальше. Не плачь, Бабуля, ты же вознесешься в небеса, ты полетишь вместе с ветрами в высоту, туда, где парят птицы. Кстати о птичках, которые наведываются в наш сад: туда ведь тоже каждый день прилетают новые. Поэтому усвой раз и навсегда: однажды мы приходим в сей мир, а потом покидаем его, так зачем же упрямиться — люди рождаются, начинают жить, открывают для себя вселенную, идут по восходящей и, наконец, достигают вершины существования, с которой открывается великолепный вид, но вот уже пора потихонечку спускаться с нее, и дорога ведет все вниз и вниз, и жаль, что не успеваешь полюбоваться закатом; только шагай поосторожней, Бабуля, смотри, куда ставишь ноги, а лучше обопрись на нас, настал миг, когда ты все поймешь, когда ты убедишься, что это мы служим тебе, старушке, костылями. Ой, что это там звякнуло? — кажется, у меня пуговица оторвалась и укатилась под стулья; как только Бабуля остынет, возьмем за правило искать потерянное не откладывая. Бабуля... знаешь, мы ведь ее любили. Мы ее холили и лелеяли. Делали все возможное и невозможное. Если что, наизнанку бы вывернулись. Но это не понадобилось. И мы сидим в зале ожидания, мимо проносятся поезда — много поездов, и самолеты готовятся взлететь, однако Бабуля... куда это она делась, мы же все рассчитали заранее, мы уже сдали ее багаж и сунули паспорт ей в зубы. Как же мы ухаживали за нашей Бабулей, но теперь — баста! Теперь в расписании четко указано: отправление поезда Бабули, и я уже слышу свисток начальника вокзала; давай, поднимайся в свой вагон, Бабуля, и скатертью дорожка. Эх, если бы Бабуля могла вылезти из

своего инвалидного кресла и поехать на общественном транспорте! Если бы она сбросила свои цепи и наконец сказала бы себе: все кончено! — и улеглась в гроб. Если бы наша Бабуля обладала, хоть чуточку, фантазией и вообразила себя Девой Марией, и вознеслась бы в небеса, и мы увидели бы у нее под юбкой... ну, ты даешь, открой глаза: там, под одеждой, всего лишь мумия в памперсах! И хватит терзаться: закон жизни гласит, что все на свете рано или поздно кончается, вон уже сколько миллиардов лежит под плитами, так что сиди спокойно на своем стульчике и на вот, полистай журнал, хотя он уже читан-перечитан тысячу раз. Господи Боже, у нее лицо порозовело, ой, никак она решила ожить, ой, боюсь, как бы она не пришла в себя и не открыла глаза! Учти, Бабуля, если ты решила уйти от смерти, дать задний ход — даже и не думай, в яслях тебе все равно не лежать, давай-ка, пописай последний раз в свой памперс и иди куда шла, мы-то прекрасно помним, откуда ты явилась, мы все твои песни наизусть знаем, и они нас ни капельки не колышут. Хватит, Бабуля, сейчас мы уберем громоотвод, сосчитаем до десяти — и твой мозг выключится, потом до пяти — и ты выдернешь штепсель, до трех — и ты погасишь свет, потом до одного — и этого будет вполне достаточно, чтобы уйти, теперь ты можешь покинуть нас в любую минуту, мы питаем к тебе искреннюю симпатию, мы горюем о тебе, Бабуля, мы заверяем тебя в самых теплых своих чувствах и обещаем чтить память нашей дорогой усопшей. С этого момента наши отношения станут официальными: твой счет оплачен, мы больше ничего тебе не должны; смотри, как мы сразу потеряли интерес к твоей особе и разглядываем обои; а если задрали головы, то вовсе не для того, чтобы полюбоваться люстрой, а чтобы показать тебе, что на твое тело нам уже начхать. Нам уже не усидеть на стульях, наши мысли уже далеко отсюда, они прочесывают окрестности в поисках — правда, тщетных — чего-нибудь живого и бодрящего. Если бы ты оборвала нить своей жизни, мы бы тут же нашли себе занятия, перед нами открылось бы столько возможностей, но, пока ты упираешься, как можно требовать от нас, чтобы наши руки удержали хотя бы кейс с деловыми бумагами?! Бабуля, мы совсем не против стать взрослыми, но ты лежишь вот тут, и умираешь, и никак не умрешь, а мы буквально врастаем в пол у твоего изголовья, где уж тут взяться за перо или кисть; ф-фу, мне прямо не терпится вскочить на ноги прямо здесь, возле твоей кровати, и заехать тебе кулаком в рожу; у нас прямо руки чешутся схватить тебя и тряхнуть как следует, ну когда же ты уйдешь на покой, когда, черт возьми, ты расстанешься с убогим остат-

ком своей убогой жизни?! Иначе мы сами скоро кончимся! Когда люди живут в такой неопределенности, у них мозги засыхают. К примеру, только соберешься что-то сделать, и тут же все вылетает из головы. Почему-то вдруг оказываешься в прихожей, хочешь что-то взять и сам не знаешь что. Суешь перчатки в холодильник, каждый день теряешь ключи. Шины спущены, одна так и вовсе прохудилась. Велосипед стоит под снегом. Ступенька у двери раскрошилась, а это чревато. Кроссворд никак не решается, потому что вопросы черт-те какие, кто их только составляет! Знакомые пишут, как курица лапой, ни слова не разобрать. Поздравительные открытки вынимаешь из ящика и, не читая, отправляешь в мусорное ведро. Почтальона я вообще в лицо не узнаю, каждый день ходит новый. А ведь мы стараемся. Мы из кожи вон лезем, чтоб сделать как лучше. Но мы уже начинаем выдыхаться. Ох, когда Бабуля отбудет на тот свет, здесь брызнет Молодильный источник и ласково омоет наши тела своими бодрящими струями; и мы вздохнем с облегчением; я чувствую, что этот день — когда Бабуля сдаст позиции — не за горами. Когда Бабуля обратится в прах, мы снова займемся делом, ты увидишь, у нас все будет получаться; с того дня, как она перестанет дышать, кислороду в доме прибавится, и мы задышим полной грудью, мы будем черпать в нем силы, это совсем нетрудно, и мало-помалу, без всяких усилий, начнем опять ясно мыслить, свободно двигаться, крепко спать и много работать; главное, не терзать себя понапрасну, мы не будем сидеть сложа руки, мы скоро наверстаем упущенное, так что кончай убиваться. Ну-ка, передай мне тазик для ног. У меня как-то тяжело на душе. Словно давит что-то на грудь. Ну да ничего, перетерпим. Нужно сказать себе: сейчас у нас все как есть, но, когда Бабуля умрет... Когда Бабуля умрет, вот уж мы вздохнем! Когда придет ей срок, атмосфера сразу очистится. А пока на Бабулиной могиле растут всего лишь наши безумные надежды. Ладно, урожай будем собирать вместе. Когда похоронный колокол зазвонит по Бабуле, у нас на щеках заиграют ямочки. И птицы запоют в небе. И строительные леса поднимутся вокруг дома. Когда небытие поглотит ее, мы наконец займемся серьезными делами, и жизнь расцветет пышным цветом. Мы будем на все смотреть сквозь розовые очки. Когда Бабуля переселится в дом Отца Небесного, к нам в окно постучится заря. И солнце засияет в полную силу. И мы заведем все часы в доме. И вспомним, что у нас назначены важные встречи. Бабуля отправится кормить червей, а мы снова наденем обручальные кольца и весело отпразднуем нашу свадьбу. И знаешь, когда Бабуля очистит комнату, мы пойдем

и причастимся. Искупим одним махом свои и ее грехи. Когда она испустит дух, всех детишек можно будет окрестить, и церковь снова окажется посреди деревни. И благочестие восторжествует в наших сердцах. И капиталы начнут помаленьку приносить доходы. И мы станем жутко фотогеничными. Могу тебе поклясться чем хочешь, что Бабуле недолго уже осталось, она расстреливает свои последние патроны, так что готовься распахнуть пошире дверь, скоро уж ее вынесут ногами вперед. Как только она упокоится в могильном склепе, у нас пищеварение придет в норму. Пенсии у нас вполне солидные. Эх, Бабуля, хорошо бы ты была не живой, а пластмассовой. Мы бы тебе глазки подрисовывали, в платьица наряжали, косички бы плели и шлепали, как полагается, за шалости. Жизнь — это юдоль слез, за исключением тех минут, когда Бабуля испускает дух; вот и все, что можно сказать: как только у нее разыграется предсмертная икота, небеса сразу гостеприимно распахнутся ей навстречу. А ну-ка глянь: по-моему, Бабуля как-то изменилась, вроде бы цвет лица у нее другой, хотя, может, это рассвет и сумерки так играют на ее коже. Нет, уверяю тебя, Бабуля содрогнулась, наверняка пришел ее час; осторожно, не спугни ее, раз уж процесс пошел; держи наготове зеркальце, и я тоже свое выну, вот-вот Смерть откроет ей зеленую улицу, и неизбежное свершится. Главное, не выглядывай в окно, слишком многое там изменилось — лужайки подстрижены, деревья безупречно подрезаны. Это их тени пляшут сейчас на смертном ложе Бабули, это самолеты в небе вычерчивают кресты на ее лбу. Настало время молитвы; сложи ладони и славь то, что вершится у тебя на глазах: все происходившее здесь, на земле, сейчас сгинет и продолжится уже там, в небесных высях. Ветерок колышет траву на лужайке и листву, это она отбрасывает зеленоватые отблески на постель. А вот и почтальон хлопнул калиткой, детишки галдят на улице, журчат голоса взрослых, и все эти звуки перемалывает в своих жерновах пробегающий поезд. Эти стены — вроде бы они и крепкие, но на самом деле кирпичи-то хлипенькие, и не надейся, что они нас защитят от внешнего мира, мы живем почти под открытым небом, в этой картонной коробке не спрячешься, чуть что, и окажемся без крыши над головой. Да-да, мы обитаем не в четырех стенах, а в бескрайнем пространстве, где с минуты на минуту крыша может улететь, и окажется, что мы сидим в саду. Но не беда, у нас всегда найдется хворост, чтобы спастись от холода. Найдем какую-никакую щель, залезем туда и просуществуем так или иначе. Ну да ладно, хватит мечтать: тут Бабуля от нас уходит, а мы отвлеклись. Подскажи, Бабуля, что можно сделать, что-

бы хоть как-то скрасить тебе последние минуты; если нужно подтолкнуть, мы подтолкнем, если нужно уложить поудобней, мы уложим, если где-то есть фитиль, мы охотно его подожжем; ты только дай нам знак, Бабуля, как облегчить тебе кончину. К чему терпение, если за него не суждена награда?! Осталось только сосчитать секунды, и исход не заставит себя ждать. Бабуля, ты даже не представляешь, как мы тебе будем благодарны в тот день, когда ты возьмешь себе билетик в рай. Мы ведь люди не злопамятные. Мы будем каждодневно благословлять тебя, возить тачками песок на твою могилку, выпалывать сорняки у подножия креста. И тщательно опрыскивать золотые буквы на мраморной плите и протирать их тряпочкой, пока они не подсохнут и не засверкают. Как же хорошо стоять возле ее могилы! Даже уходить не хочется, до того приятно. Чаще всего мы ходим сюда по выходным, это наша излюбленная прогулка, мы оставляем здесь крошки для птиц и шкурки от сосисок для кошек. Эту землю, в которой лежит Бабуля, плотно утаптывают наши подошвы, на плите, под сенью ее креста, мы устраиваем сиесты, и никакой мох не осквернит место ее упокоения, мы неустанно следим за чистотой. Когда Бабуля умрет, мы заведем лейку, чтобы орошать ее могилу, и ей никогда не придется страдать от жажды. Когда Бабуля умрет... да мы весь город снесем до основания, а потом заложим первый камень нового. Повторяй за мной: когда Бабуля умрет, мы уж сумеем повеселиться. Когда она сыграет в ящик, то-то будет радости, сто дней и сто ночей радости; повторяй: мы еще будем не стары, когда Бабуля сойдет в могилу. Я тебе раскрою один секрет: только не смейся — я знаю, ты будешь смеяться, — временами мне чудится, что Бабули уже нет на свете. Мы, значит, тут живем себе, поживаем, а Бабуля превратилась в воспоминание, в сущую малость, в невесомую пушинку. Как ты думаешь, такое возможно — чтобы эти засохшие листья на ковре были ошметками погребальных венков, а свеча, которую мы так бережем, принесена из церкви? А эта черная одежда на тебе, к чему она, по какому случаю вынута из шкафа? И я вижу следы слез на твоих щеках, вон и соль застыла в уголках глаз, и твои платки скомканы и мокры насквозь, да утрись же ты наконец, у тебя из носа течет! А зачем мы держим розы в этой кошмарной вазочке? Они так поблекли и скукожились, словно никогда и не цвели. Слушай, тебе не кажется, что такое возможно: Бабуля ушла в мир иной, а мы и не заметили. В ее груди замер последний вздох, а мы в этот момент замечтались и не увидели, как могильщики вошли и завинтили крышку ее гроба. Иначе можно было бы утешиться, рассылая уведомления об ее кон-

чине. Грустно думать, что мы упустили случай насладиться дурманным ароматом лилий и схватить простуду на кладбище, промочив ноги. А ленты на венках — мы на них даже не взглянули. И не пожимали руки, не воздавали почестей усопшей, не подписывали никаких бумаг. Господи, до чего же глупо: колокола трезвонили все утро, а до нас не дошло, что это пришел черед Бабули. Нет, с этим надо кончать. Пора взяться за ум. Ощутить, как забурлила в жилах кровь, как нас захлестнула жажда жизни. Сейчас, вот-вот начнется... А то мы совсем закисли, сами на себя не похожи; итак, решено: с этой минуты каждый день выходим из дому и активно развлекаемся. Ведь именно сегодня, не правда ли, в нас проснулась былая энергия — чувствуешь, как мы вдруг ожили? Нужно стать легкими на подъем, стремиться вперед. Только вот я не знаю, как это осуществить, боюсь, ничего не выйдет. На ногах словно гири висят, спина не разгибается. А ведь столько проблем еще нужно решить, но придется сперва поднабраться силенок. Спешить-то нам некуда, верно? Так что давай передохнем. Незачем зря суетиться. Теперь с сомнениями и страхами покончено, все быстро войдет в свою колею. Как только вернем себе прежнюю форму, тут же возьмемся за дела. Счистим старую краску с дверей. Немного окрепнем и вытащим инструменты. Вскопаем лужайку. Поотдохнем, очухаемся, я позвоню, и рабочие набегут со всех сторон. А эта коробочка у меня в руке, которую я прячу за спиной, знаешь, откуда она? — из ювелирного магазина. Нет, дай мне сказать: когда это случится, мы испытаем небывалый подъем, днем у нас пойдет веселье, ночью будем спать без задних ног; вот увидишь, мы быстро придем в себя, наберемся храбрости и отправимся в турагентство. Мне прямо не терпится почувствовать себя в форме. Ничего, это не за горами, вот-вот наступит наше время. Оно бежит быстро, не успеешь опомниться, как все и произойдет. Не успеешь свет погасить, ан уж надо зажигать. Почтальоны проходят по дороге... Ой, совсем из головы вон! — ну-ка, полистай эту газетку, что-то в ней такое важное было... никак не могу вспомнить, что именно. Какая-то перемена. Глянь-ка, вроде бы и тени лежат по-другому... Нет, ты только послушай, что я тебе сейчас скажу: Бабуля-то, оказывается, уже умерла! Давай, повторяй за мной: Бабуля умерла, давным-давно.

Арно Камениш

Сец-Нер

Фрагмент романа

Перевод с немецкого Алексея Шипулина

Арно Камениш [Arno Camenisch] родился в 1978 году в кантоне Граубюнден. Этот молодой и талантливый автор пишет на ретороманском языке и сам переводит свои тексты на немецкий. Камениш много путешествовал по Европе, Южной Америке и Австралии, возможно поэтому у него так хорошо получается описание замкнутого мирка родного ретороманского захолустья. За свою первую книгу "Сец-Нер" ["Sez Ner", 2009] Камениш был удостоен нескольких литературных наград. Впоследствии были написаны повести "За вокзалом" [2010] и "Устринката" [2012] — вторая и третья части граубюнденской трилогии. Трилогия уже переведена на многие европейские языки. В 2013 году Камениш стал лауреатом поощрительной премии Гёльдерлина.
Перевод выполнен по изданию "Sez Ner" [Urs Engeler, 2009].

СЫРОВАР повис на своем параплане, зацепившись за ели, что растут вниз по склону от пастушьей хижины у подножья горы Сец-Нер. Спиной он висит к горе, и в хижине слышна его ругань, лицом — к другому краю долины, где в небо, бок о бок, вздымаются пики гор, посереди-

© Arno Camenish, Sez Ner, all rights reserved by Engeler-Verlag, CH-Solothurn 2009, 2013
© Алексей Шипулин. Перевод, 2013

не — Пиц Тумпив, могучий, высотой 3101 метр, возвышающийся над остальными бесснежными вершинами. Опять полетел, говорит помощник сыровара, ну пусть еще немного потрепыхается, будет ему наука.

Ночью сыр набухает и сбрасывает положенные для гнета камни, так что все просыпаются. Свинопас и коровий пастух несут испорченные сырные круги под ясным ночным небом по двору, через хлев, за хлев и выбрасывают их в навозный контейнер. Сыровар и помощник сыровара тем временем стоят на пороге, засунув руки в карманы штанов.

У помощника сыровара на руках восемь пальцев — пять на левой, три на правой. Правую руку он обычно держит в кармане или под столом, на коленях. Когда он, без сапог и без носков, лежит в траве перед хижиной около загона для свиней, свинопас пересчитывает пальцы его ног. Помощник сыровара спит днем, потому что ночью он уходит. Он исчезает, когда все ложатся спать, и возвращается поздно ночью. Собак он берет с собой, чтобы ночью не залаяли.

У свинопаса тревожно на душе, потому что одна свинья в загоне лежит и не думает вставать. Свинья с холодным пятачком мертвая, свинопас об этом знает, но все равно бьет несколько раз стальными носками сапог по окорокам — вдруг все-таки встанет. Сыровар говорит, quel ei futsch, ti tgutg[1]. Значит, свиней теперь только девятнадцать. С сыроваром — двадцать, думает свинопас. Сыровар, с пристегнутым на поясе одноногим стулом для дойки, бежит обратно к хлеву, а свинопас гонит свиней вверх по склону в свинарник, желая про себя, чтобы стул под сыроваром развалился на части. В свинарнике свинопас пересчитывает свиней, насчитывает восемнадцать стоячих, и одну лежачую. Она тоже мертвая. Вот как у них быстро, думает свинопас, если так пойдет дальше, к утру не останется ни одной, и я смогу пойти домой. Вечернее солнце уже садится за вершины гор, Тумпив стоит покрытый тенью, темно-желтый. В сумерках приезжает Чарнер, ветеринар, с бородой, толстым животом и толстым сыном, который не здоровается со свинопасом — только с сыроваром. Ветеринар говорит сыровару, что свиньи объелись, у них полопались кишки.

Черная корова Клеменса сбивает рогами колья и выбегает за ограду. Остальные пять коров Клеменса трусят следом. Ветеринар говорит, что коровы — хитрые животные, гораздо хитрее лошадей, лошади, мол, живут статусом, они только с виду такие элегантные, а в сущности, глупы. Коровы умнее

1. Она дохлая, болван (*ретором.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

лошадей, но пастух все равно бродит по лесу и надеется найти коров Клеменса, прежде чем солнце совсем скроется.

Вечером заезжает коровница с пастбища, соседнего с фермой Штавонас. Она была в Иланце, куда возила кастрировать кобеля, все прошло гладко, только он еще не очухался после операции. Коровница открывает заднюю дверцу машины, где скулит пес, которому в виде исключения позволено лежать на заднем сиденье. Теперь не хочет бегать, говорит пастушка, только лежит в машине и не думает выходить. Помощник сыровара говорит, все наладится, нужно подождать, и пастушка зовет его с собой на пастбище — помочь вытащить собаку из машины. Помощник сыровара идет за ней и подзывает собак. Они бегут за машиной. Он высовывается из окна и свистит им, чтобы они не останавливались, не повернули обратно к хижине.

Утром сыровар лежит на деревянной скамье перед хижиной с полупустой бутылкой шнапса в руке и спит, а тем временем наверху, в комнате сыровара на втором этаже, откуда виден Тумпив, стоя на широкой кровати, мочится коза.

Свиньи каждый день убегают из загона около хижины. Подкапывают электрический забор и по пастбищам добираются до самого леса, где висел зацепившийся сыровар. Свинопасу на это плевать — все равно к вечеру все вернутся. А сыровару — не плевать, вот займись, говорит он, сует свинопасу в руку щипцы с кольцами и дает своего помощника. В хлеву помощник сыровара вооружается щипцами и кольцами, а свинопас выбирает свинью, хватает за уши, вскакивает на спину, так что свинья визжит еще пуще, оттягивает уши назад и сжимает коленями свиные ребра, чтобы помощник сыровара мог сунуть щипцы в нос свинье и как следует прижать. Окольцованная свинья бросается в другой угол и прячется между других свиней, которые слизывают кровь с ее носа.

Туристы подъезжают на красивых машинах по отремонтированной в прошлом году грунтовой дороге, останавливаются у забора перед хижиной и сигналят. Сигналят и смотрят вверх по склону, где на траве валяются коровий пастух и свинопас. Туристы делают знаки руками, пока им не надоедает, и они не выходят из машин, чтобы отодвинуть загородку. Едут дальше, а минут через двадцать возвращаются задним ходом, потому что дорога скоро заканчивается и большим машинам для разворота не хватает места. Им приходится останавливаться перед загородкой, которую они оставляли открытой, но которая теперь закрыта, и открывать ее снова. В траве на склоне лежат пастухи и машут туристам руками.

Издалека приезжает священник на мопеде, он появляется из-за поворота в лучах предвечернего солнца, вздымая пыль

на грунтовой дороге. Его ряса развевается на ветру. Собаки с лаем бросаются на священника в шлеме, так что священник едва не летит вниз по склону в заросли альпийских рододендронов. Он ставит мопед около хижины, выпивает кофе, после чего щелкает по носу собаку, которая подпрыгивает и лижет его, и призывает всех стать на фоне гор перед хижиной, чтобы просить Бога, господствующего в Отечестве[1], ниспослать благодатное лето. Поднимается ветер, стадо спускается с пастбища к хлеву, и священник, надевший богослужебную ленту, ходит между коров и раздает молитвенники. Он называет номера страниц, читает громко вслух, свиньи тоже вырвались из загона, подходят к священнику, дергают за рясу. Горцы бормочут молитвы вслед за священником — битых полчаса, пока не прозвучит аминь, пока всех не благословят, и тогда священник, захватив круг сыра и пять килограмм масла, сядет на мопед, проберется сквозь уже заждавшееся стадо и скроется в лучах вечерней зари.

Черный баран с белым пятном на лбу стоит посреди хлева, когда туда вбегают коровы и ломают ему передние ноги. Ему накладывают гипс на обе ноги. Черный баран совсем дикий, не позволяет себя гладить, но с гипсом ему, конечно, никуда не деться, не убежит. Однажды, когда ноги у него еще были целы, он порвал веревку, удерживавшую его у хлева, и удрал, потому что к нему хотел подойти свинопас. Тебе не нужно бояться свинопаса, говорит помощник сыровара.

Петух ничего не боится, он не убегает. Злобная свинья, говорит про него помощник сыровара. Он бросается на помощника сыровара, когда тот подходит слишком близко, и помощнику приходится пнуть его стальным носком сапога, так что петуха слегка подбрасывает в воздух. Красавец петух защищает своих кур, покрывая их, где и когда только можно.

Пастух стоит на коленях перед своей кроватью и показывает свинопасу части снарядов, которые нашел на альпийских лугах среди рододендронов и эдельвейсов. Снаряды в локоть длиной, покореженные, с головками и без. Свинопас так и сяк крутит снаряды в руках, подбрасывает вверх и ловит. Наконец снаряды снова находят место под кроватью пастуха, и сверху набрасывается покрывало. Однажды и сыровар находит на пастбище снаряд. Он приказывает пастухам тотчас тщательно огородить это место, ставит пастуха вместо часового, а сам на “субару-джасти” отправляется в деревню, и вскоре после полудня из-за поворота появляется ко-

1. Слова из “Швейцарского псалма”, национального гимна Швейцарии.

лонна армейских автомобилей со специалистами в перчатках и спецодежде. Они не прикасаются к снаряду, приближаются к нему со всех сторон, по-пластунски, они вооружены приборами, с которых снимают и записывают показания, наконец они забирают снаряд, маршируют вниз с командиром во главе, к хижине, садятся в машины защитного цвета и, не попрощавшись, исчезают за поворотом в облаке пыли.

Собака подпрыгивает и лижет пастуху руки, другая, серая, собака, постарше, бежит впереди. Первая подпрыгивает, хватает корову за хвост и тащит, пока корова не лягает ее ногой, тогда собака отцепляется, визжит, поджимает хвост и, обежав стадо, возвращается назад к пастуху. Собаки, молодая и старая, живут дружно, ссорясь только из-за еды.

Хромоножка не хочет идти, хромоножка плетется позади стада, останавливаясь на каждом шагу. Пастух колотит ее палкой по крестцу, пока палка не ломается. Стадо давно ушло в лес.

Поздно вечером сыровар сидит около хижины за рулем своего серого "джасти" с бутылкой сливянки в руке, рядом, на переднем сиденье — его помощник, на заднем — пастух, свинопас и две собаки. Сыровар говорит, в машине безопаснее всего, он вздрагивает, когда бьет молния, поджигая заборы на пастбище и ели на краю леса. Дождь омывает альпийские луга и грязную машину сыровара.

В распадке на другой стороне главной долины между лесистыми склонами вклинивается плотина. Над плотиной на канатах подвешен какой-то человек. Крестьяне говорят, художник, он хочет разрисовывать плотину, в память о Суворове. Слева нарисовал фигуры людей и четырехугольники — синие и белые. Черные фигуры с большими шляпами, идущие по плотине, там, где свет встречается с тенью. Помощник сыровара протягивает свинопасу бинокль, чтобы тот посмотрел на художника, висящего на канатах. Свинопас видит зеленую ширь равнины за плотиной.

Молодой пес с торчащим свистком сидит возле свинопаса и виляет хвостом. Из пасти свешивается язык. Пес поднимает лапу, скребет ногу свинопаса, пока тот не начинает гладить его по голове, чесать за ушами и трепать бока. Бинокль он откладывает в сторону. Внизу, вдоль опушки леса, бежит полчище свиней. Их визг доносится до хижины. Рылами они почти касаются земли, а уши шорами ниспадают вперед.

Крестьяне, если и приходят взглянуть на свой скот, то по воскресеньям. Стоят между хижиной и загоном для свиней, засунув руки в карманы, а сигары в бороды, и смотрят, как возвращается стадо. Помощник сыровара свистом сообщает

о посетителях идущим за стадом пастуху и свинопасу, чтобы те поберегли палки.

Крестьяне ходят по хлеву. Гладят коров по дымящимся бокам, щупают вымена, кивают, гладят коровьи шеи и кивают, чтобы потом выпить с сыроваром, отметив хорошо сделанную работу.

Перед хлевом свинопас забирает полный бидон от доильного аппарата и подхватывает его правой рукой за нижний край. Грязный край бидона впивается в пальцы. Молоко пенится в красных ведрах, плещется через край на черный носок сапога, откуда его слизывает молодой пес.

Нельзя ли взять пару кругов сыра, спрашивает крестьянин, пропустив по стаканчику с сыроваром, попрощавшись за руку с помощником сыровара, похлопав по плечу пастуха и кивнув свинопасу. Он был бы очень рад.

Свинопас спотыкается о плитку во дворе и падает ничком в грязь. Полные ведра летят вперед, и молоко разливается по двору, омывая коровьи лепешки, стекая в щели между плитками. Молоко становится коричневым. Костяшки пальцев ободраны и горят, подбородок тоже. Свинопасу не хочется вставать, пока не закончится лето.

Корова ночью трется о хижину. Чешет шею о край хижины, двигая головой туда-сюда, трясет головой, трется головой об угол вверх-вниз, так что ботало у нее на шее каждый раз звякает. Сыровар встает посреди ночи, стоит в трусах у окна, через которое днем ему открывается вид на Тумпив, а ночью он только догадывается о существовании Тумпива и кричит. Корова чешется об угол, пока сыровар с палкой, в трусах и сапогах, не появляется на пороге и не лупит корову палкой между рогов, потом еще раз по носу, раз по крестцу и раз сапогом по животу. Корова убегает, и сыровар захлопывает дверь.

Солнце постепенно согревает прозрачно-свежий воздух и прогоняет последние клочки облаков. Свинопас лопатой собирает со двора коровьи лепешки и бросает их в тачку. У тачки одна ручка отломана и скрипит сдувшееся колесо.

Подметая двор метлой, свинопас пересчитывает плитки. Окончив уборку, он знает то же, что знал накануне: их на дворе семьсот одиннадцать. Пятьдесят одна из них разломана пополам, двенадцать — на четыре части, а у двадцати двух отколоты углы.

Корова Тони Лиунга, светлой масти, обломала правый рог. У нее кровь на обломке рога, на ухе, на шее, на правой щеке. Вокруг ее головы вьются мухи. Она трясет головой, мухи взлетают и садятся снова, чтобы вдоволь напиться свежей крови.

Черный баран ковыляет по двору с грязными гипсовыми повязками на передних ногах. Он отощал так, что прощупываются ребра, говорит помощник сыровара с чашкой кофе в левой руке. Помощник сыровара заботится о баране. На него баран исподлобья не смотрит. Баран больше не заходит в хлев и редко ковыляет по двору. Когда впереди, у колодца, он видит свинопаса, то разворачивается и протискивается под деревянный забор.

Крестьянин стоит за хижиной и гладит бока Марты, треплет за морду. Марта высовывает язык и лижет ему рукав. Крестьянин улыбается, гордый, как хлевные ворота. Это сейчас кто — Викки или Отто, спрашивает свинопас у коровьего пастуха, проще различить одну жердину от другой, чем две бороды.

Сыровар стоит у плиты и мешает рис. К рису есть годовалый сыр, лежащий в сырном подвале и надрезанный справа. У старого сыра грязная корка, резкий вкус, и внутри полно личинок. Личинки можно вырезать, говорит помощник сыровара. Что меня не убивает, то брюхо принимает, вторит сыровар.

Зимой двое голландцев вздумали заночевать на Сец-Нере, говорит крестьянин с носом-картошкой. Сигара ходит туда-сюда по бороде, он кивает, когда сыровар уговаривает выпить еще стаканчик. Смотрит, как сыровар наливает шнапс, поднимает стакан и выпивает залпом, шнапс приятно обжигает. Поставили они, значит, палатку, басурмане, романтика, мол, переночевать зимой в горах, на Сец-Нере. Сыровар кивает. Еще бы чуть — и совсем окоченели. Он качает головой. Сыровар кивает, держа сигару между указательным и средним пальцами. Все, последняя, говорит он, опрокидывает шнапс в рот, баста, чао и адью.

Пастух отрезает старого сыра и косится на свежий, на другой стороне. Сыровар никогда не варит картошку, только драники из упаковки, глазунью или макароны. Других овощей тоже никогда не ест, зато делает поленту, поленту с сыром, она придает сил, говорит он свинопасу.

Пастух и свинопас стоят в сапогах за хлевом и соревнуются, кто ловчее пустит струю. У пастуха получается дальше, чем у свинопаса, струя блестит под полуденным солнцем. Свинопас говорит, это ерунда, главное точность. Попробуйка попасть в цветок рододендрона. Но на это их уже не хватает.

Из-за угла крадучись выходит Тигр. Он лезет пастухам под ноги и трется о резиновые сапоги. Тигр принадлежит помощнику сыровара. Он сказал, когда закончится лето, пастух

может забрать Тигра себе. Свинопас предлагает пастуху в следующий раз поспорить на Тигра.

В углу на сеновале среди пожелтевших журналов помощник сыровара находит пыльную книгу, ретороманский календарь шестидесятых годов. Он стирает паутину, садится на сено и листает рекламные объявления на последних страницах. Bonvin toujours, à votre santé[1], французского помощник сыровара не понимает. Парикмахер Франц Кайзер продает оптом cigaras, фирма "Кникос" из Кура рекламирует costums da teater[2]. Шоколад "Кернбейссер-Крокнуазетт" фирмы "Гризон". "Андрогал" — 300 драже за 47,50 франков. Вяленое и свежее мясо из Дисентиса. Confecziun da damas[3] от Гётцера в Куре, велосипед "Кондор", "Альфа-Лаваль" 100 novs models[4].

Свинопас не спит. Пастух спит, скрипя зубами во сне. Издалека, с ночного пастбища, доносится звон коровьих ботал, слышен колокольчик козы, которая бегает недалеко от хлева, слышно журчание источника перед хижиной. В соседней комнате храпит сыровар. Свинопас слышит, как задняя дверь хижины открывается, скрипит и снова закрывается. Слышит шаги по деревянному полу.

Фотограф из общества по развитию туризма отбрасывает тень на грязные плитки перед хижиной. Вокруг его рыбацкой шляпы гудят мухи. Дверь хижины открывается, и на пороге появляется сыровар в цветастой рубахе горца, красношекий, в красных чулках и с красными шнурками на горных ботинках. Ботинки блестят кремом, которым после дойки смазывают вымя. С копны волос под разукрашенной шляпой падают капли. Он вытирает руку о штаны и протягивает ее обвешанному камерами фотографу. Пинком прогоняет козу, которая стоит на деревянной скамье перед хижиной, и зовет помощника. Помощник появляется на пороге с ножом для сыра в руке. Он не может выйти, потому что дел невпроворот, а пастухи ушли. Пастухи валяются в рабочей одежде высоко на склоне и слышат, как сыровар с проклятьями бегает вокруг хижины и хлева, пока фотограф раскладывает около штатива с камерой костюмы горцев, привезенные из общества по развитию туризма. Здоровенный, толщиною в ногу, объектив смотрит на горную кулису.

Вечернее солнце стоит низко над горизонтом. С гор налетает ветер и гнет верхушки деревьев. Слышно, как из леса воз-

1. Бонвен всегда, за ваше здоровье (*франц.*).
2. Театральные костюмы (*ретором.*).
3. Одежда для дам (*ретором.*).
4. Новых моделей (*ретором.*).

вращается стадо. Собаки лают. Всю верхнюю часть Сурсельвы покрывают черные тучи. Раздаются раскаты грома, гроза движется вниз по долине, захватывая деревню за деревней, луг за лугом. Солнце больше не в силах ей противостоять, двор и пастбище погружаются в темноту. Куры попрятались и притихли, с неба падают первые капли. Сверкает молния, гремит гром. Сыровар стоит на пороге, засунув руки под фартук, в карманы штанов, и считает секунды между молнией и громом.

В общей комнате, на комоде, около приемника с погнутой антенной, стоит бутылка со святой водой, которую горцам дал священник. Пластиковая бутылочка с синей навинчивающейся крышкой. Свинопас откручивает крышку и выпивает все до дна.

Сыровар с помощником сидят на пристегнутых одноногих стульях, упершись головами в коровьи животы и согнув спины — будто моют золото. Из колонок в коровнике льется музыка. Сыровар говорит, коровы дают больше молока, если во время дойки играет музыка. На минуту он поднимается, чтобы размять спину. Доказано наукой. Сыровар ругается, когда корова лупит его по ушам плохо привязанным хвостом. Хорошо еще, если он до этого не побывал в сточной канаве.

Свинопас натирает обтянутые носками пятки шампунем. Льет на них воду и трет, пока не появляется пена, потом засовывает ноги в сапоги. Поначалу сапоги жмут.

Туристы моют обувь у колонки для скота перед хижиной. Стягивают ботинки и пропотевшие носки. Садятся на край небольшого каменного корытца и свешивают ноги в воду. Опускают в источник подошвы ботинок, выковыривают пальцами грязь из протекторов. Большое спасибо, говорят они свинопасу, когда тот выносит им чашку молока. Ну, ерунда, не стоит благодарности, отвечает свинопас. Это вам за грязь в колонке, думает он.

Анн-Лу Стайнингер

Гадалка. Женщина в синем на склоне дня

Перевод с французского Натальи Мавлевич

Анн-Лу Стайнингер [Anne-Lou Steininger] — автор нескольких прозаических книг, в частности романа "Тяготы мошки" ["La Maladie d'être touche", 1996], а также пьесы "Участь тела" ["Destin des viandes", 2004]. Живет в Женеве. За сборник рассказов "Сказки украденных дней" ["Les Contes des jours volés", 2005] получила престижную премию Мишеля Дантана.

Сборник состоит из трех десятков причудливых поэтических историй (которые сама писательница называет "стилистическими упражнениями во времени"), заставляющих вспомнить то о Дино Буццати, то об Анри Мишо. Обрамляющий же их сюжет напоминает легенду о "Летучем Голландце", а еще больше – о неутомимой сказочнице Шахразаде.

Это обрамление выстраивается в первом рассказе "Оставшиеся дни". Некий путешественник узнает от своего ангела-уничтожителя, что ему осталось жить лишь семь дней, но ему удается заговорить зубы пернатому посланнику небес и сыграть на его любопытстве. Отныне он каждый день рассказывает ангелу новую историю

© Bernard Campiche Editeur
© Наталья Мавлевич. Перевод, 2013

о человеческой природе, и тот улетает, забыв зачеркнуть прожитый день. Устав от вечной жизни, путешественник передает свою миссию молодой женщине, с которой встречается на странном, покинутом экипажем корабле, и отныне сказки и притчи о жизни и смерти сочиняет она.

Ниже публикуются две из "Сказок украденных дней".

Перевод выполнен по изданию Les Contes des jours volés [Bernard Campiche Editeur, 2008].

Гадалка

— А чушь собачья! Не верю я в такие штучки, вы же знаете.

Друзья не отставали:

— Сходи! Ну что ты теряешь?

— Время!

— Подумаешь! Зато посмеешься в свое удовольствие.

А один особенно прилип:

— Почему ты так уверен, что это все вранье? Вот у меня один знакомый...

Тьфу! Сплошной треп и суеверия! Но все-таки в конце концов я сдался и пошел.

Друзья, веселясь, как шкодливые мальчишки, проводили меня до самой двери. В тот день мне исполнялось двадцать пять лет, и мы, по обыкновению, шлялись по улицам и выдумывали, что бы такое отмочить в честь торжества. У нас был любимый спорт: измерять глубину человеческого легковерия. Мы и сухую воду в порошке уже продавали, и жевательную резинку от радиации, и места первого класса на летающую тарелку бронировали. А уж конец света сколько раз предсказывали! Однажды производили воскрешение десятка мух, окуная их в раствор соли, якобы извлеченной из гробницы Тутанхамона; в другой раз расколдовывали с помощью магии вуду разные предметы, в том числе бутылку рома, которую потом благополучно выдули. Довольно долго нам нравилось развлекаться этим шарлатанством, но потом надоело. Уж очень легко дурачить людей. Но тут подопытным кроликом должен был стать я сам.

Расфуфыренная в пух и прах мадам Мирандабра встретила меня, многозначительно улыбаясь, как будто я был постоянным клиентом этого притона языкоблудия:

— А-а, мсье Шансек! Я вас ждала.

Так-так, значит, эти бездельники подстроили все заранее. Я разозлился и хотел уже развернуться да уйти — дался мне

этот дешевый загробный бред! Но мадам Мирандабра мигом затолкала меня в кресло, разула мою левую ногу, оросила ее розовой водой, обсыпала, как кусок рахат-лукума, тальком, и я с омерзением ощутил, как ее пальцы щекочут мне подошву. Накрашенные черным лаком ногти, постукивая друг об друга, плясали на коже, точно жуткие скарабеи, совершающие брачный ритуал на тепленьком уютном трупе. Продолжая теребить мою конечность, гадалка объясняла мне преимущества педомантии перед хиромантией, но вдруг пальцы ее заработали еще энергичнее, и она простонала:

— Мсье Шансек! О, мсье Шансек, какой ужас!

Чучело совы с трепещущей упитанной мышью в когтях злобно уставилось на меня. Огромные глазищи часто-часто хлопали, по стенам бесшумными волнами пробегал свет крутящегося фонаря. В стеклянном шаре полыхнули синие молнии. Почему-то я подумал о друзьях, причем они представились мне в странном виде: бегущими по узкой улочке вдогонку за каретой “скорой помощи”... они задыхались, выбивались из сил, дряхлели на глазах... и вот им уже лет по сто, этим старым насмешникам в подмокших брюках, и жалкая улыбка присохла к губам... никто-никто на свете больше их не понимает... внезапно “скорая” остановилась, задние дверцы ее распахнулись, и из них хлынула лавина апельсинов, насыщенный апельсиновый дух ударил мне в ноздри, и я вырвался из хищных когтей.

Таким было мое знакомство с мадам Мирандаброй. Выбравшись на волю, я был уверен, что никогда в жизни больше о ней не услышу.

— Ну что? — накинулись на меня предвкушавшие потеху приятели.

— Да ничего, хитрюги вы этакие. И в следующий раз морочьте голову кому-нибудь другому.

К вечеру мы изрядно надрались. Настроение у меня было паршивое. Слова паскудной гадалки не выходили из головы.

— Завтра, несчастный мсье Шансек! — проскрипела она, и по слою крем-пудры медленно потекли настоящие крупные, маслянистые слезы. — Уж что я увидела, то увидела, мсье Шансек, а я никогда не ошибаюсь. Вы завтра умрете. Увы...

Разумеется, я не поверил, но все же...

Сколько же лет прошло с тех пор... На другое утро меня дико рвало, прямо-таки выворачивало наизнанку. Я вспомнил о предсказании и усмехнулся. Наверно, это и есть обещанная на завтра смерть — тяжкое, тягучее похмелье. Молодец, Мирандабра, точно угадала. Я силился развеселиться, но внутри

что-то ныло, щемило и не отпускало. Аспирину, что ли, выпить... Или виски хлебнуть... Суеверно подчиняясь ритуалу, я, как приговоренный перед казнью, исполнил несколько своих "последних желаний" — все они показались мне такими жалкими и мелкими по сравнению с громадой непрожитой жизни и несделанных дел. Ладно, это просто игра, уговаривал я сам себя, я в нее не верю. Да и кто бы поверил! Это же просто сумасшедшая старуха!

— Мы такую и искали! — признались в тот вечер друзья.

Их привела в восторг ее вывеска:

"Мадам Мирандабра, Ясновидящая с закрытыми глазами, Величайшая Ворожея всех времен и народов, Гадалка по костям, по картам и по дыму (все виды безупречных предсказаний, специализация: чтение судьбы по линиям на стопах, по дыркам в сыре и вороньему помету), Правдивая Пророчица бедствий и катастроф (предрекла гибель принцессы Дианы), Первая Советчица диктаторов, кинозвезд и синоптиков, Заклинательница Злого Рока. Обладательница значительных умопомрачительных наград: орденов Большой Черной дыры, Пиковой дамы, Бездонной мошны, Эластичной подвязки и золотой медали Пророка Малахии. Прием без записи, во второй половине дня (по утрам мадам общается с Духами). Предсказания с гарантией, возврат платы в случае ошибки. Первый этаж, налево. Остерегайтесь консьержки (она шпионит), в дверь стучите тихо".

"Во дает — даже нас переплюнула!" — подумали друзья.

И в самом деле. Мы навидались разных олухов и дуралеев, готовых проглотить любую чушь, но это уж было слишком: на галиматью Мирандабры ни один простофиля не купится! Они, однако, упустили из виду одну очень важную мелочь: эта чертова дура верила в свой бред, верила так упрямо, свято и непоколебимо, что в упор не замечала нашего скептического зубоскальства; верила, как я лишь много позже стал догадываться, с такой силой, что перекраивала будущее под свои предсказания, лишь бы они не оказались ложными. Сколько бы мы ни насмехались, она верила за нас всех.

— Во всяком случае, Шансек, ты у нее останешься единственным клиентом, это уж точно!

О-хо-хо...

"Любезная мадам Мирандабра!

Я польщен необыкновенным вниманием, которое Вы мне уделяете. Как! Вы, знаменитая Мирандабра, чьи заслуги и титулы не помещаются на визитной карточке, Вы, к кому непременно обращаются сильные мира сего, прежде чем принять

важное решение, Вы, в чьем кабинете рядом с совиными чучелами сиживали английская королева, Пиночет и Его Святейшество Папа Римский — Вы снисходите до такого заурядного человека, как я, ничего из себя не представляющего сегодня и, как говорится, не имеющего будущего, главное же, способного сорвать кучу пророчеств! Не сочтите за обиду, мадам, но я попросил бы Вас оставить меня в покое"... и т. д.

"Мадам, я уже много раз говорил и писал Вам, что мне осточертели Ваши дурацкие предсказания. Я не желаю знать свое будущее, тем более такое, о каком Вы мне все уши прожужжали. Предпочитаю жить сегодняшним днем, а дальше — будь что будет. Если завтра солнце не встанет и миру суждено погибнуть, на кой мне знать об этом раньше других, если я ничего не могу изменить! Прошу в последний раз: отстаньте от меня, или я подам на Вас в суд за магическое домогательство"... и т. д.

"Чертова вещунья, отравительница судьбы, болтливая старая ведьма, хоть бы все злобные пророчества, которыми ты наводняешь мир, обратились на тебя да и пришибли наконец!"... и т. д.

Чего только я не делал, чтобы от нее избавиться! Чего только не говорил ей! Но ни угрозы, ни брань не действовали, она не унималась:

— Мсье Шансек, послушайте меня! Это очень важно...

И так каждый день с того самого визита... я много раз переезжал, менял адреса и даже имя, но она все равно каждый день ухитрялась найти меня и устно или письменно напредсказывать всякие ужасы — а чтобы что-нибудь хорошее, так нет, это не в ее духе: крушение поезда, наводнение, резня, крупный проигрыш, потеря близких, крах карьеры, преждевременные роды, повышение цен на продукты... и неизменно *смерть на следующий день* — единственное пророчество, которое никогда не сбывалось. Что же до остальных...

— Будьте осторожны! В такой-то час на такой-то дороге произойдет катастрофа.

Первое время я лез из кожи вон — старался оповестить родных и знакомых, радио и газеты, весь мир. Но меня посылали куда подальше, советовали не каркать. Мне не верили. А катастрофа происходила: десять раненых, пять убитых. Обычно гадалки предсказывают счастье, удачу, любовь, и ничего, если исключить случайные совпадения, не сбывается. Но им верят. Мирандабра же предвещала только напасти, и люди затыкали уши. Хотя самое худшее-то как раз и сбывалось. Странная логика. Считается, что большинство людей — пессимисты. Так почему именно я, человек жизнерадостный, доброжелатель-

ный, — почему только я должен был принимать на себя это тяжкое бремя — знать о всех бедах заранее? Я страшно мучился, изнемогал. А бедствия все сыпались и сыпались и рождали во мне чувство вины. Да, я чувствовал себя виноватым в том, что всегда все знал и ничего не мог предотвратить; подспудно к этому примешивались другие угрызения: сам-то я каждый раз избегал предсказанных несчастий, а вместо меня день за днем погибали другие. Да-да, вместо меня! Боюсь, моя собственная смерть постоянно откладывалась на день благодаря этим жертвам. Мой неоплатный долг все возрастал. Я постоянно оказывался единственным уцелевшим в очередном эпизоде вселенской кровавой бойни, несчастной Кассандрой, дожидавшейся уготованной ей участи умереть последней. О, если бы я мог не слышать больше гадалку!

Я все еще жив. И небо до сих пор не рухнуло на землю. Пустое, равнодушное, оно по-прежнему блистает синевой. И я люблю его успокоительную бесконечность. Вообще же более всего на свете я люблю наимельчайшие малости: тень от какой-нибудь мошки, первую каплю дождя, шевеление реснички инфузории. Ничто не кажется мне чересчур ничтожным, крошечным и хрупким. Я постарался отстраниться от человеческих мерок, отключить эмоции. В конце концов, будущее — это не что иное, как с опозданием явившееся настоящее. А судьба — всего лишь нескончаемая тоска. Чтоб не сойти с ума, я превратился в фаталиста. И старая стерва, видно, это почувствовала. Постепенно она перестала возвещать мне всякие бедствия и сосредоточилась на главном: на моей кончине.

— Не забудьте, дорогой мсье Шансек: завтра вы умрете, — зловеще куковала она каждое утро.

Потом от нее стали приходить записочки в конверте с одним словом: “Завтра”, без адреса и подписи, будто приглашение на тайное любовное свидание. “Завтра”. Это волшебное заклинание на день, мое “carpe diem” и залог моего долголетия.

Но вот сегодня я от Мирандабры ничего не получил. Ни звонка, ни записки. И совершенно выбит из колеи. Что это значит? Наступит ли еще для меня какое-нибудь завтра, или же... надо понимать, что это мой последний день? Будь оно проклято, молчание гадалки! После стольких лет вдруг взять и бросить меня! Уж слишком, верно, счастливо я жил, показывал, что больше не нуждаюсь в ней! Не очень верил ей — вот она и не вынесла!

Я побежал к гадалке. Отыскал ее улицу, дом. Но ни таблички, ни имени ее не нашел.

— Нет тут никакой Мирандабры, или как ее там... Да и не было никогда!

— Что ж, спасибо.

Я расспросил консьержек, стариков и даже осмотрел могилы. Но не нашел и следов моей гадалки. Честно говоря, меня это не очень удивило — ведь прошло столько времени... Конечно, прежде я бы не решился проверять — из страха нарушить странный договор, который изо дня в день поддерживал мою жизнь. Я сел около дома, соображая, как быть...

По небу разливается багряно-золотой закат. День подходит к концу. И что же со мной будет? Вдруг я увидел своих старых друзей. Им, как и мне, по сто двадцать пять лет, но в глазах задорный блеск. Идут гуськом, и каждый крутит апельсин на длинной палочке. Они поглощены этим занятием.

— Ребята! Так вы еще живы! — крикнул я.

Друзья, дорогие друзья — вот он, лучший в жизни подарок.

— Ты, что ли, Шансек? С днем рождения, старик!

Они едва взглянули на меня.

— Что вы такое делаете?

— Сам видишь. Мы гоним стадо солнц пастись за горизонт.

Я тоже взял палочку, взял апельсин и пошел вместе с ними.

Женщина в синем на склоне дня

ОДИН жестокосердый человек всю жизнь твердил:

— Ничто не возникает, и ничто не исчезает, но все мне дорого обходится.

Именно так он всегда отвечал попрошайкам. А уж попрошаек вокруг него было предостаточно! Можно подумать, злился он, все человечество состоит из бедных погорельцев, незадачливых папаш, что наплодили по оплошности кучу детишек, записных неудачников и прочих растяп, оборванцев, нищебродов, закоренелых безработных, продавцов прошлогоднего снега!.. Подонки! Ни гроша они у меня не выклянчат!

К счастью, та заученная фраза выручала его — давала сил отвечать отказом на любые просьбы. Что ж, спору нет, девиз лихой, ничем не хуже картезианского cogito ergo sum. Житейский интерес так ловко сплетался в этих словах со всеобщей истиной, что крохоборство нашего героя выглядело прямым следствием законов вселенной, чем-то вроде печати первородной скупости. Куда как солидное основание! Все равно что письмо за подписью владельца вселенной, разрешающее предъявителю ловить рыбу в его угодьях.

Само собой, этот человек на ветер денег не бросал и просто так никому ничего не давал. Одалживать — это да — ему случалось, причем иной раз даже без процентов, но горе тому, кто вовремя не вернет долг! О, он готов был преследовать должника до сорокового колена! Хотя особой алчностью не отличался и разбогатеть, в сущности, не стремился. Нет, то была другая одержимость. Требовать, чтобы позаимствованное возвращалось обратно, его заставляла страсть к порядку. От этого, казалось ему, зависит некое идеальное, но очень хрупкое и неустойчивое всемирное равновесие, малейшее расстройство — и чаши весов расходятся.

— Добрый день, я хотела просить вас...

(Просить *меня* — вот именно! Он сразу ощетинился. Как знать, не чувствовал ли он, что все его добро — частица его самого, а каждый, кто что-то берет у него, отрывает кусок его плоти, и он живет ущербным, пока отобранное не вернут? Кто там еще просит *меня?*)

И он уж собирался возгласить свое обычное:

— Ничто не возникает, и ничто не исчезает, но все мне дорого обходится.

Но дрогнул. Перед ним в предвечернем свете стояла высокая, стройная, как кипарис, одетая в синее женщина с такими... боже мой!.. с такими глазами... готовыми внезапно распахнуться!..

Он узнал свою новую соседку. Что ей надо? Что хочет она отхватить, нарушив равновесие двух чаш? О, надо быть настороже! Женщина в синем на склоне дня способна наклонить горизонт и так тряхнуть небесный свод, что звезды дождем посыплются с него в складки ее платья. Женщина в синем на склоне дня — это ужасная угроза всемирному равновесию.

В темной ткани мерещился стрекот невидимой саранчи, способной пожрать все зерно и все золото мира, в волосах застряли рыжие всполохи облаков, туманно-сиреневая гряда холмов опоясывала ее талию, сама же она всем телом тянулась вверх, к нежно-золотому небу. И каково же будет, с тоской подумал он, залечивать рану, которую наносит миру такая вот пронзительная красота.

Ей нужно было всего лишь немного кукурузной муки. Причем, в отличие от профессиональных побирушек, она даже не стала оправдываться. Что ж, хорошо. Но и с ней надо быть твердым — пусть сразу все усвоит. Скупой отвесил женщине полфунта муки и строгим голосом сказал:

— Я оставляю гири на весах. Ровно через неделю ты должна вернуть, что взяла.

Она пообещала, поблагодарила и ушла. А очень скоро он услышал, как она поет за стеной. Должно быть, взялась за стряпню, вот и радуется! Он представлял себе, как она нагнулась над дымящейся кастрюлей, помешивая варево длинной деревянной ложкой, да так и заснул, и запах горячей поленты обжигал изнутри его веки. Ему приснилось, будто горизонт исчез и все заполнило золотое, как на иконах, небо. На этом фоне женщина в синем все напевала и вертела деревянной ложкой, но очень скоро он понял, что она ее вертит в его животе, в распоротом, кишки наружу, животе! Однако, как ни странно, больно нисколечко не было. И даже наоборот. Ложка приятно щекотала, а под красной лампой крутилась пластинка. *Come si gira la bella polenta...*[1] Отличная мелодия. Он тоже попробовал запеть и от этого усилия проснулся.

— Я пришла вернуть то, что у вас брала.

Она постучала в дверь спустя семь дней, в тот же прозрачный предвечерний час. По-прежнему прямая, как струна — а мир у нее за спиной покачнулся, — в синем платье с наполненными тенью складками, она стояла на пороге и протягивала ему серый бумажный пакет, наполненный, судя по легкому хрусту, кукурузной мукой. Он ощутил такую же тоску, как в прошлый раз, такое же чувство потери, как будто она держала в руках не просто серый пакет, а саму его жизнь, — да, этот дырявый бумажный пакет — его жизнь, и струйка золотистой пыли, еле слышно шурша, сочится из него. Только бы мир совсем не развалился еще хоть несколько мгновений, чтоб он успел показать этой женщине — и убедиться, что это ему не приснилось, — чудо, которое он наблюдал всю неделю. Он подвел ее к столу, где стояли весы. На левой чаше все еще стояли две гирьки: двухсот- и пятидесятиграммовая, но перевешивала правая: она была пустой, теперь же на ней возвышалась изрядная горка кукурузной муки.

— Вот видишь? Ты уже отдала весь свой долг. И даже больше — твоя чаша тяжелее. И не благодари. Это не я ее наполнил — тебе тут каждый скажет, до чего я скуп. Она наполнилась сама собой, понемногу, пока ты пела. Да-да, клянусь! Не понимаю, в чем тут дело, но каждый раз, когда ты принималась петь, я видел, как муки немного прибавляется. И в то же время сам я потихоньку становился легче. Какой же у тебя красивый голос!

1. *Варись, варись, чудесная полента!.. (итал.)* (*Прим. перев.*)

Он сгреб с правой чаши избыток муки, восстановив равновесие, и отдал ей все до последней крупинки — человек он был справедливый.

— Возьми, что тебе причитается. И главное, пой еще!

Так и повелось: женщина в синем пела, и чаша наполнялась. Причем пела она безотчетно, по привычке, — пела, когда умывалась, работала, ходила по двору. И все подряд — все, что только приходило ей в голову: баллады и считалки, старинные деревенские песни и модные разухабистые шлягеры. Сосед заслушивался. Его смущала, а пожалуй, даже искушала эта бьющая через край радость и прелесть; он изумлялся, как мог такой прекрасный, словно созданный для пения скорбных гимнов и псалмов голос разменяться на безделицы. Однако мало-помалу и сам заражался легкомыслием. И случалось, он, лишнего звука не проронивший за все семьдесят семь лет своей жизни, вдруг принимался что-то напевать. Теперь он отдал — да, вы не ослышались: он *отдал* бы все на свете, чтобы этот голос ласкал и ласкал его слух.

Мелисса, милочка моя,
Люблю тебя до гроба,
Мелисса, милочка моя,
С тобою не расстанусь я.

Словом, он поумнел. А может, поглупел.

И в то же время таял, худел, усыхал на глазах. Словно бы убывало вещество, из которого он состоял. А вскоре он умер. Когда соседка вошла к нему, он лежал высохший, как соломина, и маленький, как мертворожденный ребенок. Она все поняла — поняла, что он невольно пожертвовал собой. Ничто не возникает, и ничто не исчезает, и все обходилось ему слишком дорого, даже невинное удовольствие слушать песенки... Она положила крошечное тельце к себе на колени и стала петь — ведь это было все, что она могла для него сделать. Она пела всю ночь и выбирала самые красивые из всех известных ей мелодий, веселые и грустные вперемешку. А тельце все съеживалось, все уменьшалось. Наконец оно стало не больше былинки, и вдруг эта былинка содрогнулась, надломилась, выпустила новенькие крылья, расправила их и взлетела. Блестящая синяя стрекоза зигзагом взмыла в утреннее небо и растворилась в нем. А женщина, утомившись от долгого пения, заснула, меж тем как золотая струйка текла и текла из чаши, которая все пополнялась.

Роз-Мари Паньяр

Коллекционер иллюзий

Перевод с французского Нины Кулиш

Роз-Мари Паньяр [Rose-Marie Pagnard] – писательница, журналистка, критик, автор "волшебной", "сновидческой" прозы, близкой к магическому реализму. Ее перу принадлежат романы "Эра Фернандеса" ["La Période Fernandez", 1988], "В лесу резвится смерть" ["Dans la forêt la mort s'amuse", 1999, премия Шиллера], "Консерватория любви" ["Conservatoire d'amour", 2008], "Я люблю то, что непрочно" ["J'aime ce qui vacille", 2013] и др. Преобладающей для Паньяр является тема искусства, дара, благодатного, но подчас разрушительного; тема творчества.

Герой рассказа "Коллекционер иллюзий" распродает свои ненаглядные картины, но находит способ остаться их обладателем. Правда, для этого ему требуется изрядная сила воображения...

Перевод выполнен по изданию "Collectionneur d'illusions" [Editions Zoé, 2006].

КОГДА отец начал приглашать нас обедать в лучшие отели страны, в моих глазах он стал настоящим волшебником, превращавшим реальность, с которой он никак не мог примириться, в блистательный триумф своих заблуждений. "Вы сразу узнаете картины, которые висят на сте-

© Rose-Marie Pagnard
© Нина Кулиш. Перевод, 2013

нах в этом отеле, — говорил он нам, — ведь они — часть нашей незабвенной семейной коллекции! Да-да, это наши любимые, родные вещички, проданные, утраченные, но теперь снова согретые нашим восхищением! Ну, приятного аппетита, смотрите во все глаза и наслаждайтесь!" Мама надевала очки и напрягала память, сопоставляя свои воспоминания с картинами, гравюрами и рисунками, которые украшали стены отеля: "Да, в самом деле, — говорила она, — вот это как будто наш маленький Фюсли (или Хёленмайстер, или Уотсон, или Адами[1]: я называю имена только некоторых из художников, чьи картины были представлены в нашей коллекции), но я не могу взять в толк, как они очутились..." Отец обрывал ее раздумья вслух, выражавшие превосходно разыгранное удивление, и в очередной раз принимался рассказывать, как он, с упорством и настойчивостью влюбленного, стремящегося присвоить себе предмет обожания на веки вечные, сумел сохранить в поле зрения свои ненаглядные полотна и в результате все еще обладает тем, что ему уже не принадлежит.

До того как укрыться в спасительной гавани иллюзии, мой отец столкнулся с финансовыми трудностями. Следовало ли ему продать, то есть предать, нашу коллекцию картин, гравюр и рисунков, все эти пейзажи и портреты, лазурные небеса и жанровые сцены, цветовые пятна, фигуры и зигзаги, которые только на первый взгляд безучастно висели на стенах, а на самом деле были единственной опорой нашей жизни, единственным, что удерживало нас на высотах истинного искусства, — следовало ли ему это сделать? Чтобы обмануть судьбу и самого себя, он начал с экономии на своих личных нуждах: отказался от "брисагос" (тонких, как карандаш, сигар, обвернутых вокруг соломинки), которые ему поставляли каждую неделю в коробке по двадцать пять штук с монограммой. Мама, со своей стороны, решила давать платные уроки игры на скрипке, но никак не могла заставить себя брать деньги с учеников, и эту затею пришлось бросить. И вот тогда у нас поселился друг нашей семьи, бывший аукционный оценщик. Целую зиму он уписывал за обе щеки мамину стряпню, натирал нашу мебель пчелиным воском собственного изобретения, а потом, наконец, определил продажную стоимость наших картин и бросился на поиски возможных покупателей.

1. Иоганн Генрих Фюсли (1741–1825) — швейцарский художник, живший в основном в Англии, представитель раннего романтизма. Гомер Уотсон (1855–1936) — канадский пейзажист. Валерио Адами (р. 1935) — итальянский художник. Хёленмайстер — по всей видимости, вымышленный персонаж. (*Здесь и далее – прим. ред.*)

Когда пришло время продажи, отец, благодаря этому своему другу и каким-то таинственным знакомствам, ухитрился разместить картины там, где ему приятнее всего было бы смотреть на них: в салонах и ресторанных залах роскошных отелей и изысканных кафе, известных своими коллекциями произведений искусства. И теперь, когда его дела пошли на поправку, он в течение трех или четырех лет возвращал себе самому, маме и мне, своему сыну, фамильные картины, гравюры и рисунки: для этого нужно было лишь отвезти нас туда, где теперь обитали наши любимцы, — скажем, однажды воскресным вечером мы ужинали в Базеле, неделю спустя — в Люцерне, затем во вторник у нас был ранний ужин с чаем в Цюрихе... и все эти пиршества были проникнуты вдохновенным, творческим созерцанием и выдвигали моего отца в число виртуозных любителей искусства. Ибо перестав быть заурядным частным коллекционером, наслаждающимся абсолютным душевным комфортом (то есть таким, который волен вскакивать по ночам, дабы убедиться, что желтый цвет карандашного рисунка не поблек от соседства окна, выходящего на юг, волен забывать на полгода, что у него там развешано по стенам, волен по утрам и вечерам приветствовать каждую единицу хранения негромким, более или менее прочувствованным заявлением типа “я вас люблю”, или “а я тебя зацапал”, или как-либо еще), — перестав быть заурядным частным коллекционером, созерцающим накопленные сокровища у себя дома, в четырех стенах, мой отец поднялся на более высокую ступень — он превратился в Тайного Коллекционера, а в этой роли необходимо виртуозно управлять собственным воображением и мастерски облагораживать реальность.

Коллекционер-невидимка и коллекция, которую видят все. Отныне эти шедевры доступны каждому, говорил мой отец — будучи сам завсегдатаем подобных заведений, он полагал, что это может позволить себе кто угодно. Мама пересчитывала посетителей ресторана, сидевших за соседними столиками и, по-видимому, всецело занятых поглощением тонких кушаний, вздыхала и высказывала мнение, что, по крайней мере, здешний персонал в часы относительного затишья может восстановить силы, любуясь этими картинами, которые при жизни у нас успели доказать всю мощь своего поэтического воздействия. В такие минуты мама казалась нам красивее, чем обычно, словно ее преображала беседа, которую завязывали между собой ее воспоминания, ее сиюминутные мысли и так хорошо знакомые нам картины — иные из них висели слегка наискось, демонстративно нарушая установленный порядок вещей. А порой у отца случался

сильнейший приступ меланхолии, и, будучи не в силах справиться с этим сам, он заказывал шасс-сплин гран-крю[1], хотя к данному блюду больше подошло бы местное вино; бывало, он даже не прикасался к еде, а просто сидел, неотрывно глядя на ранний пейзаж Хёленмайстера, изображающий озеро, пока к нашему столику не подъезжала тележка с десертами и вид какого-нибудь крема, напоминающий красную или желтую масляную краску, не возвращал его к действительности; иногда в салоне "Гранд-отель Алемания", где висела серия гравюр Валлоттона[2], он смахивал колонковой кисточкой пыль с рамок и при этом желал остаться незамеченным, Тайному Коллекционеру подобает скромность, объяснял он маме, которая, порядком нервничая, стояла на страже — покажись на горизонте сомелье, нас бы тотчас оповестила об этом ослепительная мамина улыбка.

В этом самом салоне, в одно январское воскресенье, после того как директор угостил нас засахаренными каштанами и поведал нам, что собирается радикально обновить обстановку и художественное оформление (!) "Гранд-отеля", отец вдруг ощутил непреодолимое желание прямо сейчас прижать к груди какую-нибудь вещь из своей коллекции, все равно какую; в один миг он снял со стены гравюру, спрятал ее под плащ и устремился к выходу. Мама и я, поддавшись тому же наваждению, побежали за ним. "Ах! — тихо стонала мама. — Это ведь кража! Ты обокрал сам себя!" А я видел, как отец, стоя на улице, здоровается с невидимыми собеседниками, а затем раскачивается взад-вперед с полузакрытыми глазами, совсем как в прежние времена, когда он собирался купить картину и с восторгом думал о своих беспредельных возможностях, о беспредельной красоте грез и фантазий и о беспредельной радости мамы, когда она увидит новую, только что выбранную им картину. На улице был страшный холод, отец, бледный и весь в поту, попытался что-то сказать нам, но силы оставили его. Мама помогла ему дотащиться до стоянки такси, а я нес гравюру Валлотона, нашу фамильную собственность, словно тайный трофей, и чувствовал, что мог бы ловко спрятать ее, наврать с три короба и сунуть ее на дно, если бы кто-то вдруг решил отобрать ее у меня. Наверняка отец найдет какой-нибудь способ вернуть гравюру в "Алеманию", применит гипноз или что-то в этом роде, думал я.

1. Бордосское вино, название которого означает "долой тоску".
2. Феликс Валлоттон (1865—1925) — швейцарский график и живописец, работавший во Франции.

Однако мой отец в тот же день слег и в следующее воскресенье умер. На время его болезни мама повесила на стену напротив кровати украденную гравюру и несколько пустых рамок: она знала, что он уже не может различить ничего, кроме бликов света, но, говорила она, для рождения иллюзии нужно хоть что-нибудь, пусть даже просто белый квадрат. Так отец мог в последний раз вообразить, что он опять привел нас полюбоваться своими обожаемыми картинами, и мы, не переставая восхищаться, переходим от одной к другой, а отец, с длинной сигарой "брисаго" в руке, рассказывает нам о совершенстве линий и богатстве колорита.

Впоследствии мама все же решилась давать платные уроки игры на скрипке и подарила украденную гравюру своему любимому ученику — в некотором роде поэту, неуемному фантазеру, который, в очередной раз взяв неверную ноту, заверял ее, что это пробует силы дремлющий в нем гений!

Корин Дезарзанс

Из сборника “Глагол ‘быть’ и секреты карамели”

Перевод с французского Марии Липко

Корин Дезарзанс [Corinne Desarzens] – писательница, журналистка, полиглот (среди прочих, владеет русским и одним из пяти диалектов ретороманского), страстная путешественница, жадная до жизни во всех ее проявлениях, родственная душа другой вольной птицы швейцарской литературы – Шарль-Альбера Сангрия, с которым читатель еще познакомится на страницах этого номера. Отсюда и характер ее прозы — стремительной, подчас эллиптичной, богатой образами и отступлениями. Писательница словно торопится выплеснуть все, что впитала: так инжир, набравшийся солнца, обжигает ладонь. Под стать и жанр, избранный Дезарзанс для сборника малой прозы “Глагол ‘быть’ и секреты карамели”. Что это, письма, строки на обороте открытки, фрагменты дневника? И меньше, и больше. Полу- и четверть-встречи, которые надо изжить, чтобы пришли новые. “Встречать” – еще один глагол, любимый Дезарзанс. Причем встречи чаще всего происходят не в мире людей, а в мире вещном, предметном. Встретить запах, концертную форму, былку травы, книгу...

“Август” больше напоминает стихотворение в прозе, “Форма” тяготеет к рассказу, а “Дайте настояться” – к тому, что Сангрия

© Editions de l’Aire, Vevey, 2006
© Мария Липко. Перевод, 2013

называл propos, размышлением на тему, где Дезарзанс разовьет неожиданнейшее сравнение: растение, отдающее свои соки воде, подобно человеку, отдающему себя любви...

Помимо сборников короткой прозы, среди которых можно выделить "Мадагаскарский дневник" ["Carnet Madécasse", 1991], а также парные "Я все, что встречаю" ["Je suis tout ce que je rencontre", 2002] и "Я бы стала травой этого луга" ["Je voudrais être l'herbe de cette prairie", 2002], перу Дезарзанс принадлежат и романы: "Голубой алмаз" ["Bleu Diamant", 1998, премия Рамбера] "Рыба-барабан" ["Poisson-Tambour", 2006], "Король" ["Un roi", 2011] и др.

Перевод выполнен по изданию "Le verbe être et les secrets du caramel" [Editions de l'Aire, 2006].

Август

КОГДА август-месяц подходит к концу, где-то разом и отпускает, и перехватывает.

Узнай поди, чему это приписать. По́ры на коже раскрываются широко-широко. Ноги возвращаются к обуви. Долг наступает, забавы трубят отбой. Укол усыпляет, но не приносит облегчения. Мучительная отсрочка. Лицо искажает судорога. Сонный, оцепеневший, ты все же глядишь в оба. С какой-то особенной зоркостью высматриваешь симптомы. В разлитой вокруг благодати нет-нет да скажется призыв к порядку.

Теперь я знаю. Это чувство обостряется при виде песка, инжира и айвы.

Не абы какого песка: песка городского, над которым замер ковш экскаватора, песка полезного, разрытого до лужи. Этот песок навевает мысли об отпуске, а меж тем все вокруг возвращаются к трудам. Полезное поднимается на поверхность. Уже пошли первые пузырьки. Песок на стройке мозолит глаза: погулял, и будет. Ну и пусть. Полоса песка вдоль тротуара — чем не побережье. Лужи еще теплые, ласковые. Ласков и дождь, когда он мочит загар.

Срывать смоквы, свисающие из-за чужой ограды, — из числа последних летних услад. Смоковница хорошо накапливает тепло. Листья-ладони у нее грубые и шершавые. Чем смоква неприглядней — морщинистая, желтущая, синюшная, — тем вкуснее она оказывается. Мякоть полна темно-золотистых зернышек, как клубничных, только крупнее. Черенок на месте разлома мажет чем-то молочным и клейким, от чего еще долгое время вспоминается руль новенького велосипеда. Ле-

тоизлияние, остановленное наложением резинки из школьного ранца. Строгий, но лакомый запах новой шины.

Многие растения выделяют в это время сок или же меняются на ощупь: грубеют или мягчают. Кожица стирается или покрывается колючками. Темнеет. Испещряется дырами. Открываются и закрываются какие-то клапаны: тончайшая отладка лючков и скважин, дрожь стрелок на датчиках — еще волнительней под микроскопом, на рубеже времен года.

На айве висят огромные ворсистые лимоны — плотные, увесистые. Поблескивают сквозь ворс. Нож с трудом режет их на четвертинки. Вокруг семян бугрятся почти костяные сгустки. При виде айвы мне всякий раз представляется кожа Франсуазы Саган — кожа старой бесшабашной девчонки, которая ставит босую ногу на сцепление и пускается в свою последнюю гонку, вечером, на излете сентября.

Форма

Аксельбант (1872): *какой бант?* Принадлежность парадной воинской формы или знак отличия в виде плетеного шнура с металлическими наконечниками, носится через плечо.

НЕТ, мы не прочли устав до конца — не одолели. Мы простодушно полагали, что заниматься музыкой означает разделять удовольствие с единомышленниками, где бы это ни происходило. Мы только что переехали. Наш сын Оскар отныне сам сможет ездить на репетиции в "Гармонию", оркестр при музыкальной школе, и нам не придется возить его на машине в другой городок, откуда мы переселились. И он по-прежнему будет играть на трубе.

— Следующий сбор состоится двенадцатого декабря, — кисло сказал голосок секретарской дочки.

— Сбор?

— Да. Концерт. Вы получите уведомление.

Рядом с часом на уведомлениях всегда проставлялись нули, как в расписании авиарейсов или на повестке в военкомат. Четырнадцать ноль ноль для двух часов пополудни. Уведомления равным образом сообщали, куда приводить своих чад на очередной *сбор*, приносить ли с собой сладости для чаепития и когда состоится следующее лото или лотерея. Они предлагали родителям заполнить с точностью до полу-

часа графы “свободен-занят” и всячески побуждали их поддержать ребенка своим присутствием.

— Мы ждем от вас сопричастности, — в пятнадцатилетнем голосе звучал апломб. — Когда оплатите платежное поручение, вам выдадут пять талонов на парадный концерт.

— Талонов?

— Ну да, которые вы обменяете в кассе на билеты. Разумеется, подойти нужно заранее.

— А концерт?..

— В марте.

Шло меж тем начало сентября. Талоны из плотного желтого картона перерезала пунктирная линия: оторвут — и останется в руках железный гребень. После репетиции какая-то дама сняла с Оскара мерки и неделю спустя выдала ему форму, заставив его расписаться на двух бланках. Ярко-синяя, как колпачок одноразовой ручки “Бик”, из добротного, в мельчайших прожилках шерстяного сукна форма была очень тяжелая. Брюки стояли колом: поставишь — не упадут. Полагавшийся к форме чехол *в случае порчи замене не подлежал.* На каждой пуговице под скрещенными лавровыми ветвями сияла золотом лира; узор повторялся на лацкане пиджака и на кепи с черным лаковым козырьком. На нагрудном кармашке был вышит герб города. *Щит, разбитый на червлень и лазурь, с лежащей поперек серебряной рыбой*[1]. Двухцветный галстук крепился на резинке, а сорочку из прочного хлопка, произведенного в городе Цвайзиммен, в немецкой Швейцарии, надлежало стира́ть при шестидесяти градусах.

— Остальное за ваш счет. Вашему сыну потребуется черный кожаный ремень, черные ботинки и в обязательном порядке черные же носки.

Каждую неделю в аккурат поперек дня, когда в школе учатся только до обеда, — сорок пять минут один на один с учителем, затем общая репетиция, иногда с антрактом, которая заканчивалась часов в восемь, а то и позже, по мере того как близился парадный концерт.

Я думала о летних вечерах в городке, откуда мы съехали, как мы входили в театр, где играл другой оркестр, как пробирались по лестнице на галерку, опаздывая, но никому не мешая, как терлись в темноте коленками, высекая улыбки, и как все успевали: рассмотреть лепнину, музыкантов, прикрыть глаза, вспоминая, что на улице изо дня в день набухают пионы и как славно мы сейчас поужинали.

1. Описывается герб швейцарского города Ньон, где живет писательница. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— Добро пожаловать, — сказал наш новый сосед. — Похоже, теперь у нас общий не только забор: наши дети играют в “Гармонии”.

Его дочка играла на поперечной флейте. Оскар заметил, что она как-то наособицу причесывалась: волосы завивались мягкими волнами, — остальные же девочки зализывали их назад и стягивали в хвост. Она носила кофточки в мелкий цветочек и пастельных тонов курточки, а себе ее мать выбирала одежду из одноцветной кожи и коротко стриглась. Летом вместо плетеных босоножек на каблуке или, боже упаси, сланцев с камешками посередине мамаши учеников носили устойчивые ботинки для горных прогулок с выдающейся спереди подошвой.

Однажды репетиция затянулась далеко за половину девятого. Многие из родителей, уже в пальто, безропотно ждали на задних рядах.

— Ваши дети еще не ели?

— Нет.

— А они еще успевают делать уроки?

Они вдруг выпрямились, точно кол проглотили, и воззрились на сцену — подальше от этой незнакомки, которая еще не усвоила негласного соглашения, не осознала, каких жертв требует этот концерт, как важен каждый винтик — стоять в пробках, радеть и бдеть, стряпать с утра ужин, — чтобы махина крутилась и все это синее слилось наконец в едином порыве. Они не ждали утешения. Жаловаться было бесполезно, некрасиво, бестактно. Дисциплина — пожалуй, единственное, что осталось от этих занятий и что оправдывало их в глазах родителей, — была им по душе. Тем, кто загружен, не до слюнтяйства. Кто занят, поглощен, увлечен до страсти — у тех не может болеть голова.

Но уж, наверное, руководитель похвалит своих подопечных, прежде чем откланяться.

— Всем доброй ночи, — обратился он к музыкантам. — Один совет. Готовьтесь к тому, что придется попотеть, серьезно вам говорю, иначе провал обеспечен.

Воспитание самураев. Преданность клану. Клану черных носков. Хочешь не хочешь — ты посвящен. Этим вечером. Оскар так утомился, что не стал ужинать и отправился прямиком в постель.

В этом клане отбрасывали все лишнее и стремились к совершенству. Мы были в полной растерянности. С одной стороны, как и другие родители, мы считали, что никогда не поздно сменить профиль учебы: “легко дается” не значит “плохо”, вопреки расхожему мнению. Мы полагали, что зани-

маться музыкой так же благотворно, как дышать, делать зарядку, лазать, плавать, что детям полезно общество других маленьких музыкантов, но мы решительно не одобряли строевой уклад, жесткий график, обязанности, когда их ставили превыше всего, превыше самой музыки. Амиши[1] XXI века — вот кем казались нам мамы-папы этих синих мундирчиков. Спартанцы, предпочитающие линолеум ковролину, спозаранку набивающие рюкзак — горы не ждут! — вместо того чтобы потягивать за столиком кофе, плетущий над чашкой свои терпкие арабески; любители вышколенных собак и окрашенных от греха деревянных фасадов.

Разглядят ли они прекрасный город за опрокинутыми помойками? Сумеют ли уловить дух старины, несмотря на тошнотворное амбре? Как поведут себя, если на задворках их садика ненароком сдвинут третий вазон?

Но мы не могли открыться Оскару, чтобы он не пал духом и не бросил занятия музыкой из-за наших домыслов.

Вспоминались летние вечера в нашем городке, где на каждом участнике инструментального ансамбля была простая черная футболка с вышитыми заглавными буквами, а боковые двери театра стояли настежь — сумерки, пионы, посыпанный щебнем дворик, притихшие улицы.

Здесь зрелище было куда эффектней. Семьдесят пять синих мундиров разили наповал. Синева бразильской бабочки морфо, золото до блеска надраенных труб — под стать идущему от эполета золотому шнуру, сиречь аксельбанту. Неотличимые друга от друга, что на сцене, что на концертных снимках, они сливались в одну торжественную синь, от которой у родных выступали на глазах слезы.

Иногда они играли в каком-нибудь парке, и тогда вокруг уютно похлопывали дверцы машин. Синее зарево подсказывало, что мы на верном пути. Оскар просил никому не говорить. Только бы не попасться на глаза школьным товарищам. Он подставил запястья, чтобы ему застегнули пуговицы, сам надел галстук и долго искал черные ботинки. Из братниных он уже вырос. Поздно красить в черный кроссовки, тем более что кроссовки воспрещались. Глупо покупать новые, чтобы каких-нибудь пару раз в год выйти на сцену. Отцовы больше напоминали матросские боты, но Оскар все же надел их и зашагал с нажимом на пятку, выворачивая смачные ломти зем-

1. Амиши — последователи радикального протестантского движения, основанного в конце XVII века священником из Швейцарии Якобом Амманом; ведут патриархальный, аскетичный образ жизни, стремятся к той или иной степени изоляции от неамишского общества.

ли. Он расправил плечи. Больше всего он походил сейчас на пилота, на заслуженного командира корабля, который летит в дальний рейс, но вернется, как только выполнит задание.

— Переоденься.

В кухне темно, но холодильник нараспашку. Босой, в рубашке поверх синих форменных брюк, как в пижаме, Оскар запрокинул голову и пил из горла. Но форме все было нипочем. Водворенный на плечики пиджак скульптурно топорщил грудь, словно нес в себе стать воображаемого атлета. Вместо лавров почетно золотился аксельбант.

Утром все покоилось в чехле, том самом, который *замене не подлежит.* Я потянула в сторону дверцу шкафа: убедиться, что все на месте, и забыть наконец о суммах штрафа, прописанных в бланке выдачи. *В случае порчи или чрезмерного износа комитет будет вынужден взыскать с участника: за пиджак 567 франков, за брюки 190 франков, за сорочку 90 франков, за фуражку 226 франков, за галстук 30 франков. С течением времени цены могут меняться.* Само собой, беречь как зеницу ока.

И все же. Репутация уже подмочена. Уже горит щека от пощечины штрафа: не влепили, так влепят, будьте покойны. Я представляла себе, как синие мундирчики взрывают петарды. На белый поплин капает кетчуп. Кто-то, сбросив рубашку, пьет из горла. Стеклышки на запретной ограде оставили прореху в брюках. В потасовке оторвался аксельбант, перепутались пиджаки.

Ученик *обязан содержать форму в безупречной чистоте.* Как при найме апартаментов: простыни в течение заезда не меняются, объявляют вам сразу, — и вы с первого дня чувствуете себя неряхами и стыдитесь, что грязи все прибывает. А не будь в контракте этого нехитрого предписания, вы сказочно отдохнули бы, не присматриваясь, не терзаясь, вдали от всех этих хозяйских забот.

В день концерта родители учеников загодя выстроились в очередь перед кассой, чтобы обменять талоны на билеты. Из полукруглого окошка в стене высовывались только руки: крот у входа в нору. Мамы-папы проходили и садились, кивая по сторонам со смесью гордости и удовлетворения — должно быть, нечто похожее испытывал в Англии XIX века сельский аристократ, проходя в церкви на свою законную скамью. Вы из наших. Мы среди своих. Долгожданная жатва.

Здравствуйте, здравствуйте.

Свет в зале погас, и осталось только синее с золотом. На сцену вышла русоволосая женщина в черной юбке и белой блузке — дирижер сломал руку. В девичестве мадемуазель ...ова, уточняла программка, она повернулась спиной и бойко взмах-

нула палочкой, превратившись на миг в обезьяну из мультика "Король джунглей". Деревья вокруг зашумели — прилив, отлив, — а бабочки замерцали, синие-синие. Пылали трубы, амиши ликовали. Затем на сцену в полной тишине взошли один за другим двенадцать барабанщиков. Мы цеплялись за хрупкий обломок скалы, сжимали камень алчно и трепетно. Этим камнем, этим обломком скалы было наше сердце. Барабанная дробь — виртуозная и надрывная, как сальто под куполом, — бросила нас, задохнувшихся от волнения, на краю бездны.

Этот вечер оставил по себе лучшие воспоминания. Бланк выдачи — худшие. Несмотря на то что концерт удался, Оскар только укрепился в намерении бросить музыкальную школу. Но не тут-то было.

— А если мой сын придет в красных носках, — спросила я у секретаря, — его исключат?

— Нет. Но если мы застанем его в форме с бокалом красного, тут уж без разговоров.

Оскар не согласился. Ни с бокалом, ни с целой бутылкой, чтобы уж падать, так падать. Пришлось отбывать повинность еще полгода. Ученик обязывался посещать занятия до конца срока. Форму надлежало вернуть до рождественских праздников. *Из соображений гигиены костюм, включая сорочку и фуражку, предварительно сдается в химчистку за счет участника.* Вам еще повезло: раньше запрос подавали за год. Президент "Гармонии" поблагодарил Оскара в письме *за все, что он сделал.* Вместе с Оскаром покидали ряды еще двое. Выбывавших назвали публично, перед всем оркестром. Как дезертиров перед строем юных солдат, уходящих на фронт.

Пиджак и брюки я отнесла в химчистку. Приемщица бережно отпорола аксельбант, шнурочек, как она выразилась, и я уже мучилась, как буду приделывать его обратно. Сорочку я постирала при шестидесяти градусах. Пиджак по-прежнему облегал чей-то мощный торс. Я сложила все в чехол — и с глаз долой, в укромную темноту шкафа.

Шкаф ожил.

Никаких следов. Уйти, оставив все как было. В сказках этим условиям следуют, чтобы спастись, не выдать себя, не обидеть духов земли. Обуревают чувства — а с виду тишь да гладь, будто и не было ничего. Ни следа пальцев на черной книге, ни волосков на синем пиджаке. Любить женщину, которая подкрадывается, как кошка, ступая бесшумно, всегда кстати являясь и исчезая.

Я вспомнила, как одна приятельница позвала меня разбирать материнский гардероб — мать умерла, и она собиралась раздать ее вещи знакомым. Я вспомнила, как хлынула на ме-

ня из шкафа чужая жизнь, все эти “случаи”, которые я лишь домысливала, не зная, почему пальцы, блуждая по плечикам в магазине, выбрали то или иное, эти вечера, таившиеся в черных, на каблуке, босоножках. Как подчас пугает и завораживает одна-единственная пара осиротелых перчаток. Как много — если не все — может сказать о душе, о характере человека изгиб пальцев этой самой перчаточной пары.

Утром я достала рубашку, убедилась, что воротничок отливает голубизной, и натянула поверх пленку, как делают в химчистке. Пиджак и брюки еще потяжелели. Кепи, именуемый фуражкой, тоже требовалось сдавать в химчистку, хотя за год с небольшим его надели всего однажды. Я начистила черный козырек, поворачивая его так и сяк, высматривая на глянце малейший след пальцев — так в богатых домах прислуга чистит дверной молоток. Или зеркало в ванной: вполне приличное, но глянешь сбоку и обомлеешь. Сияя козырьком, кепи отправился под пленку, где уже висел галстук без единой пылинки — долго орудовала щеткой. Я отвезла машину на мойку и прошлась пылесосом по салону, прежде чем водрузить чехол на заднее сиденье. У заведующей формой горели глаза — вот-вот облизнется, как кошка. Она приняла меня в подвальном этаже, под безжалостным неоновым светом, но сначала мне пришлось пройти через залу, обшитую по потолку коробками из-под яиц. Стены пестрели ценными указаниями: влажность такая-то, оптимальная акустика такая-то. Шкаф ломился от синих форм и кепи — это все, что осталось от бывших или еще не известных музыкантов.

Мне захотелось выскочить босиком под дождь, купить красные носки, достать из холодильника бутылку, какую попало, и выхлестать ее прямо из горла большими глотками.

Дайте настояться

СЛОВО “отвар” пахнет больницей, провинностью и зимой. Настой исходит паром, а залитые кипятком листья вдруг становятся яркими, южно-зелеными. Зеленей зелени. Точно тусклый голыш — смочишь, и он почернел, заблестел.

Фотограф извлекает из ванночки с проявителем прямоугольник бумаги. Здесь — наоборот. Веточку погружают в ковш, но затем ее выбросят, а воду оставят. Эссенция растения окрашивает жидкость. Лик Христа выступает на плате святой Вероники. Парфюмер связывает ароматы жирами. Нечто летучее сгущается. Малейшее ширится. Сухое обре-

тает вкус. Малина в тарелке пахнет недурно, но она заблагоухает, если сварить из нее варенье. Распáхнется так — соседей обдаст, а ей все мало. Замоченные два-три зернышка аниса переносят обычный рис на Ближний Восток. Одна крупинка разбухает, затмевает собой целое блюдо, поле, память о поле.

Capitulare de Villis — "Капитулярий о поместьях" — принял около 800 года Карл Великий, повелев своим подданным разводить у себя в садах 90 видов трав и растений, годных в пищу или живительных, лекарственных или священных. Анис делает непобедимым. Алтея заживляет шрамы. От укропа прибывает молоко. Розмарин защитит от чумы и проказы. Настурция прочищает дыхательные пути. Тмин сообщает коже белизну. Метелка огуречника в петлице убережет от бед. Зверобоя — от козней. Берегитесь. Не доверяйте слишком пространным спискам. И кумушкам-ворожеям, что ворочают ложкой в котелках и носа не кажут на солнце.

В рейнских краях молодые, чтобы скрепить навеки свою любовь, кладут перед сном в эльзасское или мозельское вино стебелек мелиссы. Наутро его достают и разламывают, а вино выпивают. У кого длинная часть в руке осталась, тому и быть в доме головой. Сколько косточек в померанце — столько родится детей. Некоторые делают стойку над самой ничтожной с виду травкой. Один пройдет не глядя. Другой наклонится и сорвет. В Боснии — мальву. Там из нее делают салат. В Греции, на Кипре, в Румынии базилик не добавляют в пищу. Он лежит под иконой, непременный участник свадебных и прощальных обрядов.

В рецептах, которые требуют времени, предписывая череду последовательных действий, куда больше прелести, чем в рецептах трудоемких. Эта мята, которую изволь трижды сменить, когда старые листья осклизнут, — сердечникам. Эти дынные семечки — обжарь, да в муку растолки, да залей, да сквозь тряпочку процеди, и снова, и снова. Копишь их понемногу, от раза к разу, ведь на литр этого арабского *бузурата* требуется кило семян. Чтобы приготовить sloe-gin, или терновку, — коронную наливку ирландской бабушки, мечтавшей пойти в лесничие, — погоди собирать, дождись заморозков, погоди вынимать — дождись, выбродит.

Что сохранить в памяти? Утешительный глоток теплого молока, настоянного на маковых головках, а то смешанного с кардамоном и миндалем: спите, глазоньки. Яичный желток, который соединяют с растением, приготовляя липовый гоголь-моголь. Бирюльку бадьяна — восьмиконечную звездочку, шелковистую, будто красное дерево. Развеселое словечко

веспетро (читай "пердцовка". — *М. Л.*), обозначающее аперитив на основе зеленого аниса, к которому для пущего ветрогонства прибавляют семена укропа и тмина. Прихотливость фиалки: сушить на тонкой бумаге и никаких жестянок, только дерево. Величие тимьяна, такого насущного и наипервейшего, что греки прозвали его thumos, запах; так Синатра пребудет Голосом, а Фэй Данауэй — Глазами[1].

Травы зовут нас в путь. В XVII столетии за ящик шалфея китайцы давали голландским торговцам два ящика своего лучшего чая. В разгар чумы в том же самом веке четыре марсельских вора избегли виселицы, признавшись, что спасались от заразы уксусом, настоянным на пряных травах. *Масала-чай* переносит вас в Индию, мятный — в Марракеш, кофе с подожженным коньяком — в Барселону, а canarino — всего-то лимонная стружка, брошенная в кипяток, — на Сицилию. Захотелось вам чаю с мятой — непременно веточку полыни и кедровых орешков, и возьмите лучше китайский ганпаудер. Вам по душе розовый — запишите себе, долина Дадес, в Марокко. Гибискус, пестреющий в наших садах, уроженец Китая, — цветок бесполезный, по крайней мере, на дне стакана, а вот из бледных, чуть тронутых розовым лепестков египетской разновидности делают *каркаде*. Из Ливана — забудьте вы о руинах — привезите благодать: белый кофе. Просто кипяток, лимонная цедра и кофейная ложечка флердоранжевой воды. Белый кофе под вечер — причал, штора, цезура. Вычтем лимон и флердоранж, и останется только чашка горячей воды, без ничего: как раз то, что спрашивает себе японец, как мы — минералку, в любом уголке Европы. Минута покоя, дымящаяся, прозрачная, очистительная.

Нет, писатель не извлекает эссенцию, суть. Он только фильтр, который распределяет и отбирает, отводит и копит, медлит, раздумывая. Он ужимает или доводит водой. Наконец, у писателя есть два пути. Из массы сведений извлечь один-единственный мотив, безделицу — искусство бедное и поразительное, когда бедность доведена до крайности. Впечатление умещается в двух строчках. Достало бы полей блокнота. Как Эрри де Луке[2], чтобы описать одного из своих ге-

1. Голос — прозвище американского певца Фрэнка Синатры (1915–1998). Фэй Данауэй — американская актриса, фирменная черта которой — огромные прозрачные глаза; многим запомнилась по кинокартине "Глаза Лауры Марс": на афише фильма в буквальном смысле светятся глаза Данауэй.
2. Эрри де Лука (р. 1950) — итальянский писатель, цитируется его роман "Монтедидио" (2003).

роев. Его морщины и веснушки приходят в движение, как море в дождь. Вот и все.

Путь второй — как раз дать настояться. Леониду Цыпкину хватило крошечного зернышка — имени *Достоевского*, — чтобы заполнить свой мир до краев и уйти в него с головой. Цыпкин выбрал лишь фрагмент его жизни: когда Достоевский в надежде, что рулетка избавит его от долгов, выехал со своей второй женой Анной из Санкт-Петербурга в Баден-Баден[1]. Только этот отрезок пути. Сам Цыпкин в Баден-Бадене не бывал. Ему не давали выезда — из-за сына, уехавшего в Америку в годы, когда ох как не стоило бы. Одно унижение за другим: от исследовательской работы и медицины его отстранили, зарплату урезали на три четверти. Но было это зернышко — имя Достоевского, этот сезам — поездка писателя, короткая, бурная, была эта Анна. Цыпкин настаивал свою мечту вечерами после работы, всю жизнь. Он бродил по Санкт-Петербургу и снимал на пленку дома, связанные с Достоевским и его героями. Лестница, улицы в снегу, двор, хмурый фасад. Фразы пускают почки, ветвятся. Каждая — начало пути. Во Франкфурте Анна удивляется деревцам, растущим вдоль Лангештрассе. Это белые акации. Мать Анны выплатила долги. Достоевский наполняет собой все ее существо, палуба уходит из-под ног, она любит его, цепляется за мачту, мачта выскальзывает, Анна плывет. Каждую ночь она заплывает далеко-далеко — теряется берег[2]. Цыпкин так и не увидел своей книги: она вышла в Штатах, а неделю спустя, ровно в день своего рождения — ему исполнилось пятьдесят шесть лет — автор скончался.

Плыть — значит отдаваться любви. Любви, уходящей за горизонт.

Тело парит в невесомости. Безбрежный замысел. Чтобы отдать любви все свое существо, не требуется кипятка. Из всех растений только вербена пахучая способна отдавать аромат холодной воде. Вода — одна из основ телесного благоденствия, и у каждого свой рецепт. Скарлетт Йохансон в "Трудностях перевода" Софии Копполы, следуя материнскому завету, трет лицо до блеска холодной водой. В одном де-

1. Речь идет о повести Леонида Цыпкина (1926–1982) "Лето в Бадене".
2. У Цыпкина акт любви представляется как "плавание влюбленных". Вторая яркая метафора в произведении — тоже водная: Анне, чувствующей, что она может потерять своего возлюбленного, чудится, что мачта — Федор — выскальзывает у нее из рук, и ее вот-вот смоет в море. Похоже, это эссе-размышление о настоях и травах, в свою очередь, настоялось на повести Цыпкина, где таким причудливым образом соотносятся вода и любовь.

тективном романе Питера Чейни[1] сыщик перед выходом из дому втирает себе в волосы туалетную воду. Исмаил Мерчант[2], продюсер Джеймса Айвори, готовит себе *ласси* с флердоранжевой водой. Прохладительный напиток родом из Индии, с иранскими и турецкими вариациями, одна из которых — соленая, на основе мяты. Если вкратце, то готовится он так: взять четыре йогурта без добавок, развести тремя стаканами воды, добавить три столовых ложки сахара и полстакана флердоранжа, хорошенько перемешать и на холод — пусть настаивается, чем дольше, тем лучше.

И такая накатит благодать, когда, пропитанный солнцем, войдешь в полумрак — за окном печет, ставни сомкнуты, — и йогурт с ложки побежит, сборясь и петляя, в родную стихию белыми, голубеющими лентами.

1. Питер Чейни (1896–1951) — английский писатель, один из основоположников классического английского детектива.
2. Исмаил Мерчант — американский продюсер индийского происхождения, составивший легендарный в истории кино творческий союз с американским кинорежиссером Джеймсом Айвори и британской, а затем американской писательницей и сценаристкой Рут Джабвала; кроме прочего, написал несколько книг об индийской кухне.

Анн-Лиз Гробети

Сдохни, мерзкая тварь. Нилли в ночи

Перевод с французского Марии Аннинской,
Михаила Яснова

Прозу Анн-Лиз Гробети [Anne-Lise Grobéty, 1949–2010] часто сравнивают с игрой на скрипке, так она музыкальна и притом неуловимо музыкальна: не сразу замечаешь все богатство аллитераций, ассонансов, внутренних рифм. Свой первый роман – "Умереть в феврале" ["Pour mourir en fevrier", 1969] – Гробети написала в 19 лет; исповедь девочки-подростка высоко оценила "гранд-дама" швейцарской литературы Коринна Бий. Последующие романы – "Ноль со знаком плюс" ["Zéro positif", 1975, премия Шиллера], "Безмерно больше" ["Infiniment plus", 1989] – развивают характерную для писательницы женскую тему.

Мать троих дочерей, Гробети не раз признавалась в своих интервью, что без этой счастливой помехи написала бы куда больше. За годы, что росли дети, появился лишь один сборник рассказов, отточенных, как стихотворения в прозе, – "Зимняя невеста" ["La fiancée d'hiver", 1984, премия Рамбера]; сюжет многих из них строится вокруг материнства.

© Bernard Campiche Editeur
© Мария Аннинская. Перевод, 2013
© Михаил Яснов. Перевод, 2013

Так, в рассказе "Сдохни, мерзкая тварь" звучат, перебивая друг друга, голоса дочери – больной девочки Алины, в чьем восприятии мир предстает странным и поэтичным, – и матери, мечтающей "сплавить" дочь в какую-нибудь лечебницу.

Продолжает "семейную" тему в подборке "Нилли в ночи" – остроумное упражнение в стиле на тему храпа.

Среди произведений писательницы: роман "Струна ми" ["La corde de mi", 2006], роман для юношества "Пора слов вполголоса" ["Le Temps des Mots à Voix basse", 2001, премия Сент-Экзюпери] и др. Творчество Гробети отмечено самой престижной в Швейцарии литературной наградой – Большой премией Рамю.

Переводы выполнены по изданиям "Зимняя невеста" ["La fiancée d'hiver". Bernard Campiche Editeur, 2011] и "Отметины Прекрасной дамы" ["Belle dame qui mord". Bernard Campiche Editeur, 1992].

Сдохни, мерзкая тварь

ОНА говорит:

невозможно ни на минуту оставить ее одну, просто с ума сойти, ни на минуту, представляешь, нужно, чтобы кто-нибудь обязательно был рядом и следил за ней, никогда не знаешь, что ей в голову придет... когда выходим, нельзя отпустить ее руку, надо держать крепко-крепко, Мишель, а она вцепляется в меня вот так, как будто... даже руку больно, так цепляется

она говорит:

и так странно смотрит иногда, такой взгляд, что страшно делается

она говорит:

Мишель наводит справки, надо бы поместить ее в лечебницу, вот только в какую? Это же не так просто, в лечебницах мало мест, и потом, нельзя же все равно в какую, но это единственный вариант... знаете ли, я больше не могу, сколько времени это уже длится, я просто сойду с ума, она так вцепляется, что у меня остаются следы, да-да, следы, даже страшно себе представить... она, когда была еще малюткой, уже вцеплялась в меня, точно щипцами, словно боялась, что я ее оставлю... в городе я не могу отпустить ее руку, если я ее отпускаю, она начинает кружиться, и все кружится, кружится... просто ужас какой-то, как собачонка за своим хвостом, а люди, разумеется, смотрят искоса, нет, я просто с ума сойду...

* * *

Она говорит:

...и все кружится, кружится и смотрит в землю, вот так, а круги все уже и уже, пока не упадет, и меня она уже не видит, и ничего вокруг себя не слышит, ты даже представить себе не можешь, как это на меня действует, когда она вот так кружится, с тобой она так себя не ведет

она говорит, а он смотрит на нее и вслушивается в ее слова

* * *

Она говорит женщине в зеленом, от которой пахнет пустыми комодными ящиками и вербеной, женщине по другую сторону стола:

иногда несколько дней подряд все в порядке, ничего такого не происходит, две недели все хорошо, она тиха и послушна, сидит спокойно в своем углу, между двумя дверьми, и читает, и смотрит, как мы ходим мимо, и не кричит, а сидит себе тихо, совсем как нормальная, я хочу сказать

она говорит не для этой, для другой стороны стола, копна ее волос подрагивает над спинкой стула, в ней таится аромат корицы... она продолжает говорить, шевелюра подается вперед, потом возвращается назад и зависает над спинкой стула, вот она склонилась вправо, вся Карина теперь – только эта ветроподобная косматая грива, густозаросшая долина, да еще унизанные кольцами руки, они воздеты кверху и прыгают, точно марионетки, по обе стороны шевелюры древесно-терракотового цвета... эти кольца-кольца-кольца, тесные железные обручи, только им дано пленять пальцы Карины, обвиваться вкруг ее пальцев, стискивать их мертвой хваткой, совсем не оставляя зазора между кольцом и пальцем... только кольца могут обнимать пальцы Карины... я сама не кольцо – кольца появляются ночью, и смыкаются вокруг меня, и не дают мне сдвинуться с места, не дают приблизиться к ней, эти кольца меня сжимают, так что я не могу шевельнуться, и даже дышу с трудом... кольца, унизывающие пальцы, разъедают плоть подобно кислоте... синий свет, синева на моих пальцах, золотое кольцо, впивающееся в плоть... кольца вертятся на пальцах, пока не прорежут кожу, пока не распилят пальцы... вот зеленый перстень, вот коричневый змеевик... а от черных колец пальцы пухнут и горят, как от раскаленного железа... расплавить железо в плоть, пальцы с металлом, никогда больше кольца не разомкнутся, спаянные, – закричала.

* * *

Карина говорит женщине рыхлой и дородной в шляпе вазоподобной:

а потом, ни с того ни с сего, она принимается кричать, и никогда не знаешь, почему она кричит, и вынести это невозможно...

они пьют чай-отраву, медный, застывший в чашках, на тарелках белое пирожное, ее рука опускается к тарелке и взлетает, неся ношу, а потом начинает все сызнова, опускается и взлетает, пикирует на тарелку, пальцы подцепляют бисквит, рука поднимается ко рту и там замирает, мертвея

* * *

Мишель, уверяю тебя, это ужасно, меня не покидает чувство, что она за мной следит, затаится под дверью и наблюдает, подглядывает, поджидает меня в закоулках, это просто невыносимо, невыносимо

Карина, ну что ты говоришь?

Уверяю тебя, это так, она все время за мной подсматривает, я не выдумываю, нет, сегодня утром вот опять, я сидела писала письмо, а она притаилась за дверью, на корточках, я уверена, а на днях, вечером, когда я вернулась после концерта, она сидела на лестнице и поджидала меня, в пижаме

надеюсь, она не очень долго там сидела!

я от этого с ума схожу, не знаю, что я такого ей сделала... а тут, в субботу, я была в саду с четой Бо, а она вдруг бросилась на дерево и принялась стискивать его изо всех сил, ты видел, какие у нее остались отметины, Мишель?

они сидят визави, она – прямая, с белой как мел кожей, он – весь шероховатый, с глубокими впадинами и бороздами на щеках, на ней – платье из льна, что растет в полях

* * *

Месье Бо сидит в кресле Мишеля и курит "блостеры", на нем светлый с пурпуром пиджак, он улыбается, лицо точно покрыто воском, в ушах тоже воск; она говорит своим обычным голосом, будто тростник шелестит над водой; меня никто не слышит, я – всего лишь маленький круглый глазок, проделанный в стене. Она говорит:

да-да, после концерта – все время наше

мое ухо прижато к стене, оно скользит вдоль стены, подбирается к незакрытой двери, приникает

* * *

Карина наклоняется, кладет блузку на табурет, скидывает домашние туфли, отодвигает их мыском ноги, выпрямляется, трогает воду кончиками пальцев, пена разлетается по ванной, взлетает к потолку; она продолжает раздеваться, будто для кого-то, ее грудь выпрыгивает наружу; она отворачивается, глазам предстают две раковины – ягодицы; ее тело похоже на палочку коричневой корицы с двумя изгибами – груди и ягодиц; она погружается в ванну, покрывается рыжей пеной, пузырьки лопаются от соприкосновения с ее

кожей; из пены выступает только ее голова с закрытыми глазами; мои ноздри ловят запах рыжей пены сквозь замочную скважину

* * *

Нет, ты не понимаешь, я вовсе не хочу от нее избавиться, просто она путается весь день у меня под ногами, шпионит, ходит за мной повсюду, как собачонка... Эдит занимается ею, насколько это в ее силах, но лучше, наверное, поручить ее кому-нибудь другому, у кого это лучше будет получаться... тебе-то что, Мишель, ты часто в отъезде, вот я — другое дело, меня это выводит из равновесия, надо что-нибудь придумать... Вот недавно, в субботу, когда месье и мадам Бо гуляли по саду, она ни с того ни с сего бросилась обнимать ствол груши, да так, что до крови... я больше не могу это выносить... а ее рисунки, ты видел ее рисунки?

* * *

Месье Бо всегда приходит один

пространство листа каляки-маляки

он садится на место Мишеля

карандаш кружит, кружит

они курят его сигареты, дым змеится, закручивается в спирали, скрывает, меняет медленно их черты

круги-улитки, линия должна быть плавной, не отрывая карандаша от бумаги, все сплетается одно с другим, ничто не должно обрываться в пустоту, закрученные круги-спирали, никогда не разомкнутся, никогда не сомкнутся друг с другом

он говорит ей что-то и тянет к ней бокал, по стеклу стекает зеленое, оно дрожит и пенится за стеклом, бокал тянется вперед, затем возвращается назад, снова тянется к ней

кокон раковина-ракушка: слизь на песке

тошнотворно-зеленая жидкость стекает к краю стакана, затекает в его рот, отвратительный, гадкий рот, весь в квадратиках, в горошинах, он улыбается скользкой улыбкой, Карина тоже улыбается, ее улыбка как ползучий плющ, она говорит: после концерта никто не помешает, ее губы расплющиваются как волны о край мутного стакана, кружат круги-улитки, скручиваются в комочек внутри раковины-ракушки, под ракушкой жирно-склизко, он садится с ней рядом, стакан к столу прилипает, производя звук молотка

она протягивает к нему руку

спираль замирает, замирает

они держат друг друга за руки, держат за руки, зачем, зачем эта связь, надо убить улиток, улитки – свидетельницы, сообщницы, уничтожить улиток, острый карандаш колет, острое острие

колет

сдохни, мерзкая тварь
сдохни, мерзкая тварь
сдохни, мерзкая тварь
сдохни, мерзкая тварь...

* * *

Ее тело продавило себе норку в подушках, подушки хотят поглотить ее тело, обволакивают его запахом перьев и бархата, колечки кудрей прыгают, змеятся по подушкам, на ней танцевальное платье, под которым круглятся выпуклости тела, изгибы, извивы, склоны, возвышенности – тело-дрема, ребро носа, выпуклость скул, – скорлупа гладкого ореха, миндальные скорлупки опущенных век, сфера живота, полушария грудей, холмы бедер, округлости коленей, гарпуны открытых глаз... подобраться поближе к ее плечу, вдыхать запах розмарина и карри

Алина, пойди поиграй, пойди почитай, пойди погуляй по саду, пойди посмотри на воду в водоеме, оставь меня в покое

не уходить, крепко держаться за нее, стать продолжением ее тела, одним целым, как пруд и прутья тростника, не выпускать тростник ее волос, тянуть его, тянуть к воде

Алина, будь славной девочкой, отпусти мои волосы, ты портишь мне прическу

у меня на руках, у меня на лице кружение-струение темного дыма, перед глазами черное кружево, нырнуть в ее волосы, как в тоннель, целиком, зажмуриться от ее тепла, от запаха коры, ничего больше не слышать в этом мареве, в этой черноте

Алина, прекрати, ты мне делаешь больно, будь послушной девочкой

А вот удар вилами, пальцы запутались в паутине волос, в крючьях серег, они цепляются за мои руки-крюки, затягивают меня в черноту, в пустоту, зубы сомкнуты в замок, пауки в подвале

ты совсем с ума сошла, оставь меня немедленно!

упала на ковер, зарылась в ворс, он схватил меня и держит крепко, он кусает мне лоб, щеки, лезет в рот, начинает кусать язык – закричала.

* * *

Уверяю тебя, Мишель, я не придумываю, все так и есть, она все время шпионит за мной, даже когда я в ванной, я слышу, как она шуршит под дверью, ты не можешь себе вообразить, с тобой она ведет себя нормально, я же вижу, но я-то, что я ей сделала?.. на днях, к примеру, она вцепилась мне в волосы и не хотела отпускать, она не в своем уме, надо поместить ее в лечебницу, я знаю, ужасно так говорить, но я не хочу, чтобы она жила дома... а эта история с пиджаком, когда у нас был месье Бо, к тому же я

не могу больше брать ее с собой в город, я просто сойду с ума... даже Эдит становится страшно, не потому что с ней она ведет себя странно, нет, с ней она послушна, но Эдит видит, как она ведет себя со мной... вот и месье Бо говорит, что ее надобно поместить в пансионат, что там ею будут заниматься, постоянно под присмотром, к тому же у нее, возможно, появятся друзья

но она же не сумасшедшая

нет, это я так, просто я не знаю, как сказать, ты должен меня понять

она сидит рядом с ним, прильнула к нему, ее смуглая рука, затянутая в белую перчатку, лежит на его руке, она говорит с ним совсем тихо и сладко, точно карамельки во рту держит, приклеивает эти карамельки ему на лицо, на щеки, на бороду, на волосы, в которых уже виднеется серая солома, а в чашках чернеет черный кофевар, кофе-варево, но про него забыли, на ней платье из льна, что гниет в полях и полег под дождем и ветром

* * *

Она говорит:

к тому же в городе, стоит мне отпустить ее руку, она начинает вертеться волчком посреди тротуара... бывают, правда, периоды, когда этого не происходит, она много читает, но почти не разговаривает, в особенности со мной, не отвечает, когда я с ней говорю, только смотрит, а потом иногда вдруг начинает кричать, будто, будто... будто ее бьют, но я ни разу ее пальцем не тронула, уверяю вас... мой муж настаивает, чтобы она жила с нами, другое дело, что по работе он часто и подолгу отсутствует, хотя, когда он дома, надо признать, она намного спокойней, он знает к ней подход, но вы должны посмотреть на ее рисунки, целые листы, изрисованные улитками, а потом она берет острый карандаш и начинает их колоть, и приговаривает: сдохни, мерзкая тварь...

круглый живот пирога хрустит под ее зубами, огонь скребет когтями комнату, они пьют травяной чай, коричневый, как сад, роняющий лоскутья, похожие на старые коричневые фотографии, фотографии старых бабушек Карины

* * *

Она говорит ему, почти приникнув к нему, глядя куда-то вперед, прямо перед собой, в сторону города:

не нравится мне вся эта ложь, лгать, чтобы он ни о чем не догадался, городить незнамо что, порой мне невмоготу...

и кольцо ее вспыхивает в последний раз на солнце и гаснет в тени земли вместе с другими кольцами, земля фонтаном бьет из-под моей ноги и глотает кольцо Карины

* * *

Месье Бо снял свой замечательный светлый пиджак без карманов и повесил на спинку стула, он говорит, рубашка на шее расстегнута, его руки отрываются от стола, летают туда-сюда перед ним, перед ней, сад покрыт кракелюрами полуденных теней, она вся – спина и смех, плечи обнажены, по ним гуляет солнце, проглядывая сквозь ветви, и рисует тропинки, по которым месье Бо хотел бы пробежать своими губчатыми губами, и ее смех, разъеденный кристаллами соли, падает на цветы, на висячие вишни, на сочную спелую малину у меня в ладонях, смех колышет кончики люпинов, пушистую траву, щекочущую мне лоб, этот смех нестерпимо жарок… встаю, бросаюсь к дереву, сжимаю ладони… ее жаркий смех, обращенный к нему… я хочу спрятаться под деревом, на котором висят тяжелые груши, я хочу под ним заснуть… но дерево падает прямо на меня, царапает меня своими ветками… иду к ним

Алина, что у тебя в руках, что ты смеешься, ступай вымой руки, лучше бы ты съела эту малину, чем давить ее руками

смеюсь, потому что светлый пиджак висит на стуле, как мертвый, а на спине у него – кровавое пятно

* * *

Она сказала мне:

пошли, Алина, дай мне руку, хорошо, мы не пойдем сегодня к месье Бо, мы вернемся домой, да не крутись же ты так, на тебя люди смотрят, все на тебя смотрят, ну хорошо, пойдем в другой раз

она берет меня за руку, сжатую в комок, в клубок, опущенную вниз, хочет разжать мои пальцы, мой кулак-кокон, вложить в него свою холодную ладонь, мертвую ладонь, и из моей руки начинают выпадать штучки, которые в ней были зажаты, как снег, как пыль, они сыплются на мои мокрые туфли, которые кружатся, кружатся по тротуару вокруг моих ног и никак не могут друг друга догнать, отдельные части меня…

* * *

Послушай, Алина, может быть, ты все же снимешь пальто? Когда мама тебя заберет, тебе будет холодно на улице, если ты в помещении будешь сидеть в пальто. Может быть, присядешь? Надо сесть…

Месье Бо клонится всегда в одну и ту же сторону, как и его пиджак, туда, где у него правый глаз, который и проткнуть-то нельзя, потому что он бездонный, а вокруг рта у него – следы слов, которые он произносит, как царапины, а в левом глазу у него отражается, тает глаз Карины

* * *

Послушай, доешь скорее свое мороженое, оно течет у меня по руке, все липкое, отпусти меня

ее босые ноги в сандалиях направляются прочь, они уже нацелились куда-то, поворачиваются и идут – известно куда, куда собирались... стучат, как бубны, которые суют мне в руки, чтобы я держала и била в них, – такие полупрозрачные круглые штуки, сквозь них видны мои пальцы, как карамельки... карамелька вертится-кувыркается на языке – мяч по лугу, круглый кувыркучий, бесконечно-круглый... волчки моих ног, ветер кружит вокруг, не выпускает за круг, как в круглом стеклянном аквариуме, нога догоняет ногу, ей некуда деться, все равно всё по кругу, по кругу, как кольцо вокруг пальца-башни, кружит-кружит и пилит-пилит... земля под ногами, перед глазами, вертится, как белый флюгер на крыше, серые ноги-лианы, вылезают из-под земли, карабкаются по моим ногам, не пускают их –

упала, не закричала

* * *

Сегодня днем она рисовала круги, почти совершенные, и только один, внизу, с буграми, будто с кружевами, если угодно, а когда у нее спросили, что это такое, она сказала: Карина...

* * *

Под высокими цветами раковины улиток, которые то ли спят, то ли подглядывают, поджидают, затаясь, вот вам салат для них, вот борозда на песке... она смеется так громко, что смех долетает до меня, щекочет кожу, и я покачиваюсь, как парус, пчелы и мухи тоже жужжат, как ее смех... они сидят у дома, отсюда не видно, на Карине огненное платье, в котором она будто из-под земли растет... мне нравится трогать эти улиточьи раковины, выкладывать их в ряд одна к другой, но мне надо их видеть, и я иду к дереву, оттуда мне будет видно, как они смеются и пьют из длинных бокалов, белых и холодных, как куски льда, за стволом меня не видно, под ногтями бугристая кора, а их руки, их руки сплетены, и головы приникли одна к другой, и руки, и головы, и волосы, их волосы перепутались друг с другом, рука скользит по сильной горячей спине... тоже тебя держать, снова, еще, лысая бугристая кора, пой, пой под моими ладонями, толстые шероховатые складки цепляются за меня, не хотят отпускать, проникнуть в них, спрятаться, зарыться на веки вечные в этих корявых бороздах, тут есть одна для меня, слиться с этим стволом, не возвращаться назад, проникнуть в него, скрести ногтями, грызть, сжимать, стискивать, обнимать, тереться... ствол жесткий, корявый, холодный, он рвет мертвую кожу, я – на куски, держать крепко, красная, горячая трава

она поранилась?

горячее, струится, везде

у нее кровь из носа и на запястьях

так глубоко ушла корнями в землю, что корни пьют кровь земли, они так глубоко в земле, мне никогда, никогда до них не достать...

* * *

Она говорит, белый телефон, мертвое лицо:

возможно, я недостаточно заботливая мать, что верно, то верно, у меня есть определенные занятия, есть свои дела, но, по правде, я всегда вела себя с ней, как считаю правильным, странной она стала к четырем годам, может быть, чуть раньше, сейчас не скажу точно, вы сами посмотрите в истории болезни... Да, месье Бо, психиатр, тоже считает, что ее следует от меня отдалить, у нее ко мне очень странное, очень нервное отношение, так говорят врачи, а он вам рассказывал про ее рисунки?

ее голос струится, стелется, растекается по стенам, обволакивает мебель, добирается до меня, притаившейся за дверью, щекочет мне затылок, этот тихий голос заползает в вазы, наполняет их, лижет рамы картин, дверцы шкафов, поднимается, спускается, ищет мое ухо и, найдя, устраивается в нем, как в норке

* * *

Карина распахивает шкаф, раскрывает чемодан, собирает по комнате вещи, действует уверенно, стремительно, это женщина-пират, ее черные глаза шарят по шкафу, она срывает с вешалок платья – зеленое, клетчатое, коричневую бархатную юбку, бросает их на кровать, складывает своими сухими, властными руками – пижамы, пальто, трусы, рубашки, джинсы – мягкая темно-синяя ткань... окно закрыто, Карина прихлопывает сложенные вещи, уминает их в чемодан, набивает чемоданное брюхо... в саду ветер треплет кусты, дождь лупит по цветам, те клонят головки, сникают, умирают... Карина хватает сумку, бросает в нее мертвые вещи, носовые платки, карандаши, книжки, поделки... вода в водоеме покрыта клейкими черными чешуйками, листья-рыбы, отравились и сдохли... Карина уже на лестнице

пойдем, Алина

Карина толкает дверь, дверь распахивается в потемневший сад, он весь растрескался, как старая фотография, разлетается в клочья, Карина запирает дверь, крыльцо все проржавело, на ступеньках раздавленные листья – дохлые твари –

ты... мне... молчать

Перевод Марии Аннинской

Нилли в ночи

ОКНО в ночи, Нилли, с широко распахнутыми ставнями — ты засыпаешь, а они тянутся к тебе и зовут за собою ринуться в бездну грез и пуститься в беззвучный ночной полет сквозь гербарий сновидений, в котором засушены звезды.

И покуда ты ждешь, распростертая и доверчивая, ждешь этот трепет осин в теплом полумраке, озноб ночных сверчков, вялые взмахи совиных крыл, поскребывание мыши, шуршание ежа и даже это несдержанное, навязчивое и резкое жужжание насекомых — милые шумы и шелесты, почти человеческие, — покуда ты ждешь прикосновения неспешного сна, внезапно этот леденящий удар сотрясает течение ночи...
В расщелине носа
скрип тяжелых сапог,
клокотание глубокой горловины,
где вода цепляется за скалы,
и, вывернувшись наизнанку,
вновь начинает за них цепляться
в обратном направлении,
тот же поток, обращенный вперед,
и снова назад,
и возврат — как бывало в детстве: по кочкам, по кочкам...

И вот, Нилли, из этой неги летней ночи с кожей тонкой, как кожица сливы, тебя бесцеремонно вышвыривают на дно мглистого канала, где голос сирен становится гласом сифонной трубы.

Когда ты, расслабленная, движешься ко сну, когда ты тихонько и коротко дышишь, когда ты уже растворилась в блаженстве и небытии, а твое тело, едва покачиваясь, нежится в сладостной купели цветов и образов, —

вот он, ледяной удар первого всхрапа!

Это похоже на то, будто вы всей душой отдаетесь ароматам изысканного блюда, и тут ваш сосед без зазрения совести громко пускает ветры вам прямо в лицо — да, именно так! Чутко смеженные веки судорожно морщатся и наконец распахиваются, открывая испуганные глаза: ваша любовь — твоя любовь, Нилли! — стремительно срывается с места, взлетает в ночь, с разверстыми ноздрями бродит вокруг да около в своем сновидении и снова сникает, подхваченная мощным рангоутом храпа,

хрипы смешиваются
и перемешиваются
с теплым воздухом ночи.

Хрипы, жирные печальные насекомые с дырчатыми крыльями, сталкиваются и беспорядочно теснятся в носовых жерлах, теряют направление, натыкаются, ударяются, словно нанизывая жуткое жемчужное ожерелье,
налезая друг на друга,
толкаясь, карабкаясь неведомо куда,
на стены с глициниями, на склоны ущелья,
на уши подушки,
скользя по зеркалу, по ребру полумесяца, разлетаясь вдребезги по всей комнате от пола до потолка, врассыпную проникая в самые укромные уголки твоей постели, Нилли.

...Повернуться спиной, оглохнуть, утратить обоняние, охрипнуть, выдыхая в темноту: я тебя задушу! Нападающий, идущий на штурм, отступающий и снова идущий. Воздушный шар, продырявленный сипением. Стадо свиней, погрязшее в стойле постели...

И будь это еще надежное построение! Равномерно округлая сфера, в которой можно укрыться; павана, менуэт; хоть какой-нибудь ритмический рисунок, которому можно вверить-ся. Но нет! Никогда не знаешь, с какой ноги начать плясать этот храповяк.

Порой это танец на лестнице — наклоняться вперед, одновременно цепляясь за перила, и вдруг спохватываться, на какой ты ступеньке; никакой последовательности, только порыв
и разрыв —
и возвращаться невпопад, неважно как, колеблясь, без определенного стиля — ни полька, ни ява.

Порой это заминка — в нерешительности, без предупреждения, на восьмушку, вздох — так где мы остановились?.. Храпун умер? Ты ловишь себя — это оскорбительно — на тревоге, ты ждешь продолжения, как биения сердца, — это удручающе...

Порой это бесконечные хриплые рулады, смутно напоминающие финал одной из песен Далиды, мамма миа! Ты старательно считаешь, пытаешься обнаружить какое-то подобие ритма, но два-три такта — и все рушится. Безобразная, беспорядочная, неуклюжая, тяжелая медвежья пляска, пляска смерти...

Сколько женских ночей, Нилли, исковерканы храпом? Сколько женских жизней разбито о камни храпа? Сколько было возлюбленных, попавших в ловушки храпа, поджаренных в масле храпа, встающих с отрыжкою храпа?

О, эти миллиарды литров храпа, прорывающего плотины горла, заливающего спальни, сносящего все на своем пути и топящего ваши сновидения — твои, Нилли, и тех, других, что уже так давно далеки, так давно далеки от тебя, Нилли!

Перевод Михаила Яснова

Моник Швиттер

А если снег, у крокодила...

Перевод с немецкого Марии Зоркой

Моник Швиттер [Monique Schwitter] родилась в Цюрихе в 1972 году. С 1993-го по 1997 год училась режиссуре и актерскому мастерству в Зальцбурге, после чего работала актрисой в Цюрихе, Франкфурте, Граце и Гамбурге. С 2005 по 2010 годы вела и готовила литературные радиопередачи, посвященные Петеру Хандке, Эрнсту Яндлю, Раймону Кено, Саре Кейн и другим. Ее рассказы впервые появились в печати в 2002 году. Первый сборник "А если снег, у крокодила..." ["Wenn's schneit beim Krokodil"] вышел в 2005 году. За него Швиттер была удостоена премии Роберта Вальзера и поощрительной премии Шиллеровского общества. В 2009 году вышел первый роман "Уши без век" ["Die Ohren haben keine Lider"]. А в 2011-м – второй сборник рассказов "Память золотой рыбки" ["Goldfischgedächtnis"], который писательница в конце прошлого года представляла на московской книжной ярмарке "non/fiction". Русский перевод этого сборника, над которым работали участники специального переводческого семинара, готовится к печати в издательстве "Текст".

Перевод выполнен по изданию "Wenn's schneit beim Krokodil" [Droshl, 2005].

Monique Schwitter Wenn's schneit beim Krokodil. Aus: Monique Schwitter Wenn's schneit beim Krokodil. © Literaturverlag Droschl Graz – Wien 2005
© Мария Зоркая. Перевод, 2013

КОГДА-ТО я была влюблена и часто ходила в зоопарк. Мне нравилось ходить в зоопарк с тем, в кого я была влюблена.

Увидим павиана — показываем пальцем на его красный зад и смеемся. Увидим, как горилла зевает, — и смеемся. Покупаем попкорн для зверей, лопаем его сами — и смеемся. В ламу плюемся, жирафу показываем язык и тоже смеемся. Мне нравилось ходить с ним в зоопарк. С ним я бы куда угодно пошла. Даже в музей гильдии мясников или на выставку лесопильного оборудования, даже в дом, где родился Моцарт. Или в ортопедический научно-исследовательский центр. Или в музей монет Немецкого банка, в дом-музей Гёте, в кабинет восковых фигур. В музеи: бункера, кладбища, пряностей, детского творчества, таможни, кораблей в бутылках, портовых складов. С ним я пошла бы даже на экуменическую церковную ярмарку.

Но это было где-то и когда-то. Другие города, другие времена.

Не люблю зоопарки и питомники. Не люблю зоологические сады.

— Тебе пришло письмо, — сообщила мне по телефону мама.

— Открывай! — велела я.

Она не поверила:

— Я ведь не знаю, что там в конверте да от кого...

— Вот именно, — ответила я раздраженно. — Вот именно поэтому — открывай.

— Не знаю, не знаю... — повторила мама, но в трубке зашуршало.

Молчание.

— Ну? — резко спросила я.

Молчание.

— Алло, ты меня слышишь!? — закричала я в телефон. — Ты слышишь меня?

— "Я точно приду. Зоопарк, первое января, девять утра, у верблюда. А если снег, у крокодила".

— А дальше что? — спросила я.

— А дальше ничего, — ответила мама. — Ты приедешь на Рождество?

В зоопарке моего родного города я была лишь однажды, в возрасте девяти лет. Однажды — и не по своей воле.

Экскурсия оказалась незабываемой.

У меня за спиной клетчатый рюкзак, как у всех детей. Мама дала мне с собой бутерброды и чай, цветные карандаши и бумагу, как все мамы.

На входе в зоопарк учительница (помню ее глубокую вертикальную морщину посреди лба) пересчитывала нас по головам.

— Не крутимся, стоим смирно, смотрим на меня! — скомандовала она и принялась считать нас по головам.

Маттиас спрятался у меня за спиной. Маттиас, крошечный Маттиас. Он мне нравился. О, как я хотела, чтобы Бог помог ему вырасти. О, как я хотела, чтобы Бог помог мне больше не расти. “Для нас с Маттиасом это единственный шанс”, — снова и снова, каждый вечер объясняла я Богу.

Маттиас сзади вцепился в капюшон моей красной куртки. Изо всех сил старался, чтобы я повалилась наземь. А я старалась встать навытяжку. Хотела, чтобы и меня пересчитали.

Маттиас тянул и дергал мой капюшон. Обернуться я не осмелилась.

— Смотрим на меня! — командовала учительница.

— Прекрати! — сказала я Маттиасу.

А он дергает все сильнее и сильнее. Ребята уже посмеиваются.

— Давай, вали ее! — подначивает Томас. Противный Томас с брекетами.

— Прекрати, пожалуйста, — тихо взмолилась я.

Маттиас, вцепившись обеими руками в капюшон, повис на нем всем своим весом. Меня качнуло назад. Я упала.

— Вот дура-то, — только и сказал Маттиас, вскочив на ноги. И засмеялся со всеми вместе.

Учительница произнесла мое имя. Язвительно, как только могла.

— Вставай, — приказала она. — Это я возьму на заметку.

А морщина на лбу у нее глубокая и прямая, как разрез.

На Маттиаса я не разозлилась. Я возненавидела училку. Так бы и шарахнула ей по голове тем камнем, который лежит у входа. Огромный камень, настоящий валун. На этом камне, как на скамейке, уместились бы две взрослые задницы, может, и впритык друг к другу, но точно бы уместились. Вот жаль, что так велик этот камень.

Я возненавидела учительницу. До того возненавидела, что слезы брызнули из глаз.

“Песенка твоя спета!” — сказала я про себя. Так говорили мальчишки из нашего класса, когда собирались влепить нам, девчонкам.

“Спета твоя песенка!” Я оглянулась в поисках подходящего камня поменьше, которым могла бы врезать ей, училке, прямо по башке.

Вот уже одиннадцать дней, как я дома, я провожу в родном городе рождественские каникулы.

Одиннадцать дней назад, 21 декабря — это начало зимы и самый темный день в году — я подошла ко входу в зоопарк и спросила в кассе, сколько стоит билет.

— Билет для взрослых на весь день стоит двадцать два франка, — ответила кассирша.

— А крокодил у вас есть? — поинтересовалась я.

Кассирша сунула мне проспект:

— Вот, смотрите.

— И верблюд у вас тоже есть? — продолжала расспрашивать я, взяв проспект.

А кассирша:

— Вы пойдете в зоопарк или нет?

— Наверное, не пойду, — ответила я.

Большого камня у входа теперь нет. Развернув проспект, я примостилась на ступеньках возле кассы. А ступеньки холодные.

Десять дней назад я сидела утром в ресторане напротив зоопарка и пересчитывала людей, которые покупали билеты в кассе и шли к входу. Четырнадцать. С девяти утра, когда открывается зоопарк, — четырнадцать. Четырнадцать человек, ни одного не знаю. И ни один не похож на знакомых мне когда-то людей.

Передо мной на столе газета, региональный раздел. В кармане куртки проспект и двадцать два франка. Если заплатить за кофе, то на входной билет не хватит.

Крокодил у них есть. И верблюд тоже есть, это я теперь точно знаю. Проспект я внимательно изучила. Уже восемнадцать посетителей. Но знакомых вроде бы нет. Смотрю на часы. Половина десятого. Разворачиваю газету. Читаю: “Стремление к высотам не отвечает национальным представлениям о норме”.

Девять дней назад я мерзла у входа, ожидая кассиршу. В кармане проспект и двадцать два франка.

“Тогда была весна”, — вспомнилось мне.

Как увидела то место, где лежал огромный камень, так сразу и вспомнила: тогда, с классом и с училкой, была весна. Вдруг меня бросило в жар, накрыло горячей волной от затылка к плечам и по всему телу, той самой волной: Маттиас сбил меня с ног, я повалилась наземь в своей красной курточке.

В окошечке появилась кассирша, развернула табличку: “Открыто”.

Я оказалась первой посетительницей. “Добро пожаловать на экскурсию для пенсионеров! Начало в 9.30”, — гласило объявление на доске у входа.

По схеме в проспекте я отыскала путь к крокодилу.

Стоя перед стеклянной дверью, на которой в ряду пиктограмм вроде бы обозначался и крокодил, я почувствовала уда-

ры пульса. Сердце, подскочив вверх, билось у меня в горле, в шее, словно хотело вырваться наружу.

Отворив эту стеклянную дверь с надписью “Экзотариум”, я вошла в темное помещение. Дверь за мною закрылась. Я остановилась в ожидании, взглядом пытаясь найти хоть какую-то отправную точку. Не слышно ни звука, ни шороха. Тут ни человека, ни зверя, никого, я одна.

Прежде чем мне удалось хоть что-то разглядеть, нахлынули воспоминания. Ненависть и стыд. Помню, где я и кто я есть: девятилетняя девочка, которая замышляет убийство. Девятилетняя девочка, которая просто еще не нашла подходящий камень. Девочка, которая кралась за учительницей, пока та не обернулась.

— Ты что здесь делаешь?

А я молчу.

— Прекрати ходить за мной по пятам. Выбери животное, какое будешь рисовать. Слышишь? Ты слышишь меня? — повторяла учительница. — Ты меня слышишь?

Я повернулась и убежала. Металась, искала, где бы спрятаться. Обнаружила вход в какое-то здание, а там полутьма. В сумеречном зале села на скамейку. Постепенно стала различать аквариумы вокруг. Заметила большую пеструю рыбу. Не сводя с нее глаз, достала бутерброды, мама дала их мне с собой. Принялась за еду.

Гневно откусывала, жевала, глотала эти бутерброды, подпитывая ненависть к учительнице. И поклялась, что ей не уйти.

И вот спустя двадцать лет я в том же зале. Уже различаю аквариумы. Различаю скамейку в самом центре. Сажусь на скамейку. Ищу глазами ту самую большую пеструю рыбу.

Справа у меня в поле зрения целая стая рыб. Эти мелкие переливчатые рыбки, кажется, не плывут, а парят. Бесшумно. В невесомости.

Большую пеструю рыбу я выискивала напрасно. Поняла: в живых ее уже нет, ясное дело. Вот интересно, как долго живут рыбы? Вспомнила бутерброды, которые пыталась тогда проглотить. Вспомнила голос за спиной, голос училки, отыскавшей меня в убежище.

— Что это ты надумала? — раздался этот голос у меня за спиной.

“Тебя убить!” — мысленно ответила я, полыхая ненавистью. Зажала бутерброд между колен и, не оборачиваясь, проговорила:

— Рисую большую рыбу...

Учительница обошла меня кругом. Остановилась напротив.

— Лгунья! — вскричала она. — Ну-ка поднимайся!

Бутерброд шлепнулся на пол, когда я вставала со скамейки...

...Я стремительно поднялась и вышла из зала. Распахнула стеклянную дверь, и дневной свет ослепил меня, хотя утро было пасмурное, зимнее. Двинулась в обратный путь, то ли к входу, то ли к выходу. Навстречу мне группа посетителей, десяток седовласых пенсионеров в бежевых спортивных куртках во главе с гидом, у того на груди слева красуется бейджик: "Экскурсовод Рыбаг". И услышала учительский голос:

— Согласные глухие и звонкие! "К" или "г"? Отвечай!

— "Рыбак" пишется с "к" на конце, — твердо ответила я учительскому голосу.

А вдогонку:

— Как правило.

И показала училке язык.

Восемь дней назад, в Рождественский сочельник, я все утро провела в своей бывшей девичьей кроватке. Мама в гостиной слушала Бинга Кросби и тихонько ему подпевала.

"Я точно приду. Зоопарк, первое января, девять утра, у верблюда. А если снег, у крокодила". В сотый раз я перечитывала письмо без обратного адреса. Отправлено из моего родного города. Отправлено кем-то, кто знает только родительский адрес. Отправлено кем-то, кто понятия не имеет, что я давно тут не живу.

Буквы вырезаны из газеты и наклеены на листок бумаги. Как в детективных сериалах моего детства. Так выглядели "анонимные письма" в телевизоре моего детства. Сегодня сохранить анонимность намного проще. В любой публичной библиотеке стоит компьютер, подобные послания только пиши да распечатывай — просто, быстро, бесследно.

Может, это письмо — цитата из письма, когда-то написанного мною и кому-то отправленного? Напрягаю память. Нет. Я даже и сейчас не помню, пыталась ли хоть когда-то смастерить подобное послание.

Может, старательная ручная работа есть доказательство неимоверных усилий автора? И я вроде как заслуживаю этих усилий?

Снова проглядываю список. Список из тридцати трех имен. Из всех имен, какие мне удалось восстановить в памяти. Из имен всех тех мальчиков, с какими *было дело* в моем родном городе. Впрочем, *было дело* может всего-то и означать, что мы учились в одном классе. Или раз-другой вместе покурили на перемене. Или встретились на митинге за ликвидацию армии. Больше ничего. Ведь больше ничего и не было.

В растерянности я снова рассматриваю все тридцать три возможности. Странным мне кажется даже собственный почерк.

Конечно, малютка Маттиас тоже значится в моем списке. Его я тоже не вспоминала долгие годы. Мы не виделись с тех пор, как родители отправили его в интернат. Знать не знаю, что с ним сталось. Представления не имею, вырос он по-настоящему или нет. Вот, вспомнила вдруг, что лазать он умел очень здорово. Я им поистине восхищалась. Он просто взлетал на шест, с которым я так отчаянно мучилась. Добравшись, наконец, до верха, я смотрела вниз, вниз, смотрела вниз, испытывая страстное желание упасть.

Дня два назад мне попалась статья в газете: шесты для лазания отменены. Из соображений безопасности все шесты демонтированы. Что сказал бы Маттиас? "Высота падения есть неоправданный риск", — так написано в статье. А что, раньше об этом нельзя было подумать? Ради моего счастливого детства?

Семь дней назад, в самое Рождество, ровно в девять я у кассы. И опять я первая посетительница. Не поддавшись искушению и не выпив кофе в ресторане напротив, выкладываю двадцать два франка без сдачи и покупаю билет.

И вот я перед стеклянной дверью в "Экзотариум". Открыть дверь и шагнуть в темноту я не успела. Прямо на меня двигался смотритель зоопарка с пустой тачкой. Я хотела было спросить его, как пройти к крокодилу, но все же не спросила. Посторонилась, он прошел вперед. Удивительно, что его черные резиновые сапоги ступают совсем бесшумно. Я двинулась вслед за сапогами. Сапоги обошли здание кругом и направились вверх по асфальтированному пандусу. Исчезли за дверью. "Экзотариум" — и здесь на двери такая же надпись. Я задержалась на минутку, рассматривая пиктограммы. Между рыбой и змеей угадывался крокодил. Отворив дверь, я вошла в зал, куда дневной свет проникал сквозь стеклянный свод. Смотритель куда-то пропал. Духота, пахнет гнилью. Я шла мимо террариев к лестнице. По пути поглядывала на террарии, но никаких животных не приметила. Только растения. Тропические растения, как мне показалось.

Я перепугалась, заметив движение в нише у лестницы. Как оказалось, там сидит на складном стульчике седая старушка. На коленях огромный альбом для рисования, в правой руке кисточка. Неотрывно смотрит на террарий с лианами и загадочно улыбается. Углубившись в свою работу, на меня не обращает никакого внимания. Интересно, как она сюда попала. Зоопарк только что открылся, кроме меня у входа не было ни одного посетителя.

Лестница привела меня вниз, в небольшой зал, освещенный неоновыми лампами. Но и здесь за стеклом мне не удалось разглядеть никакого зверя. Я принялась изучать таблички. Зеленый легуан. Тростниковая жаба. Сетчатый питон. Короткохвостый сцинк. Парагвайская анаконда. Полосатый варан. Вот он, наконец: сиамский крокодил! Небольшой застекленный резервуар, выложенный коричневатым камнем. И действительно: отрешившись от всего мира, в дальнем конце бассейна и в стороне от смотрового стекла, неподвижно лежит бурый, как скала, крокодил. Словно парит в воде. Над поверхностью виднеется только часть его головы. Возле смотрового окошка я ждала: вот-вот догадаюсь, или почувствую, или заподозрю. Все впустую! Нет ничего интересного в этом крокодиле или, точнее, в его надводной части. Недоумевая, я равнодушно взирала на бурую парящую глыбу.

А потом развернулась и отправилась на улицу тем же путем, чтобы только не идти через темный зал, забитый до отказа аквариумами и воспоминаниями. На этот раз я решила не предаваться воспоминаниям. Решила смотреть вперед, решила думать об отправителе письма и нашей возможной встрече, а не об училке и тех временах.

На улице шел легкий снежок. “А если снег, у крокодила”, — повторила я. Если первого января пойдет снег, в девять я к крокодилу. И анонимный автор тоже. “Я точно приду”, — сообщил он в своем письме.

До верблюда я добралась, даже не заглядывая в проспект. Как будто знала этот путь, как будто ходила тут не раз и не два. Просто шла вперед и совершенно не удивилась, увидев перед собой верблюда. “Вот он, на месте”, — только и подумала я. Насчитала за оградой пять верблюдов разной величины, одни стоят возле каких-то кустиков, другие лежа пережевывают листья. На миг я словно провалилась в безбрежную пустоту: взгляд мой упал на валун возле ограды. Скорее обломок скалы, чем камень. Здесь уместились бы, как на скамье, две взрослые задницы. Может, и впритык друг к другу, но точно бы уместились. Тот самый камень, точно тот. За последние двадцать лет им удалось его перенести сюда от входа. Или перевезти. Или перекатить.

Кто-то движется в мою сторону. Смотритель с тачкой. Резиновые сапоги. Пришлось отвернуться от верблюдов. Один из них как раз начал вставать, но с большим трудом. Опирался сначала на передние, потом на задние ноги. Казалось, горбы мешали ему сохранять равновесие, тянули вбок. Смотритель бесшумно прошел у меня за спиной. Я заглянула в его тачку: пусто.

Поглядела ему вслед. Даже пошла бы за ним, но повернулась к пояснительной табличке у ограды. Написано: “Верблюд домашний”. Странное название. Когда это верблюдов держали дома? “Верблюда домашнего называют также двугорбым”, — узнала я. Дальнейший текст о его происхождении, продолжительности жизни, массе тела я читала невнимательно. Смотритель скрылся из виду. Но я все-таки пошла за ним вслед, по дорожке в том направлении, куда он ушел. Прочь от верблюдов, прочь от большого камня, прочь от вопроса, *тот* ли это камень, и если да, то почему. Наконец я оказалась у входа или у выхода.

Шесть дней назад, в День святого Стефана, я не услышала будильник. Проснулась только тогда, когда стало невмоготу видеть тот сон. Во сне человек, в которого я была влюблена где-то и когда-то, в других городах, в другие времена, женился на девушке из моего родного города — на стандартной такой, из состоятельных: блондинка в жемчужном ожерелье на сиденье рядом с ним. Выходит он из темно-синего “вольво-комби” и говорит:

— Ты кого-то мне напоминаешь.

Отвечаю:

— Это — я.

Он открывает дверь багажника, вытаскивает свою светленькую маленькую дочку за волосы. Девочка мне улыбается. Человек, в которого я когда-то была влюблена, на весу держит дочку за волосы и раскачивает туда-сюда.

Спрашиваю:

— Ты что тут делаешь?

Отвечает:

— Живу и люблю.

Настроение у меня дурное из-за этого сна. Увидев, что проспала, я подумала: а вот был бы сейчас вечер, а вот бы снова завалиться спать, уснуть крепко, спокойно и без сновидений.

Ведь я собиралась ровно в девять быть у зоопарка. Правда, сама не зная, зачем мне там быть ровно в девять. Внутрь я бы не пошла. Со вчерашнего дня мне известно, как найти крокодила, как найти верблюда. И не хочу я больше напоминаний ни об учительнице с ее морщиной посреди лба, ни о моей ненависти, ни о камне, ни о ее смерти. Нет никаких причин для похода в зоопарк. Наверное, я выпила бы кофе в ресторане напротив да поразмышляла. Или нет. Или отправилась бы к зоопарку только для того, чтобы оттуда уйти.

Я потянулась за списком возле кровати. Мама в гостиной возится с посудой, с бокалами.

Человек, в которого я когда-то была влюблена, в списке не значится. О нем и речи нет. Когда мы виделись последний раз, он жил за тысячу километров к северу от моего родного города и рисовал шариковой ручкой на бумаге из блокнота в клеточку, потому что не мог позволить себе холст и краски. На прощанье он сообщил, что ему вновь необходимо творческое одиночество.

Сон мой просто смехотворен, притянут за уши или за волосы, как ребенок из автомобильного багажника. "Короче, это сон", — сказала я себе. Но от увиденной картины и чувства горечи освободиться не смогла. "Живу и люблю", — все повторял мне он, тот человек, в которого я была влюблена.

Мама постучала в дверь. Я не ответила.

— Ты проснулась?

Она снова постучала. Я не ответила.

Тридцать три мужских имени. Тридцать три известных мне ранее человека. В те времена, когда я жила в этой комнатке и видела сны в этой кровати. Тридцать три имени, которые связываются для меня с лицами детей, юношей. Тридцать три лица, которые мне сегодня, наверное, и не узнать. Тридцать три человека, которые мне годами не вспоминались, никогда не вспоминались, потому что они не играют в моей жизни никакой роли. Тридцать три мужчины, когда-то знакомых со мной и сегодня еще помнящих, наверное, мое имя, но не мое лицо, мое нынешнее лицо. Вероятно.

С самого начала я была уверена, что отправитель — мужчина. Я попыталась было сконцентрироваться на женщинах, но у меня фантазии не хватило. Вспомнить хоть бы одно существо женского пола. Хоть одно женское имя, одно девичье лицо, бывшую школьную подружку, соперницу — нет, ничего и никого. Вот что я поняла: женщины у меня в памяти не задержались. Кроме учительницы. Да и ее я забыла на долгие годы, она вернулась лишь пять дней назад. "Камень преткновения", — подумала я.

Мама опять постучалась.

— Вот я, твоя мама! — выкрикнула она весело. — Ты меня еще помнишь?

— Не-а! — крикнула я в ответ. — Я сплю, причем глубоко! И ничего не помню.

Мама рассмеялась, но я-то знаю, что она расстроилась. Рождество вдвоем со мной она представляла по-другому.

"Поди прочь", — взмолилась я про себя.

Пять дней назад я не проспала, потому что не смыкала глаз. Я вовсе не устала. Целый день провалялась в постели, все еще во власти дурного настроения, дремала, дожидалась

вечера. А когда наступила ночь, проснулась и бодрствовала.

Лежа в темноте, следила, как светящиеся стрелки будильника, снова и снова вздрагивая, перемещаются вправо. Несколько раз вставала, чтобы изучить содержимое холодильника. В конце концов запомнила его в деталях. Ничего оттуда не достала, а снова улеглась и стала повторять наизусть, по полкам. Корнишоны. Камамбер. Крем. На кухню я ходила потихоньку, бесшумно. Пусть мама не заметит, что я встала.

И вспоминались мне те ночи, что я провела здесь, в своей кровати. Бессонные, как сегодня. И полные сновидений. Бесчисленных сновидений, из которых ни одно мне не запомнилось.

Я встала далеко за полдень и поливала себя душем, пока не кончилась горячая вода.

Уже смеркалось, когда я за двадцать два франка купила у кассирши входной билет.

У входа меня подстерегали воспоминания об учительнице. Я пошла быстрее, чтобы их опередить, но и они ускорили шаг — не отвяжешься. Училка преследовала меня, как я преследовала ее в тот весенний день, когда замышляла убийство. Училка наступала мне на пятки, стоит обернуться — вот она, тут как тут, лицо суровое, прямая морщина посреди лба, ее глаза, и тонкие брови, и густо накрашенные ресницы. “Хватит меня преследовать!” — мысленно произнесла я, но тут же услышала ее голос: “Прекрати ходить за мной по пятам...” Второпях я едва не проскочила мимо верблюда. Остановилась, переводя дух, закрыла глаза. А когда открыла снова и обернулась — училки как не бывало. Я уселась на большой камень у ограды и принялась разглядывать верблюда.

Обернувшись, заметила сзади смотрителя зоопарка с красным пластмассовым ведром. Но это был не мой смотритель. И резиновые сапоги не те, за которыми я шла несколько дней назад. “Как жаль!” — подумала я. И на миг удивилась этой своей мысли. А в следующий миг снова увидела морщину на лбу учительницы.

“Произошло несчастье”, — услышала я голос директора школы.

Однажды она не явилась в класс. Перед тем мне несколько ночей подряд снилось убийство. Во сне я наконец добилась своего. Я проламывала училке голову. Снова и снова. Отделала ее по полной.

Со звонком в класс вошел директор школы:

— Произошло несчастье. Госпожа Либманн находится в больнице. Несчастный случай.

Учительница так и не вернулась.

Она сгинула, а я много дней лежала в жару и бредила. Мама до сих пор вспоминает про ту мою горячку. “Как снег на голову, ни с того ни с сего”, — повторяет она.

Потом все наладилось. Горячка прошла. ОНА сгинула. Поблагодарив Бога, я про нее забыла, про училку. Сгинула. Не было ее. “Уходи прочь”, — думала я теперь, сидя на своем камне.

Маленький мальчик, запыхавшись, остановился рядом со мной.

— Козимо, не бегай! — крикнула ему мать.

— Вот это — босс! — произнес мальчик на диалекте моего родного города, указывая на одного из верблюдов и глядя на меня. Я не ответила.

— Нет, вон тот, вон тот босс! — и показал на другого верблюда. Родители наконец подошли.

— Вон тот — босс! — торжествующе сообщил он родителям.

Врезать бы этому мальчику. Да сказать на протяжном местном диалекте: “Отваливай со своими боссами, ты, маленький идиот!” Мать погладила его по головке:

— Какие у них морды смешные, да, Козимо?

А она не местная. Пытается подражать нашему диалекту, но спотыкается на каждом слоге. Я поднялась с камня и ушла. А то вдруг скажу им: “Родину в замужестве не обретешь, а Козимо — омерзительное имя”. Так что лучше сразу уйти. И я ушла неведомо куда.

Четыре дня назад я сидела в ресторане напротив и изучала меню. Я прекратила наблюдение за входом. Пасмурно, и дождик моросит. Посетители зоопарка надвинули шапки и капюшоны пониже, лиц не видно.

Заказала чашку кофе. Официант, фыркнув, хотел было забрать меню, но я не отдала:

— Мне еще понадобится!

— Да пожалуйста, — презрительно ответил он.

Есть совсем не хотелось, но я стала подсчитывать, что бы такое заказать на двадцать два франка. Например, ньокки с горгонцолой и кофе? Нет, дорого.

“У верблюда, а если снег, у крокодила” — повторила я. Может, начальные буквы, “в” и “к”, указывают на отправителя? Но в моем списке нет ни одного имени на “в” или на “к”. В чем же смысл послания?

Крокодил... Льет крокодиловы слезы. Крокодил... Вялый такой на вид, а сам начеку, того и гляди вцепится всей пастью. И что? Не знаю никого, кто напоминал бы мне крокодила. Верблюд... А тут уж вообще никаких идей. Двугорбого

верблюда называют также домашним. Чудесно. Половина человечества состоит из мужчин, считающих себя вполне домашними. Не меньше половины. А толку что?

Официант принес кофе и вызывающе посмотрел на меня.

— Минуточку, — сказала я и нарочно углубилась в меню.

"Пальто из верблюжьей шерсти" — вдруг вспомнилось мне. И я увидела отца в пальто из верблюжьей шерсти. Однажды в магазине — мне было лет пять — я потеряла отца в предрождественской толпе. И плакала навзрыд, пока не обнаружила прямо перед собой подол его пальто. С облегчением я ухватилась за этот подол. Пошла вместе с пальто. Пальто остановилось. Совершенно незнакомый человек наклонился ко мне, разжал мои пальцы. Меня охватил неописуемый ужас. Оказывается, я держалась за чужого человека. А ведь готова была пойти за этим пальто хоть на край света.

Я захлопнула меню. Официант тоже сделал какое-то движение со скучающим видом.

— Так что же? — спросил он и протянул руку за меню.

Я по-дурацки улыбнулась, попросила счет и слишком щедро дала лишнего ему на чай.

Три дня назад я вышла из дома в семь утра. На улице, отливавшей утренним влажным блеском, было еще темно. Я решила преодолеть весь путь пешком. Напялила шерстяную шапку, натянула ее до бровей. Родная мама не узнала бы меня в этой шапке. Бодро потопала вперед, радуясь облачкам пара изо рта. И рассвет шел вперед вместе со мною. Путь в зоопарк вел через весь город. Родной мой город не изменился. Меня не обманешь одним-другим новым магазинчиком, новым домом. Город какой был, такой и есть. Знаю я его, меня не проведешь. Качество жизни! Безопасность! Чистота! Порядок! Вот что выставлено тут напоказ, но уж мое сердце не дрогнет. Вижу тебя насквозь. Ты меня не проймешь, жестокосердый образец мелочности, посредственности и порицания. Знаю я тебя. Спустя все эти годы знаю, и воспоминания липнут тут к каждому камню. Даже в сегодняшней утренней мгле куда ни глянь — воспоминание. Каменная груда из неприятных воспоминаний. Только плохие, неприятные, горькие, скверные, постыдные, гадкие воспоминания возвращаются вновь. Такие, как воспоминание о моей учительнице. С каждым шагом на улице светлело, с каждым шагом я видела все яснее, с каждым шагом росло мое отвращение к собственному прошлому.

К зоопарку я подошла ровно в половине девятого. Точно как рассчитывала. Хоть бы тут мой город меня удивил, но нет. Ровно в половине девятого я стояла перед пустой кассой.

Уселась на ступеньки у входа, жду. В девять часов мамочка с двумя нарядными детишками, купив первые билеты, про-

шла мимо меня к входу. Какая же я нелепая в этой маскировочной шапке.

Через сорок минут, насчитав тринадцать незнакомых лиц, я встала и ушла. Поехала назад на такси за двадцать франков, не разбирая дороги и ни разу не взглянув в окно. Мне вдруг стало безразлично, кто послал письмо. Мне вдруг расхотелось идти по следу, разонравилась тропа, ведущая в мое прошлое.

Вполне хватит и полученного пакета воспоминаний.

Два дня назад, в предпоследний день года, я собрала чемодан, приготовила деньги, паспорт, обратный билет. Села на кровать и задумалась, что сказать маме на прощанье. Тут мама постучала в дверь, спросила:

— Выпьешь со мной чаю?

— Нет, мне пора.

Мама открыла дверь, посмотрела на меня удивленно. Я взяла куртку, у порога поцеловала ее в щеку:

— У меня назначена встреча.

Мама глядела на запакованный чемодан. Я вышла.

Кассирша произнесла: “Двадцать два, пожалуйста”, и тут я сообразила, что не взяла с собой денег. Извинившись, я в нерешительности постояла у входа. Находиться тут без маскировочной шапки мне было неуютно. Куда теперь? Кофе не выпьешь, в такси не сядешь. Даже трамвайный проездной на две недели, и тот я забыла. Сюда приехала зайцем, сама того не зная. Смешно, конечно, но сесть в обратный трамвай у меня не хватило смелости.

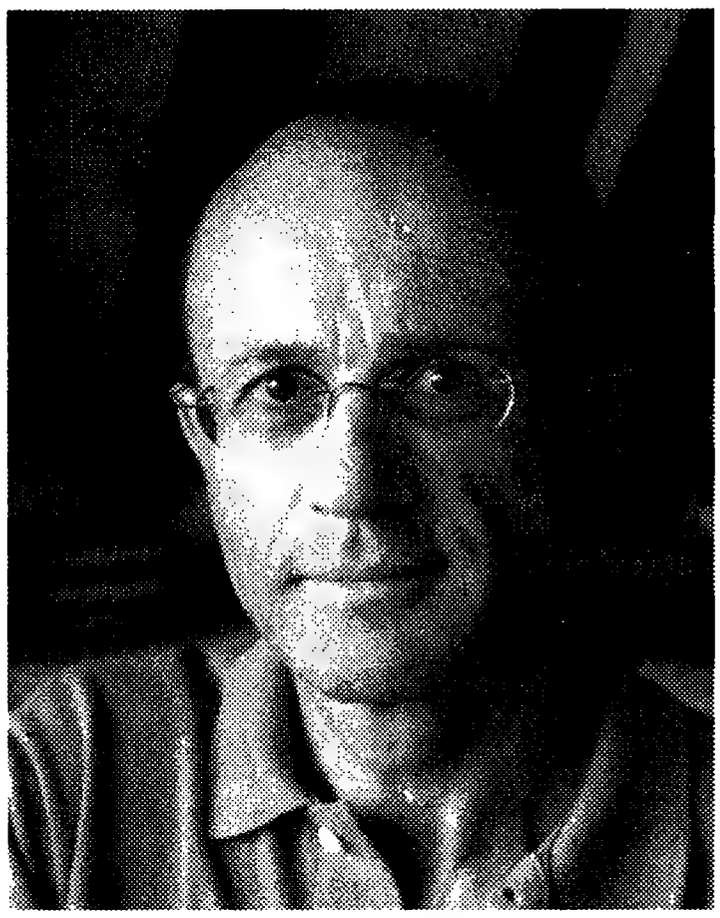
Вчера наступил Новый год. Я так и не уехала. Пила шампанское, чокаясь с мамой. Вдруг она рассмеялась и сказала, что уже пьяна. Обняла меня. Обняла и не хотела отпускать. Тяжело дышала мне в ухо. Я освободилась из ее объятий под предлогом, что надо открыть новую бутылку.

— Не хочется больше, — сказала мама.

Не знаю, что она имела в виду: шампанское или все остальное. Вскоре она пошла спать.

Новый год, 4.30 утра. Не знаю, пойду ли я в зоопарк. Думаю, скорее нет. Наверное, лучше не ходить. Но у меня еще много времени для окончательного решения. Больше двухсот минут. Снег, между прочим, не идет.

Жан-Франсуа Соннэ



Книга Лукаса

Перевод с французского Нины Хотинской

Жан-Франсуа Соннэ [Jean-François Sonnay; p. 1954] пробовал свои силы едва ли не во всех литературных жанрах: пьесы для театра, детские сказки, рассказы, эссе, многочисленные романы, один из которых – "Вторая смерть Хуана де Хесуса" ["La Seconde mort de Juan de Jésus", 1997] – удостоился сразу двух почетных наград, премий Рамбера и Шиллера. По собственному признанию, больше всего Соннэ занимает природа художественного вымысла. Где тонкая грань между красноречием и краснобайством? Может ли писатель, переврав все на свете, сказать тем не менее правду? И где та крупица, та песчинка подлинного, обрастающая по воле автора перламутром словес? Словом, было или не было? Подскажем читателю, что в последующем рассказе вралей как минимум три...

Среди других произведений Соннэ – романы "Потерянный принц" ["Un Prince perdu", 1999], "Иван, базука, отморозки и я" ["Yvan, le bazooka, les dingues et moi", 2006], сборник "Сказки бешир-ского ковра" ["Les Contes du tapis Béchir", 2001].

Перевод выполнен по изданию "Правда или неправда" ["Vrai ou faux". Bernard Campiche Editeur, 2003].

© Bernard Campiche Editeur
© Нина Хотинская. Перевод, 2013

ПАНАЙОТИС врал. Врал постоянно и вдохновенно. Так уверенно, что даже простейшие истины в его устах звучали ложью. Его только послушать, он был способен заставить вас усомниться, что грибы растут или что вода мокрая. Но, надо отдать ему должное, ложь его была совершенно бескорыстна, что выгодно отличало его от большинства соотечественников. За тот год, что я провел на Ниссосе, он никогда на моей памяти не пытался всучить туристам всякую дребедень и ни разу не порывался продать мне что бы то ни было, даже когда хвалился перед всеми клиентами кабачка "У Спиро", что доставит мне дрова для камина. Этих дров, лучших на острове, самых душистых и самых сухих, на деле не существовало в природе, и он, стало быть, не ждал от меня никакой выгоды. Уши собеседника — вот и все, чего он хотел. То были идеальные дрова. Дрова, так сказать, даровые.

Деньги, материальные блага, контракты, предприятия, любые практические результаты служили ему лишь для оживления разговора да аргументами, буде их требовала недоверчивая аудитория. Это был врун увлеченный, щедрый, бесхитростный и бессовестный. В своем роде артист, которому мира — нашего мира — было мало. И он, как мог, расширял его пределы.

Панайотис любил поговорить, так что врал он из любви. С малых лет, с тех пор как научился складывать слова и открыл, что ими с равным успехом можно сказать не только то, что есть, но и то, чего нет. Он врал, потому что действительность острова, деревни, моря, погоды была так банальна, так ограниченна, что умещалась в несколько фраз. Он врал, потому что жизнь островитян была такой скрытной, такой замкнутой, так ревностно прятали ее за синими ставнями и заслонами семейной чести, что пяти минут хватало сказать все, что можно было о ней знать. Он врал, потому что жил один со своей старухой-матерью, без детей, без работы, без роду-племени, и слова давали ему все то, чего у него не было.

Почти все время он проводил "У Спиро" в надежде, что кто-нибудь пригласит его за столик выпить стаканчик и поимпровизировать. В другое время, в другом месте его бы, возможно, выгнали, а то и вовсе посадили, но здесь такое было не в обычае. Его, правда, не поощряли, разве что в иные вечера, когда обильно лилось вино, но все же порой соглашались слушать. Ему этого было достаточно. Ложь ложью, а свидетели были истинные, и он никогда ими не пренебрегал. Ни сомнения, ни возражения — ничто его не смущало: напротив, он ими лишь вдохновлялся и заливал еще пуще.

Ему, знавшему в мире только свой родной остров да Афины, где жила его сестра, вещи и люди представлялись слишком бедными, слишком скудными, чтобы заслуживать разговора. Ему хотелось большего. Он, конечно, мог бы, как любой другой, сплетничать, подличать, интриговать, льстить, но так уж Панайотис был устроен, что ему претило злословить о ближних. Широкая натура, он предпочитал бахвалиться, говорить о себе, о своих подвигах, о своих необычайных приключениях, и все это с мальчишеским ликованием. О нем поговаривали, что он интересничает, и это было правдой: в том-то и дело, что, по его убеждению, на Ниссосе не хватало интересного человека, и именно ему, Панайотису Ипсилантимонасу, надлежало восполнить этот пробел. С чего еще развиваться туризму на острове, где нет и тени античной колонны. Так что была какая-то прометеевская самоотверженность в том, как он врал, сочинял истории, тасовал события, факты, деяния, единственным и, стало быть, неоспоримым свидетелем которых был он сам. И таково было его краснобайство, что, будь его выдумки кораблями, из них впору было сложить мост и пересечь океан пешком посуху от Пирея до Гонконга.

Обыкновенно Панайотис рассказывал только о своей жизни и своих встречах; наверно, по этой причине местное общество и прощало ему его враки. Но и в пределах этой, так сказать, страховочной меры он иной раз заходил чересчур далеко: я сам слышал, как он объяснял ошеломленному профессору, что поток пресной воды прямо с Олимпа протекает под морем и питает источники Ниссоса. Или, не моргнув глазом, делился с настоящими партизанами своими жуткими воспоминаниями о мировой войне — это он-то, переживший ее в пеленках. Или рассказывал о чудесных рыбалках, когда омаров и лангустинов в сети было столько, что они пожирали всю рыбу, прежде чем их успевали достать... И это он выкладывал старым морским волкам! Он, кого ни один моряк на острове не взял бы к себе на борт, разве только чтобы варить кофе. Даже капитаны дальнего плавания слушали его, дивясь и забавляясь, — таких словес они плести не умели.

Я, однако, думаю, что с годами ему было все труднее находить в деревне благосклонных слушателей, ибо жители Ниссоса были скорее материалистами и слишком строго следили за собой, чтобы заглядывать так далеко за грань разумного. Поэтому Панайотис, по обыкновению, останавливал свой выбор на приезжих, туристах, падких до новых впечатлений, которые были всегда счастливы познакомиться с настоящим греком, пылким, бедным и необразованным. В курортный се-

зон он подстерегал их на набережной, между портом и террасой "У Спиро", отдавая явное предпочтение высоким блондинкам скандинавского типа, которые — он знал — только ради него сюда и ехали. Не в пример назойливым "жучкам" и чернявым матронам, осаждавшим пассажиров парома, он не предлагал ни дешевой гостиницы, ни такси, ни частного пляжа, ни типичной комнаты у местных жителей. Нет, Панайотис сулил, ни много ни мало, греческий рай с ним, Панайотисом, в главной роли.

И ведь срабатывало. Его можно было увидеть тем же вечером на террасе за столиком, где он учил покрытую золотистым загаром красавицу разделывать креветку и облизывать после этого пальцы или рассказывал ей, размахивая руками, как его едва не задушил гигантский спрут и как ему удалось его обездвижить, всадив колючку морского ерша в нужное место. Девица аж вздрагивала. Трудно сказать, что она, собственно, понимала, поскольку Панайотис не владел ни одним иностранным языком. Он лишь пересыпал свою речь варварскими словечками типа "матмазель", "школь", "танке", "хула-була", "лав ю либхен", которые вызывали разве что улыбку. В остальном же он был убежден, что любой в конце концов поймет греческий, знай только повторяй ему одно и то же почаще — вот и повторял по сто раз все те же истории. Терпение у него было ангельское. Не говоря уж о том, что, когда много говоришь, хочется пить, а вино развязывает язык, и эти оживленные беседы имели все шансы закончиться в постели пресловутым хула-була рок-н-ролл. Курортный сезон был незамутненным счастьем, и чувствовалось, как Панайотис весь трепетал с приближением Пасхи и летнего солнцестояния.

Я был недалек от мысли, что причиной остракизма, которому подвергло его маленькое островное общество, были не столько его россказни или вечная праздность, сколько эти скандинавские и английские похождения. Любой женатый человек, стань он таким жиголо, неминуемо навлек бы на себя громы и молнии со стороны свояков, а юнцы сорока лет от роду традицией не допускались. Не в сезон приезжие блондинки были редки, и бедняга Панайотис зачастую грустил в одиночестве в углу кафе, окутанный дымом и мерным гулом рутинных разговоров, обреченный дожидаться, пока соседи обговорят серьезные дела и выпьют достаточно узо, чтобы пригласить его за столик. Вечер мог даже закончиться танцами и песнями, но он не был королем, глашатаем, творцом смысла, как он любил себя преподносить, и это его немного обижало. Однако в ту зиму, когда я был несколько ме-

сяцев единственным иностранцем на острове, он мог отыграться хотя бы на мне. Я не был скандинавом, да и к мужчинам он склонности не питал, но у меня имелось несколько бесспорных козырей: два уха, глотка, начатки разговорного греческого и полное незнание местных предрассудков.

Неисповедимые пути аренды привели меня на Ниссос в сентябре, в холодный и серый штормовой день, и я поселился в маленьком домике на площади Святого Спиридона, где пахло солью и смолой, в то время как последние туристы спешно паковали чемоданы, боясь застрять на острове, если море разбушуется еще пуще. Я был спокоен, до всего любопытен, готов насладиться свободой, о которой мечтал, свободой чужака, никому ничем не обязанного и без помех открывающего для себя незнакомое общество. Я чувствовал себя героем романа, в котором мне досталась роль простака. Не учел я только Панайотиса, который приметил меня и тотчас увлек в свой собственный роман о романе. Узнал ли он во мне брата-маргинала или просто заинтересованного слушателя? Как бы то ни было, он вцепился в меня мертвой хваткой всего через несколько дней после моего приезда, да так и не выпустил до возвращения нордических красавиц.

Я бродил по деревне, белой от извести, по выложенным плиткой тропам, змеящимся под оливами, взбирался на горы, где прятались одинокие домишки, открытые морскому ветру. Я шел куда глаза глядят, так я люблю гулять, когда приезжаю куда-то, чтобы проникнуться духом местности. Я пробовал кухню разных ресторанчиков, выбирая тот, в котором у меня будет мой излюбленный столик. Кабачки привлекали меня, потому что казались центром общественной жизни, но в них я еще не вполне освоился. Усатые черноглазые завсегдатаи косились на меня так, будто я был диковинным зверем о пяти ногах, после чего возвращались к своим беседам. Я здоровался, и со мной здоровались в ответ, но, видимо, боялись уронить свое достоинство, спросив, что я здесь делаю или почему опоздал на последний паром до Пирея. Быть может, они подозревали, что я ищу девушку на выданье, чтобы прибрать к рукам дом и оливковую рощу в приданое, как это сделал некий немец, о котором мне вскоре предстояло услышать. Панайотиса же все это не заботило, и он первым из этих господ угостил меня выпивкой. Только тогда я заметил, что он не носит усов. Я пригласил его за свой столик.

Он был высокий, худой, загорелый, нос как у клоуна, прическа в стиле “Битлз” шестидесятых, голенастые ноги и полотняная куртка кричаще синего цвета.

— Дойц? — улыбаясь спросил он меня.

Нахмурился было, услышав мой ответ по-гречески, но вновь проникся ко мне, убедившись, что я не из северных греков, которых он по какой-то причине опасался. Окинув зал победоносным взглядом, он задал несколько банальных вопросов — откуда я, из какой семьи, где живу — и принялся рассказывать, что он — друг и доверенное лицо некого канадского арматора, владельца самого мощного в мире ледокола, способного плыть даже тогда, когда океан замерз подчистую, и что он покажет мне его виллу, когда мне будет угодно, она того стоит, ибо это самый красивый канадский дом во всей Греции.

Помню, в первый момент я от него слегка шарахнулся, не потому что почувствовал в нем изгоя, нет, я принял его за одного из тех прилипал, что подцепляют туристов с корыстными целями. Как ни странно это, в длинном и сухопаром, как жердь, человеке, но было в его выпяченных губах и нависших веках, в его семафористых жестах что-то "липучее", не ускользнувшее от меня. Полагаю, виной тому была его медлительность и неспособность к размеренным движениям, каким учит людей обыденная работа. Да и тот факт, что он заговорил со мной о льдах, иностранцах и Канаде, меня мало обрадовал. Я-то искал корней, исконных вкусов, этнологической подлинности, а не бесед в духе отпускного клуба. Но было уже слишком поздно. Помимо своей воли, в глазах всех усатых авторитетов, собравшихся в кабачке, я был вовлечен в Панайотисов цирк. Я выпил узо, из вежливости поставил ему стаканчик, после чего, с его подачи, мне пришлось угощать всех присутствующих, и не один раз, так что к концу вечера мы все изрядно набрались и стали лучшими в мире друзьями.

Позже, почувствовав снисходительное, если не враждебное отношение местных жителей к поведению Панайотиса, я хотел было — пожалуй, из трусости, признаю — отдалиться и завязать дружбу с другими людьми, которые казались мне более уважаемыми или более типичными, и даже попытался дать понять окружающим, что и не думаю клевать на его удочку. Но мне быстро указали мое место, ту маленькую нишу, которую на Ниссосе отводили чудакам и никчемушникам, таким как он и я. Греки так глубоко убеждены в своем абсолютном отличии от всего остального человечества, что им и в голову прийти не может, чтобы не-грек мог на законном основании разделять их чувства или судить об одном из их соотечественников. Тем более не-грек, занятый столь абсурдным, неприбыльным делом, как литература. Никто не понимал, с какой стати я явился сюда писать книгу, если

книга эта не об острове, более того, никто не понимал, зачем я вообще пишу книги, не имея гарантии, что выручу за них много денег, как Нана Мускури[1] за свои французские песни.

Никто. Кроме, разумеется, Панайотиса.

Узнав, что я пишу, он ничуть не удивился и без околичностей заявил, что хорошо знаком со знаменитым французским писателем по имени Лукас, который, как и я, приезжал работать на Ниссос. Он даже был его лучшим другом, и они провели вместе множество вечеров "У Спиро" за беседой, опустошив бог весть сколько бутылок рецины: Панайотис толковал о жизни, а Лукас все записывал в свою книгу. Я нахмурился: уж никак не ожидал, что этот паршивец вторгнется в сферу, которую я считал своей. Он и читать-то не умел...

— Лукас, ты сказал. Ты уверен?

— Еще бы! Два года назад он сидел на том же месте, что и ты. Точно, вот здесь. И рассказывал мне про свою последнюю книгу.

— Странно: я не знаю французского писателя с таким именем.

— Не может быть! Он очень знаменитый, такой же знаменитый, как Пападиамантис[2]. В Париже только его и знают, его фото во всех газетах. Я очень люблю писателей, и они меня тоже любят, потому что я знаю все на свете про Грецию и Эгейское море. Спрашивай меня что хочешь, про рыбную ловлю, про оливы, про попов, про политику, я все тебе расскажу. Клянусь, ты на этом озолотишься. Ну, что ты хочешь знать для твоей книги?

Мне не хотелось, чтобы он лез в то, что я пишу или собираюсь написать. Я оборвал разговор, уверенный, что этот Лукас был химерой, чистым вымыслом похвальбы ради. Но Панайотис крепко держался за свои истории, не смущаясь плохим началом, и безразличие было ему невыносимо: возражайте или уж аплодируйте. В следующие дни он еще много раз осаждал меня своим Лукасом и, похоже, не удовлетворился, даже когда я под его напором допустил, что, наверно, есть где-то во Франции писатель, которого я не знаю, откликающийся на имя Лукас. Панайотис был непримиримым врагом сомнений и гипотез.

Мой дом располагался недалеко от порта, и по утрам, в любую погоду, я взял за правило выходить прогуляться по

1. Нана Мускури — греческая певица. (*Здесь и далее, кроме специально оговоренного случая, – прим. перев.*)
2. Александрос Пападиамантис (1851—1911) — греческий писатель, прозаик.

набережной. Я доходил до киоска старого Панделиса, где покупал сигареты, и всякий раз веселился, глядя, как старик бежит ко мне, прихрамывая, ибо редких своих клиентов он поджидал в тепле на почте по соседству. Пришла зима с ее бледным солнцем, миндального цвета морем и мокрыми порывами ветра. Рыбаки больше не выходили в море, чинили свои лодки, разбирали моторы. Группа знатоков в фуражках с черным галуном наблюдала, оживленно жестикулируя, за разгрузкой большого красного каика, доставлявшего товары. Я смотрел на блестящие бидоны с оливками, которые уносили в подвал, на неподвижных осликов, на цыган-торговцев. Потом я заходил в кафе выпить чашечку густого черного кофе с запахом жареных орешков, слушая, как вокруг беседуют и рассуждают. Были тут по утрам и одиночки, мечтатели преклонного возраста, которые проводили время, облокотясь на пустой столик, устремив глаза на однообразные пенные гребни. Не в сезон здесь были свои плюсы: туристы сняли осаду, деревня жила в замедленном темпе, топили камины, подсчитывали урожай, строили планы на будущее. Пахло морем, дымом, сухими водорослями.

На мое счастье с утра Панайотис не показывался, занятый, по его словам, непосильными трудами, но вероятнее – вынужденный дать себе отдых после вчерашних многословий и возлияний. Он появлялся только в середине дня. Сдержанный при всей своей неумеренности, он, слава Богу, не вваливался ко мне домой, предпочитая встречаться со мной как бы случайно на людях, в час обеда. Он усаживался за мой столик с долгим усталым вздохом и удостоверялся, как дотошный начальник, что я тоже принялся за работу. Сам он не ел и не пил, то ли денег не было, то ли аппетита, я так и не узнал, но тут же закуривал и заходился кашлем.

Панайотис питал настоящую страсть к писателям, чей странный и тайный труд казался ему почти столь же изнурительным и непонятным простым смертным, как и его собственный. В разговоре то и дело всплывал призрак великого Лукаса. До чего же я на него похож! Просто удивительно. У него были рыжие усы, как у меня, он носил солнечные очки в пасмурную погоду, как я, немного говорил по-гречески, как я, писал на машинке, как я, искал покоя, уединения... как я. Но главное – он любил Панайотиса и не мог обойтись без его общества. Я отвечал односложно: да, да, нет, нет. Время от времени из вежливости заставлял себя поддержать беседу, обсуждая ту или иную черту. Я отказывался верить, что два писателя, пусть даже современники, могут так походить друг

на друга, на что Панайотис азартно возражал, что я бы так не говорил, знай я его, как он.

— Нет, извини. Повторяю тебе, я не знаю никого с таким именем, ни писателя, ни журналиста, ни драматурга.

— Какой драматург? Лукас пишет книги, как ты. Я знаю: я их видел, собственными глазами видел!

— Почему бы нет? Каждый год, знаешь ли, выходят тысячи книг на французском. Его книги мне просто не попадались. Его имя ничего мне не говорит.

Панайотис диву давался. У меня было чувство, что он начал сомневаться если не в моей искренности, то, по крайней мере, в моих способностях. Однажды он даже изъявил желание увидеть какую-нибудь мою книгу. У меня их, увы, с собой не было. Жаль, заметил он, потому что Лукас-то привез с собой свои книги и одну из них даже ему подарил. Уверенный, что нашел наконец способ прекратить этот бред, я тотчас попросил его принести ее мне, чтобы я мог ее прочесть и поговорить о Лукасе со знанием дела. Он кивнул, улыбаясь уголком рта, и пообещал. Как и следовало ожидать, я не увидел и тени книги Лукаса и больше о ней в последующие недели речи не заходило. Я уж решил было, что выиграл. Разумеется, зря.

Лукаса и след простыл, но Панайотис не отступался, он не мог позволить мне заподозрить его во лжи или легкомысленной болтовне о дружбе с французскими писателями. Он не спешил, поскольку я не собирался уезжать до следующего курортного сезона. Он просто ждал, чтобы я сначала признал свою ошибку. Доказательство потом. Все же он сумел-таки заставить меня написать одному другу-библиотекарю, чтобы удостовериться, что знаменитый писатель по имени Лукас действительно опубликовал книгу, написанную на Ниссосе, фото на обложке которой — да-да! — было сделано самим Панайотисом Ипсилантимонасом, фотографом от Бога. Убежденный, что это чистой воды вымысел, я забавы ради отметил в письме удивительные таланты снимавшего. Надо ли говорить, что мой друг ничего не нашел, но я вдруг понял, получив его письмо, что мне больше совсем не хочется выкладывать правду Панайотису. Я мало-помалу проникся его историями, и лучшего собеседника в кабачках у меня не было. Хоть он и раздражал меня частенько своим окаянным Лукасом, я не хотел, чтобы он потерял лицо, и притворился, будто вообще не получил ответа. Я тоже начал врать. Ради красоты жеста.

— Вот видишь! — торжествовал он. — Твой друг, верно, нашел столько книг Лукаса, что ему понадобятся недели, а то и месяцы, чтобы составить их список.

Я изображал замешательство. Панайотис со временем изменил свое мнение обо мне: опыт подсказал ему, что я не Лукас. Познакомившись со мной ближе, он теперь знал, что я не богат и не знаменит. Все впереди! — обещал он, однако, сопровождая свои слова хлопком по спине, который уложил бы мула. И потом, главное, Лукас работал не так, как я: он приехал на Ниссос не для того, чтобы писать книгу, но написал книгу, потому что турки продержали его на острове всю войну. Вот он и писал, чтобы скоротать время.

— Какую войну?

— Кипрскую, какую же еще!

— Кроме шуток?

Я вытаращил глаза; мне было любопытно, как далеко может зайти Панайотис. История принимала фантастический размах, и я невольно восхищался его фантазией. Он отвечал на все мои вопросы совершенно серьезно, прося иной раз усачей за соседними столиками подтвердить сказанное. Так, слово за слово, история Лукаса превратилась в авантюрный роман с турецкими истребителями на бреющем полете, морской блокадой, обрывами электропроводов, нехваткой муки для хлеба и бумаги для машинки, с американскими шпионами, турками, переодетыми немцами, и советскими агентами, с влюбленной в Лукаса прекрасной шведкой и бешено ревнивой англичанкой, с бочками узо и чанами рецины, надежно спрятанными в тайных гротах, с тысячами выброшенных на пляжи рыб, убитых локаторами субмарин, и с эффектным финалом, в котором неукротимый Панайотис у руля утлой лодочки вез великого писателя на соседний остров, откуда отплывал корабль, специально зафрахтованный посольством Канады для эвакуации иностранцев.

Так Лукас замечательно скрасил нам не один вечер, и к концу моего пребывания на острове я и думать забыл, существует этот человек или нет. Но Панайотис — кому же еще — вернул меня к действительности за несколько дней до моего отъезда. Отправив на почте посылку, я заметил его на террасе "У Спиро" — он махал своими длинными руками, подзывая меня. С приходом лета он сменил синюю куртку на гавайскую рубашку в желтых цветах и выглядел в ней более худым и несуразным, чем когда-либо.

Я подошел. На круглом столике, за который он держался двумя руками, словно чтобы не дать мне его опрокинуть, возлежала книга... ТА САМАЯ книга, это я сразу понял, в ТОЙ САМОЙ белой обложке парижского издательства "Сёй", украшенная ТОЙ САМОЙ фотографией Ниссосского порта, где отчетливо вырисовывался ТОТ САМЫЙ старенький

красный каик на фоне синего неба, с ТЕМ САМЫМ, к стыду моему, именем автора: *Жан-Люк Бенозильо*[1], с его — верх иронии! — дарственной надписью греческими буквами *Моему другу Панайотису за стаканчиком рецины* и с подписью *Лукас.*

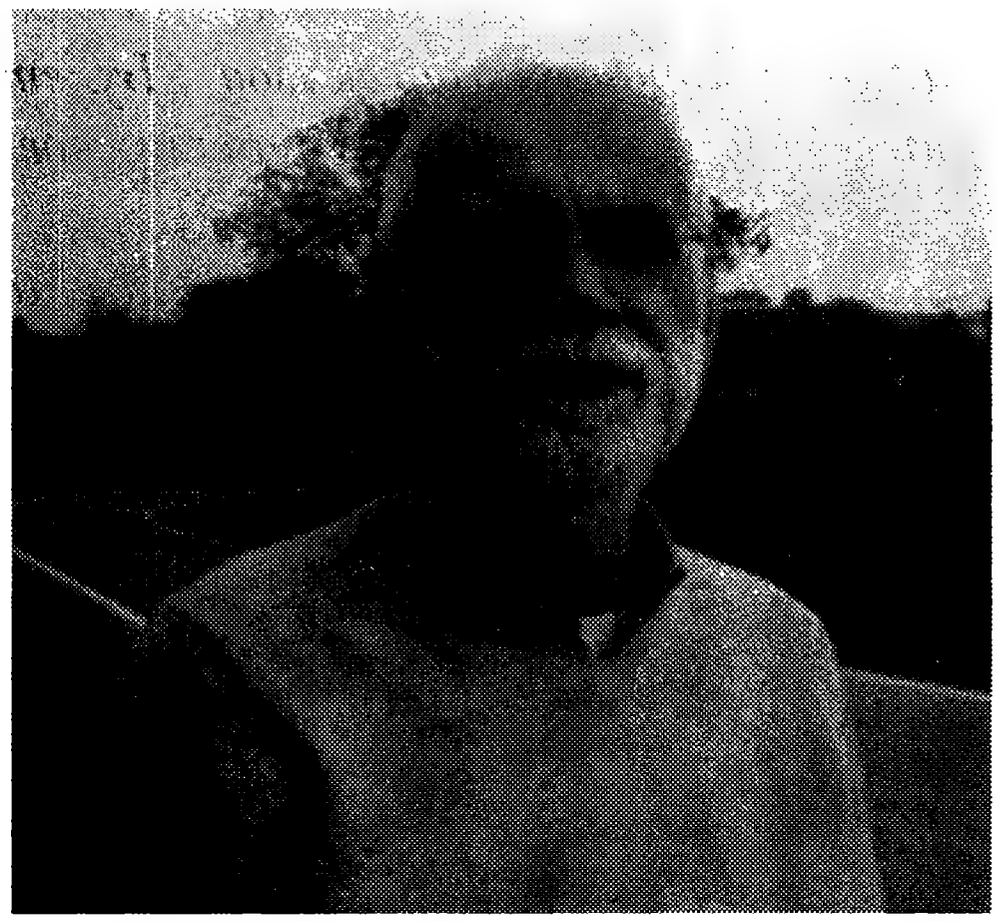
В конечном счете единственным вралем в этой истории оказался я, и мне трудно было утешиться мыслью, что эта книга, совсем новенькая, была, по всей вероятности, единственной, которую Панайотис когда-либо держал в руках, ибо, по его собственному признанию, читать он не умел ни по-гречески, ни по-французски. Я спрашивал себя в дальнейшем, что, если в своих перегибах он куда чаще встречал истину, чем я, что, если поток пресной воды под морем, канадский ледокол, гигантский спрут и турецкие самолеты на бреющем полете были более правдивы, чем мои благоразумные наблюдения за островной жизнью? Я нашел моего учителя, и в моей памяти книга Лукаса отныне окончательно скрепила то неудобное сродство, что всегда связывало меня с ниссосским вралем, сродство, которое жители острова, при всей своей неграмотности, распознали с первого взгляда с уверенностью устных цивилизаций, отличающих человека слова от человека дела.

А на тот момент Панайотису хватило деликатности пощадить меня и не бахвалиться. Эта история осталась между нами, и я готов поручиться, что никто на Ниссосе так не вкусил ее соль, как он.

Полгода спустя я — а как же иначе? — послал ему мою собственную книгу с дарственной надписью *Моему другу Панайотису.* Я не получил ни благодарности, ни письма в ответ. Я их и не ждал, ведь Панайотис не умел ни читать, ни писать. Мне и сегодня нравится думать, что еще долго, столь долго, сколь жизни дарует ему Господь, он будет рассказывать заезжим фомам неверующим о мудреных книгах, которые у него есть и которых он не читал, но умеет угадывать их суть, размахивая для пущего правдоподобия руками.

1. Жан-Люк Бенозильо (р. 1941) — известный швейцарский писатель, проживающий во Франции; третий и, по существу, главный враль в этой истории. Он действительно оказался в Греции в разгар кипро-турецкого конфликта 1974 г. и описал увиденное в романе “Бено в поход пошел” (1976), но только перевернул ход событий с ног на голову... (*Прим. ред.*)

Аурелио Булетти



Короткие рассказы

Перевод с итальянского Анны Ямпольской

Аурелио Булетти [Aurelio Buletti; p. 1946] – поэт, прозаик, учитель итальянского языка в средней школе Виганелло и Лугано, где преподавал на протяжении 37 лет. По собственному определению – "короткий писатель", чьи произведения не занимают много места на странице (например, стихотворение "Пессимизм" состоит из одной строчки: "Солнце – бренная звезда"). Склонность к лаконичности Булетти объясняет так: "Тот, кто пишет стихи, не должен много говорить, потому как такой человек – чудак, пускающий солнечных зайчиков, и если людям интересно смотреть на маленькие светлые пятнышки, отраженные его зеркальцем, то сам чудак им неинтересен". Игра слов, смыслов, юмор, ирония, эксперименты с формой присущи поэзии и прозе Булетти, обладателя премии Шиллера. В 1979 году вышел первый сборник его стихов "Берег солнца" ["Riva del sole"], затем были изданы книги "Не лучшему, не самому красивому" ["Né al primo né al più bello", 1979], "Третья тонкая книга стихов" ["Terzo esile libro di poesie",1989]. Все они переведены на французский язык. В период с 2001 по 2010 годы были опубликованы еще пять маленьких сборников, среди которых выделяется "Rosa shopping" [2005] – это и каталог керамических изделий, и художественный альбом, и сбор-

© Edizioni Casagrande SA, Bellinzona
© Анна Ямпольская. Перевод, 2013

ник поэтических фрагментов, где диалектизмы и разговорные фразы подчинены правилам итальянского стихосложения. В 1984 году увидели свет "Тридцать коротких рассказов". Булетти и в прозе стремится развлечь себя и читателя, направляя свое зеркальце на разные поверхности реальности.

Перевод публикуемых рассказов выполнен по изданию "Trentarac contibrevi" [Bellinzona: Edizioni Casagrande, 1984].

Краткое появление привидений при различных обстоятельствах

1. Одно швейцарское привидение обожало шоколад — особенно молочный или с фисташковой начинкой, но, поскольку у привидения не было рук, чтобы разломить шоколадку, и не было рта, чтобы ее съесть, всякий раз оно лишь измазывало шоколадом свою белую простыню. Из-за чего прочие привидения, жившие в том же замке, все больше его сторонились. Бедное привидение так страдало, что забилось в самую дальнюю каморку в самой высокой башне; когда остальные привидения после еженощных вылазок прятались по тайникам, оно выходило и до смерти пугало бывших товарищей жуткими стонами.

2. Одно привидение, бродившее неподалеку от государственной границы, каждое утро возвращалось на отдых в замок, расположенный на чужой территории. Проходя через пограничный пункт, привидение тревожило утренний сон пограничников: хотя оно и пугало их не нарочно, это его утомляло и отнимало много сил. А поскольку привидение было немолодо и чувствовало груз прожитых веков, оно не стало продлевать вид на жительство и отправилось далеко на юг. Теперь оно время от времени помогает племянникам, обитающим в старинной арабской крепости.

3. Одно семейство, отправившись на отдых в Гаргано, по рассеянности забыло запертого на балконе сенбернара: бедное животное умерло не от жажды и голода, а от огорчения. Прежде чем перейти в мир иной, оно пожелало превратиться в привидение несчастного брошенного сенбернара, преследующего жестоких и неблагодарных хозяев. Желание было исполнено. Но поскольку у сенбернаров доброе сердце, ко-

гда загорелые хозяева вернулись из отпуска, собака-привидение стало охранять их по ночам.

4. Мария-Адеодата Беретти весьма удачно вышла замуж за Бернардо Уелигера, самого молодого капитана во всей армии, продолжавшего уверенно подниматься по служебной лестнице и дослужившегося до подполковника. За это время у них родилось четверо детей: Эрнесто, Флавио, Альда и Изабелла. Когда появилась на свет Изабелла, а дед Бернардо, Бенедетто Уелигер, скончался, семейство перебралось в родовой замок. Вскоре отношение Бернардо к военной службе изменилось: то, что поначалу выглядело пустяшным недоразумением, оказалось предвестником глубокого кризиса, из-за которого Бернардо уволился из вооруженных сил, влился в движение пацифистов и за короткое время стал одним из его признанных лидеров. Вырвавшись из жестких рамок военной службы, к которой его готовили с детских лет, Бернардо разучился планировать свое время и почти перестал появляться в замке: Мария-Адеодата и четверо детей начали относиться к нему, как к родственнику-призраку. Когда же Бернардо предстояло ненадолго вернуться в лоно семьи, дети бежали в деревню зазывать туристов в замок с привидением: малютки зарабатывали на кусок хлеба, ведь, по сложившейся традиции, пополнение семейного бюджета было долгом Бернардо, однако, увлекшись высокими идеалами, он давно обо всем позабыл, и семейство еле сводило концы с концами.

5. Пять привидений рядовых, убитых в бою на Первой мировой, решили внести в свое существование веселую ноту — слишком уж тяжелые и печальные события довелось им пережить в последние месяцы земной жизни. Вместо замков, крепостей и бастионов они стали появляться на чердаках трактиров и ресторанов, вместо пугающего шепота и душераздирающих воплей принялись распевать народные песни и песни альпийских стрелков. В конце концов привидения договорились не носить белые простыни, и тогда их стали пускать в ресторанчики, как обычных посетителей: они обожали горланить вместе со всеми “На том берегу Пьяве”[1], придумывая на ходу новые куплеты и новые амурные приключения.

1. “На том берегу Пьяве” — знаменитая песня альпийских стрелков, популярная в годы Первой мировой войны. В ней говорится о таверне, расположенной на берегу Пьяве, где отдыхают бойцы — едят, пьют и любезничают с красотками. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

6. Одному привидению, появлявшемуся на Северо-Востоке Италии, нравилось выдавать себя за неприкаянную душу знаменитого писателя из Триеста. Привидению никто не верил, а некоторые откровенно издевались, спрашивая, что же за книги он написал. Привидение было невеждой, частенько путало авторов и приписывало себе сочинения разных триестинских писателей, подтверждая сомнения маловерных. От расстройства привидение похудело и вытянулось — отглаженная белая простыня была обнаружена горничной одной знатной дамы из Удине в шкафу, где хранился садовый инструмент. Горничная выстирала простыню и, поскольку та была как новенькая, постелила его хозяйке. Проснувшись после беспокойной ночи, дама села писать мемуары — с таким чувством, будто она всю жизнь ни о чем другом и не мечтала.

Француз

ЖИЛ да был человек, которого звали Луиджи и который, если не считать редких поездок на рынок, находившийся почти сразу за линией границы, да школьных экскурсий, никогда не бывал в других странах — лишь однажды на несколько дней съездил в Гренобль. Зато он частенько рассказывал об этом путешествии — подстрекаемый сотрапезниками или по собственной воле. За всю его жизнь это было единственное настоящее путешествие: наверняка он многому научился, все прошло замечательно, и теперь ему было что вспомнить. В родном городке — крохотном, чуть больше деревни, хотя там имелся старинный замок, — его прозвали "французом" и по прошествии нескольких месяцев начали относиться к нему, как к настоящему иностранцу — французу.

Теперь земляки думали и говорили о нем то немногое, что в городке знали о французах: дескать, Луиджи — человек остроумный и милый, но излишне галантный, не очень пунктуальный, не очень надежный, немного забывчивый, любитель вкусно поесть, но слишком уж дружен с Бахусом, немного провинциальный (никто не считал, что он из Парижа, все помнили, что из Гренобля), немного шовинист, симпатичный, компанейский и далее в том же духе. Луиджи — не как француз (в городе ничего не имели против французов), а как иностранец — по-прежнему поддерживал с земляками добрые и теплые отношения, но люди относились к нему отчасти настороженно, отчасти снисходительно: им хотелось, чтобы он оценил их любезность и был им за нее признате-

лен. Разумеется, благодаря Луиджи весь город узнал о французах много нового: например, поскольку Луиджи был трудолюбивым и честным, люди стали говорить, что французы работают не хуже жителей Вальтеллины; поскольку Луиджи нечасто захаживал в церковь — на Рождество, Пасху или на похороны, — прошел слух, что французы не любят запах свечного дыма и ладана. И так далее и тому подобное.

Тем временем, после бурных дискуссий, решено было отреставрировать старинный замок: на стройку стали стекаться рабочие из разных стран — югославские шахтеры (в замке имелся потайной подземный ход, который предстояло очистить от завалов), ломбардские каменщики, чернорабочие с юга Италии вместе со своими семействами, три инженера-немца, комиссия, присланная какой-то международной организацией, русский археолог с подругой, молодой английский археолог с родителями, медиевист-бельгиец, группа журналистов американского информационного агентства и много кто еще. Однако рядом с "французом" никто не казался жителям городка иностранцем, хотя другие не могли толком изъясниться на местном говоре, не задерживались дольше, чем того требовала работа (порой всего на пару дней), и, за исключением ломбардских каменщиков, не осмеливались поиграть в бочче на одной из многочисленных аллей городка (да и не выражали такого желания). С молчаливого согласия жителей дозволялось это только "французу": он-то и был настоящим иностранцем.

Когда реставрационные работы подошли к концу, в город начали зазывать туристов. Первыми появились голландцы, за ними — гости из других стран. Однажды июньским утром прибыл турист из Бордо — наверное, ученый: он упорно пытался получить сведения, которые никто из местных жителей, с кем бы он ни заговаривал в баре, не в состоянии был сообщить — никто не понимал его языка. Позднее в тот же бар заглянул "француз" (в рабочем комбинезоне — видимо, у "француза" был обеденный перерыв). Люди в маленьких городках приветливые, и по бару пронесся вздох облегчения: все ждали, что сейчас прозвучит диалог — короткий, но достаточный для того, чтобы услышать, как их "француз" говорит на родном языке. Однако Луджи знал только свой родной язык и местный говор, да худо-бедно объяснялся по-немецки, так что ответил он гостю жестами: дал понять, что он, дескать, извиняется и что ему очень жаль. Вопроса "соотечественника" он не понял.

Свидетели этой сцены, а позднее и все обитатели городка реагировали на нее по-разному и высказывали разные сооб-

ражения: одни решили, что французский язык очень трудный, раз его можно забыть за несколько лет, другие — что во Франции говорят на разных языках. Большинство заключило, что Луиджи их просто обманывает, и в городе утвердилось мнение, что все французы немного плуты.

Размышления св. Роха

НОЧЬЮ святой Рох свистнул, и его пес, всегда приходивший святому на выручку, прибежал и принес ключ от комнаты, в которой св. Рох томился взаперти вместе со св. Колумбаном, св. Галлом, св. Бернардино, св. Пеллегрино и св. Ромео: сидели они в самой обычной комнате, а не в тюремной камере, так что это больше напоминало не заключение, а домашний арест. Св. Рох разбудил товарищей. Теребя их, он повторял: "Эй! Похоже, нам и на этот раз удастся уйти. Ну-ка, живее!" Потом прибавил: "Ты, Галл, разбуди Иисуса, а мы — за остальными". Иисуса из уважения сажать под замок не стали, а всех остальных наверняка, как случалось не раз за время странствия, разместили в больших палатках. Охраняли их добряки стражи, которые, хотя на дворе было третье тысячелетие, не отказали бы такому известному и всеми любимому святому, как св. Рох. Все равно той же ночью небесная братия уйдет в другую провинцию — так оно и лучше, и если не простые стражи, то командиры знали это наверняка и знали, что начальство их за это похвалит. В палатках ночевали святые цыгане и цыганки, святые пастухи и погонщики верблюдов, святые пираты и кочевники. На сей раз Иисус, собираясь сойти на землю и прошагать по ней сотни и сотни миль, не стал брать с собой святых апостолов: Он поступал так и прежде (о чем рассказано в сказках), но для долгого и трудного путешествия Иисус выбрал святых, привычных к пешим походам, к ночевкам под открытым небом и к непогоде. Выступили они удачно, размышлял св. Рох, спешно уходя с товарищами прочь из города, но все же отряд получился чересчур многочисленным. Поскольку святые странники не вошли в официальные списки, которые составляли для Иисуса его помощники, Он не всех знал по имени и выбрать не мог. В итоге, чтобы не было недовольных, Он решил взять всех, кто захочет последовать за Ним.

Впрочем, этим святым хватало и переметной сумы — не то что апостолам, которые, при всем уважении к ним, никак не могли собраться в путь и договориться, в какой день сойти с небес на землю. На сей раз Мадонна не успела дать Сыну

обычные наставления: Она лишь увидела, как рано утром странники снялись с места и тронулись в путь. А наставления им бы весьма пригодились, особенно когда они брели по степи, где водились волки, или когда вступили в страну неверных. Путники убедились в этом, как только попали в первый же город. У ворот их ожидал приор. Он заявил: “Добро пожаловать! Как раз сегодня над юными горожанами совершается таинство конфирмации. Присутствие ваших представителей на церемонии будет для всех нас большой честью!” Пришлось двадцати пяти избранным вместе с Иисусом и святыми канониками бросить святых лошадей, верблюдов, святые повозки и всех своих товарищей на окраине и отправиться в церковь на городском автобусе. Приор произнес перед юношами и девушками речь, заканчивавшуюся такими словами: “За стенами храма каждого из вас ждет подарок от города — мотороллер: вы все старались и доказали, что впредь имеете право не передвигаться пешком. Помните только, что на мотороллере ездят по особым дорожкам, а дорожки эти не выходят за городские стены и приводят на одни и те же площади: так легче держать вас под наблюдением”. Во втором городе делегацию странников пригласили на церемонию посвящения в граждане: Иисусу предстояло освятить кресла, в которые бургомистр усаживал всех, кому исполнилось двадцать лет, — и мужчин, и женщин. Как сказал бургомистр в своей речи, “время тревог прошло, а взваливать на плечи ответственность легче не стоя, а сидя — еще лучше, усевшись поудобнее”. В третьем городе субботним утром начальник управления транспорта вручал в подарок молодоженам, вступившим в брак в течение последнего полугода, электромобили — маломощные, зато сберегающие энергию. О четвертом городе св. Рох предпочел бы и вовсе забыть: их ждали там в воскресенье, но из-за густого тумана путники заблудились в лесу, где в конце концов их приютил дровосек. До города они добрались в понедельник, как раз в тот день, когда главный ветеринар проводил забой лошадей: численность животных не должна быть высокой, поскольку использовать их как гужевой транспорт нет смысла. Святые цыгане и цыганки рыдали, кричали, что отрекутся от христианской веры и возьмутся за длинные ножи.

В пятом городе руководитель городского трамвайного и троллейбусного парка раздавал в подарок парам, отмечавшим серебряную свадьбу, годовые проездные билеты. В шестом городе золотой медалью и дипломом награждали крестьян, рабочих и служащих, всю жизнь проработавших на одном месте и выходивших на пенсию. В седьмом городе чествовали тех, кому исполнялось сто лет. К сожалению, Иисус не смог по-

здравить их лично: Ему в очередной раз пришлось успокаивать товарищей, которым, как всегда, приказано было встать лагерем на окраине, — зато на праздник отправились св. Рох, св. Бернардино и один святой пастух из Абруццо. Столетних старцев угощали вином, пирожными и исполняли в их честь народные песни. Самый мудрый из юбиляров, который даже написал несколько книг, произнес благодарственную речь. Он сказал: "Если вы спросите меня, как дожить до ста лет, мой рецепт — хорошая сигара, капля вина за обедом и главное — поменьше фантазии!"

Начиная со следующего города странников встречали все неприветливее, давая понять, что лучше им поскорее убраться. Потом их стали хватать и сажать под замок: как раз сейчас св. Рох в очередной раз выводил товарищей на свободу. А еще он размышлял, что их появление причиняет одни неудобства, что люди слишком привыкли к оседлой жизни, чтобы принять компанию святых странников, и что, наверное, лучше им воротиться назад. Впрочем, странствуя с Иисусом, можно ожидать чего угодно... К тому же они еще не побывали во Франции, а св. Роху так хотелось еще разок повидать Монпелье.

Добродетель не истребишь

СЕСТРА Модеста стряпала для всего монастыря: готовила она превосходно, и сестры всячески расхваливали ее кухню — скромную, как и требовало их положение, но при этом вкусную и разнообразную. Впрочем, чтобы сестра Модеста не возгордилась, в ее присутствии они старались ее не хвалить. Однажды вечером сестра Лукреция не заметила, что в трапезной находится сестра-повариха, на которую, дабы та укрепилась в смирении, наложили послушание убирать со стола и мыть посуду. Случилось это за вечерней трапезой в День поминовения досточтимой основательницы ордена, по случаю чего монахиням подали сладкое. Сестра Лукреция, выходившая поговорить с богомолкой, которая принесла цветы к алтарю, заканчивала ужин последней. Остальные сидели и ждали, пока она доест. Сестра Модеста уже стояла в дверях с тележкой и, как и все, не могла не услышать: "В жизни не ела такого вкусного английского супа[1]!"

1. Английский суп — традиционный итальянский десерт из бисквита и заварного крема.

Настоятельница с негодованием взмахнула рукой — говорившая сразу же поняла, что провинилась, она поникла, в трапезной повисло неловкое молчание. Толкая тележку, сестра Модеста вышла на середину и, как ни в чем не бывало, сказала: “Его Преосвященство монсиньор епископ тоже любезно заметил, что мой английский суп вкуснее, чем у самого Маркезини”. Кроме настоятельницы и сестры-хозяйки Орнеллы, никто и не помнил голоса сестры Модесты, показавшегося всем необычайно нежным и подобающим мастерству, с коим она готовила кушанья. Сестры поднялись из-за стола и разошлись, забыв о том, что Модеста нечаянно услышала слова похвалы. Однако матушка настоятельница не могла закрыть на это глаза. Тем же вечером она вызвала повариху и, скрепя сердце, сказала: “Наши сестры, управляющие Домом улыбки младенца, давно просят прислать им кухарку, чтобы та готовила для настрадавшихся мальчиков и девочек здоровую, питательную и недорогую пищу. Соберите вещи и завтра же, сразу после заутрени, отправляйтесь!”

На следующий день сестра Модеста пропела утренние молитвы, в последний раз приготовила сестрам кофе с молоком и покатила по улицам города туда, где ей теперь предстояло трудиться, на своем голландском велосипеде. Обычно она ездила на рынок за свежими овощами и зеленью: велосипед подарил ей мэр, когда втайне от всех она приготовила торжественный обед для правительственных советников, год назад лично приезжавших с проверкой. Сестра Модеста добралась как раз вовремя, чтобы испечь рогалики для своих новых сестер и проживавших в приюте девяноста пяти мальчишек и девчонок. На новом месте дела пошли замечательно, вскоре сестры, прежде страдавшие желудком и печенью, расцвели и почувствовали себя как никогда хорошо; потому-то они не сразу заметили, что с каждым днем маленькие постояльцы все сильнее любят кухарку, хотя и видят ее только во время трапезы, и привязываются к ней крепче, чем к учительницам и воспитательницам — крепче, чем к сестре Маргерите, которая с ними играла и занималась гимнастикой. Когда же сестры это заметили, им показалось несправедливым, что наставником для малюток становится чрево. Их терпение лопнуло, когда, не тратя лишнего цента из скромного бюджета, сестра Модеста сумела ввести не предусмотренный ранее полдник: ей казалось, что не по-человечески и не по-христиански не позволить детишкам узнать, что такое вкусный полдник, занимающий в распорядке дня малыша важное место. Сестра Модеста хорошо помнила свою бабушку, которая, прежде чем уйти на работу в поле, пекла ей по будням булочки с шо-

коладом — девочке дозволялось съесть их после того, как часы на колокольне церкви Мадонны делле Грацие пробьют четыре. А по праздничным дням у них всегда подавали сливовый пирог... Сестру Модесту перевели в Отдел паломничества и благочестивых походов, и она принялась кормить пилигримов. Хотя за недолгое время, проводимое в странах, по которым пролегали их маршруты, непросто было познакомиться с местными продуктами и приспособить их к нуждам паломников, — особенно преисполненных надеждой больных, направлявшихся в святые места, где свершались чудесные исцеления, — сестра Модеста каждый день выкраивала время для поездки на рынок, и велосипед повсюду следовал за ней: в почтовом вагоне, если паломники путешествовали поездом, или на багажнике передвижной кухни, если ехали автомобилем. Слава непревзойденной поварихи докатилась до самого Папы, и тот, собираясь в пасторскую поездку, приказал включить сестру Модесту в свою свиту, однако вскоре наша монахиня осталась без места: случилось так, что по возвращении из паломничества к святым местам, где никто не выздоровел и богомольцам было даровано лишь духовное утешение, подавая суп в вагоне для инвалидов, сестра Модеста сказала: "У супа семь добродетелей, одна из них — воскрешать мертвецов".

На что один из присутствующих — не мертвец, а глухонемой от рождения — немедленно ответил: "Вы должны разнести эту весть и обрадовать тех, до кого она еще не дошла!" Оставлять сестру Модесту среди паломников было нельзя: ее отправили в Святейшую пекарню, где изготавливали облатки, впрочем, вскоре ее и оттуда убрали, заметив, что многие, особенно молодежь, подходили к причастию, не подготовившись, так привлекал их изумительный аромат сих миниатюрных хлебов. Долго пришлось бы рассказывать, сколько раз сестру Модесту переводили на новое место и всякий раз отзывали обратно, и сколь возросло ее мастерство, хотя ей давали все более скромные и незначительные поручения. Однажды сестра Модеста не выдержала и поддалась отчаянию: постучав в двери первой обители, где она некогда была насельницей, она попросила дозволения поговорить с матушкой настоятельницей, а пока ждала, приготовила бывшим сестрам ризотто с морепродуктами. Когда настоятельница ее приняла, сестра Модеста стала умолять отправить ее миссионеркой к каннибалам Нунуру. Прибыв к каннибалам, она вскоре обратила их всех в христианскую веру, а они в благодарность избрали ее своей королевой.

Императорский туалет

ВЛАДЕЛЕЦ ресторана “Сочное бедрышко” без труда получил разрешение расширить и перестроить свое заведение. Визит члена Комиссии по историческим памятникам являлся пустой формальностью: главное — не нарушать правила, не создавать прецедентов, ведь ресторан находится в историческом центре. К заведению присоединяли помещение бывшего цветочного магазина, закрывшегося после сорока лет честной работы, поскольку его владелец умер, не оставив наследников. Все бы ничего, если бы не одна деталь: в идеально квадратном помещении, где у цветочника находилось отхожее место, предполагали провести ремонт и установить ультразвуковую печь последней модели, чтобы быстро удовлетворять запросы самых требовательных клиентов — нынешних и будущих. Каково же было всеобщее удивление, когда, сняв бачок унитаза, рабочие обнаружили на стене дворянский герб, а крючок, на который некогда вешали ведерко с водой, оказался из чистого золота. Тут уж примчался не один, а все члены комиссии: вскоре было установлено, что в достопамятные времена туалет принадлежал императору. Уважаемых членов комиссии ничуть не смутило то, что перед ними был классический “турецкий” туалет: они знали, что император отдал лучшие годы жизни борьбе с турецкими завоевателями, как знали и то, что сей великий государь проявлял любопытство к обычаям и привычкам неприятеля. Так было окончательно доказано, что император бывал у нас в городке: находка подтверждала предание, согласно которому он нередко захаживал к нам во время многочисленных походов с севера на юг страны и с юга на север. А еще предание гласило, что он самолично вершил правосудие, проявляя куда большую мудрость и справедливость, чем рядовые судьи, потому-то замыслившие преступление злодеи медлили, ожидая, что глашатаи возвестят о скором прибытии императора. Разумеется, работы по расширению и ремонту ресторана остановили и назначили специальную комиссию, в которую вошли молодые, но многообещающие историки, археологи, архитекторы, гражданские и военные инженеры, архивисты, библиотекари, палеографы, писатели и юристы.

Каких только поразительных открытий не совершили в те дни! Оказалось, что император останавливался в нашем городе не только на отдых, но и для того, чтобы обдумать и продиктовать проекты указов, а поскольку он славился умением беречь время и не тратить зря ни минуты, неподалеку от туалета непременно должна была находиться комната с

конторкой, стоя за которой, секретарь императора записывал все, что из места уединения неспешно диктовал ему августейший голос. И что эта комната с конторкой находилась в бывшем цветочном магазине. А в ресторане была приемная для просителей — пол ведь там вытерт больше, чем в других помещениях: прежде клиентов ресторана и всех заведений, размещавшихся некогда на его месте, по этому полу ступали, вновь и вновь измеряя комнату неровными, нервными шагами, охваченные трепетом жители города и окрестностей, ожидавшие ответа на поданное прошение или чести быть лично принятыми самим императором. А еще говорили, что все здание некогда принадлежало императору, что неспроста из окна мансарды город видно как на ладони: можно даже разглядеть вершину холма, с которого, двигаясь с севера, странник впервые видел город своими глазами, и порт, где, двигаясь с юга, садились на корабль, чтобы проделать последнюю часть путешествия по морю.

Все новые и новые догадки сыпались одна за другой: в здании напротив ресторана (несмотря на многочисленные перестройки, нетрудно было угадать его первоначальный облик) должна была располагаться казарма личной гвардии императора, справа от него — там, где сейчас универмаг, наверняка находились покои императорского семейства, за ними — покои прислуги. Справа от казармы — там, где сейчас центральное отделение Генерального банка, был Collegium doctorum (как известно, император путешествовал в сопровождении постигших все науки советников), а за нынешним зданием банка — покои прислуги ученых докторов. На небольшой площади между покоями прислуги императорского семейства и покоями прислуги ученых наверняка был разбит розарий, в котором по приказу императора — могучего, мудрого и видного мужчины — в честь всякой дамы, которой он был увлечен, высаживали розовый куст. Чуть поодаль — там, где сейчас парковка, простиралась широкая рыночная площадь: на ее северной оконечности была Лоджия купцов (сейчас там разместились столики трех кафе), на восточной — Дворянское собрание (сейчас там Федеральное страховое агентство), на западной — церковь Святого Мартина (которая там и стоит). И так далее, и тому подобное. Одним словом, весь город построили или, вернее, перестроили под императора. Комиссия представила властям подробный отчет, а после пресс-конференции о его содержании узнало все население. Затем комиссию распустили. Вместо нее немедленно возникло движение за реконструкцию города и возвращение ему облика эпохи императора, однако оно сразу же

встретило сопротивление сторонников движения за город для людей, членов Союза торговцев, Союза жильцов и даже местного историка Тита Вильи. Историк, которого в комиссию не позвали, грозился доказать, что ее выводы безосновательны и все открытия — полная ерунда: в его семейном архиве якобы сохранилась расписка, которую дед покойного цветочника, прибывший из Ниццы и также торговавший цветами, взял с местного художника, который нарисовал ему в отхожем месте дворянский герб, придумав его из головы.

Стремительные истории

1. Одна храбрая девушка из Беллуно, — рассказывала мне пожилая родственница, — вытащила из разлившейся реки двух близнецов, оставленных старшей сестрой без присмотра. За это героиня получила медаль и диплом. Когда она проносилась по улице на "веспе" (в то время мало кто из женщин пользовался двухколесным транспортным средством), все показывали на нее пальцем, вспоминая спасенных детишек. Поскольку Беллуно городок небольшой и его жители охочи до сплетен, прошло всего несколько месяцев, и все стали с нетерпением ждать, что девушка опять кого-нибудь спасет. Когда ей это надоело, она сложила весь свой скарб в сумку, водрузила сумку на багажник, завела мотор, включила первую скорость, потом сразу третью — и поминай как звали. А ведь в то время мало кто из женщин мог просто взять и уехать, уместив все свои пожитки в одной-единственной сумке...

2. Одному монаху верующие подарили английский мотоцикл — не новый, но в отличном состоянии: в молодости монах был чемпионом района в классе мотоциклов с полулитровым двигателем, однако, приняв постриг (наш монах решился на этот шаг в зрелом возрасте), перестал участвовать в соревнованиях. Теперь же, получив подарок от верующих, в чьей искренности нельзя было усомниться, монах оказался в затруднительном положении — между прочим, он опасался, как бы подол рясы не затянуло в колесо. И все же у него не хватило духу отвергнуть дар тех, кто так крепко его любил. Однажды ночью ему явился во сне святой Франциск и сказал: "Сын мой, не ряса, а сердечная радость отличает тебя от других, так отчего же не воспользоваться мотоциклом, который ты так ловко водишь и на котором ты не раз колесил по зеленым лугам, чтобы как можно скорее поделиться переполняющей тебя радостью с братьями?"

3. Два библиотекаря, занимавшиеся неспешной, рутинной, всеми уважаемой работой, обожали мощные быстрые мотоциклы; несколько лет они откладывали с зарплаты на блестящий новенький мотоцикл, и вот наконец мечта их сбылась. Всякую свободную минуту они вскакивали на железного коня и отправлялись в рискованные путешествия. При этом они любили сравнивать истории, в которые попадали, с тем, о чем говорилось в книгах, проходивших через их руки. В баре "Кентавр", куда библиотекари частенько заглядывали, можно было услышать: "Ах! Сегодня все было в точности, как в 'Неистовом'!", "А помнишь тот день, когда мы словно оказались в 'Божественной'?", "Нет, все-таки здорово было, когда мы попали в передрягу — будто в 'Освобожденном'!", "А как мы в тот раз измучились! Никогда не забуду — ну точно, как в 'Обстоятельствах'!"[1] Между прочим, библиотекари делали доброе дело, ибо благодаря им юные мотоциклисты города и округи познакомились не только с шедеврами итальянской поэзии и прозы, но и с многими прочими книгами.

4. Одна молодая художница продолжала появляться в академии, хотя уже дважды выставляла свои работы; она приезжала три раза в неделю на стареньком отечественном мотоцикле. Художница была милая, из-за чего ее работы казались лучше, чем были на самом деле. В основном, она писала картины небольшого формата, влезавшие в кожаную сумку на багажнике. Однако, выиграв конкурс проектов витражей для церкви Св. Севера, художница прибыла на место работы на катере "Аврора": церковь Св. Севера находится в средневековом городке, расположенном на острове посреди озера.

5. Молодой французский философ, успевший прославиться исследованиями феноменологии микроэмоций, каждое утро отправлялся за город на старомодном, но новеньком велосипеде; пока он крутил педали, голова его была занята размышлениями: утром, по пробуждении, все виделось ему ясно и четко. Вернувшись домой, философ тратил полчаса, чтобы записать результат утренних трудов. Будучи недоволен собой и стремясь достичь большего, он решил, что работа пойдет скорее, если он будет ездить на мотороллере. Поскольку ощутимых результатов это не дало, он решил пересесть на мощ-

1. "Божественная комедия" Данте Алигьери, "Неистовый Орландо" Лудовико Ариосто, "Освобожденный Иерусалим" Торквато Тассо и "Обстоятельства" Эудженио Монтале.

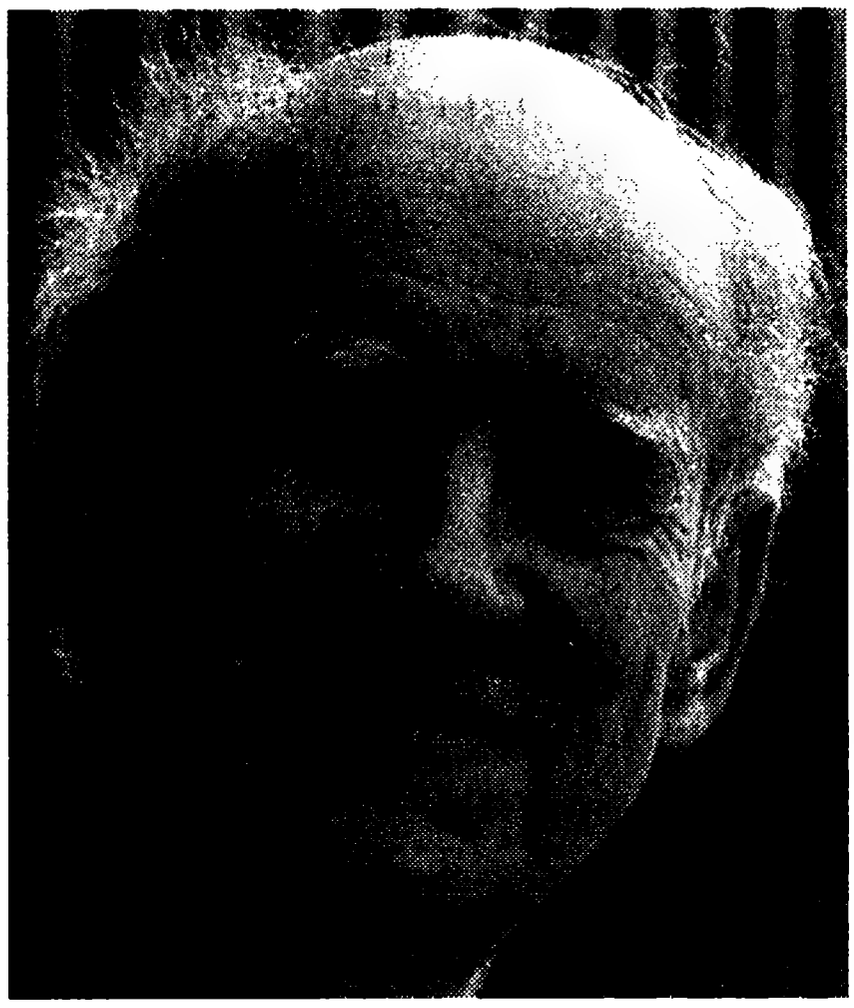
ный мотоцикл. Однако из-под его пера выходили все менее блестящие сочинения, да и читателей у него становилось все меньше. “С другой стороны, — рассуждал философ, — разве смогу я отказаться от наблюдения любопытнейшего явления: как разбегаются курицы, когда я внезапно выскакиваю из-за поворота у зарослей боярышника?”

6. Один психолог довольно поздно сел на мотоцикл, зато быстро научился отлично его водить; он ездил долгими и не всегда удобными дорогами при любых погодных условиях — ездил осторожно, хотя и не отказывал себе в удовольствии набрать разумную скорость. Потом он случайно попал в аварию. После аварии он решил, что с мотоциклом покончено. Наш психолог не был адептом какой-либо школы, получил эклектичное образование и поэтому, к великому возмущению и зависти коллег-ортодоксов, любил повторять, что многое узнал о человеческой душе, путешествуя на открытом воздухе под солнцем и дождем.

7. Один рабочий, живший неподалеку от границы, всю жизнь ездил на мотоцикле, славы ему это не принесло, зато с годами он заработал ревматизм и люмбаго. Как-то утром он опаздывал на работу и, мчась на высокой скорости (обычно он водил осторожно — у него, между прочим, было двое детей), обогнал автомобиль местного поэта, который был так впечатлен их встречей, что написал двустишие, которое в один прекрасный день, вероятно, принесет поэту славу:

Сидя в машине, я кентавра узрел.
Иль это привиделось мне?

Франц Холер



Камень

Перевод с немецкого Вячеслава Куприянова

Франц Холер [Franz Hohler] родился в 1943 году в Биле. Изучал германистику и романистику в Цюрихском университете. Холер по праву считается живым классиком швейцарской литературы. Его творчество чрезвычайно многогранно. Он пишет и романы, и рассказы, и стихи, и песни. Нередко выступает с музыкантами и художниками. Им написано более двух десятков книг для детей. Выбранный нами рассказ "Камень" ["Der Stein"] – заключительное произведение одноименного сборника, вышедшего в 2011 году. В качестве эпиграфа к сборнику выбраны слова Паустовского из "Времени больших ожиданий": "Стоило мне нагнуться, поднять на дороге белый камень и сдуть с него пыль, чтобы, даже не глядя, сказать, что это горячий от полуденного зноя морской зернистый голыш, и почувствовать досаду оттого, что невозможно описать жизнь этого куска камня, длившуюся много тысячелетий".

Перевод выполнен по изданию "Der Stein" [Luchterhand, 2011].

© 2011 Luchterhand Literaturverlag, München
© Вячеслав Куприянов. Перевод, 2013

ЧТО-ТО лопнуло.

Что-то плясало во тьме.

Рев. Треск. Шум.

Звездное сердцебиение. Смех созвездий.

Что-то тлело.

Что-то искрилось.

Что-то трескалось.

Что-то взрывалось.

Галактический гром. Времярождение.

Что-то взмывало.

Что-то вращалось.

Что-то взвивалось.

Это была она, Земля, никем не видимая, никем не слышимая, никем не осязаемая. Беззащитно летела она сквозь град Вселенной, которая все еще рождала сама себя, изрыгая из своих пралегких метеориты, которые таили в себе дыхание, таили в себе влагу, которые оставались на Земле и медленно отдавали ей воздух, медленно отдавали ей воду.

И так миллионы лет.

Жар из сердцевины шара стремился наружу, все больше огненных рек постепенно остывало, Земля примеривала на себя свой каменный плащ. Его омывали океаны, но плато и вершины громоздились все выше, простирали под солнцем свои берега и приглашали к жизни.

И так миллионы лет.

Что-то в воде начинало вздрагивать и трепетать, живое питалось тем, чем делились вода и камень, и всякой трепещущей жизнью.

И так миллионы лет.

Появились растения, папоротники пронзали корнями почву, по их стеблям карабкались насекомые. Из морей поднимали свои головы земноводные, выползали на сушу, осматривались и принимали приглашение. Плавники превращались в конечности. Рептилии волочили свои чешуйчатые животы по болотам. Хвойные деревья решались ступить на землю.

Так миллионы лет.

Ледяные ветры смешивались с жарким дыханием муссонов. За возникновением жизни следовало вымирание жизни. Динозавры ревели и гибли от своей собственной величины, вулканы доносили вести из глубины и затухали, птицы поднимались в воздух и кружили над частями света, гонимыми перепадами температуры и постоянно отдалявшимися друг от друга. На смену хрупкому яйцу пришло живорождение, новые звери пили молоко своих матерей, летучие мыши шны-

ряли в дебрях тропического леса, уже не опасаясь вымирания.

И так миллионы лет.

Возникли Альпы. Распри между каменными гигантами — их имена гнейс, гранит, доломит, известняк, сланец. Один из них, чтобы принять участие в битве, прибыл из южной пустыни — Веррукано, старец, рыжеватый, сын огненной матери-магмы, он ринулся на юнцов и прижал их к земле, пока те не сдались. Но, занявши место наверху, он оказался под натиском бурь, града, снега и льдов и быстро выветривался, то тут, то там от великана отрывалась глыба и с грохотом рушилась вниз, рассыпаясь на мелкие части.

Еще двадцать миллионов лет до того, как глаза человека увидели горы и со страхом заглянули в другие человеческие глаза, услышав грохот падения скальных обломков.

Ледники расползались и снова отступали, распространялись и гнали прочь племена людей на поиск более приветливых мест. Один из них, что расположился у подножия древнего Веррукано, взял с собой все эти обломки в дальнюю дорогу, и в своем более чем тысячелетнем странствии только разрастался. У него было достаточно времени, чтобы своим ледяным натиском отшлифовать эти камни, и когда язык его начал таять, а сам он отправился в обратный путь, то побросал их всех на новые места. Уходя, он оставил мульду, озерную впадину. Его следы постепенно затянулись почвой, которая покрылась травой и деревьями. Впадина заполнилась водой, из озера вытекла река, на берегу которой, на холме, кельты основали поселение, где римляне позже воздвигли крепость: Турикум.

Принято считать, что камень ничего не чувствует, ничего не слышит и ничего не видит. Так что приходится сказать, что камень, который двадцать тысяч лет назад с глетчером дошел до Цюриха и был сокрыт землей, вел монотонную жизнь, ибо он остался лежать под почвой, отторгнут от своих прежних спутников. Быть может, порой на него натыкался своим носом крот, быть может, скользил по нему дождевой червь, но о том, что творится там, на земле, он не ведал ничего. Без него Карл Великий основал Гросмюнстер, без него обезглавили Ганса Вильдманса — ему это было столь же безразлично, как и проповеди Ульриха Цвингли. И пушечные выстрелы, которыми французы во время Войны второй коалиции изгнали из города русских и австрийцев, не проникли вглубь почвы, а были лишь осколками грохота, с которым в плеоцене пенниновые слои проволоклись по коре Европы.

Камень не думает, камень не радуется, камень не грустит, камень не голодает, камень не испытывает страха, камень не любит, камень не ненавидит, у камня нет ни друзей, ни врагов. Камень не действует. Он испытывает лишь то, что творят с ним внешние силы, силы инерции, силы тяготения. Если он катится с высокой насыпи вниз, то говорят, что он кувыркается. Хотя это его катят и его кувыркают.

Когда ковш экскаватора выгребает камень из-под груды разрозненного щебня и бросает в контейнер для строительного мусора, поскольку обновляется канализация, он в первый раз после двадцати тысяч лет заключения снова выходит на свет. Мы бы дали ему с удовольствием вздохнуть и почувствовать свежесть весеннего дня, если б не понимали, что это непозволительное олицетворение. К тому же он покрыт слоем грязи, и, даже если она к концу недели, пока он лежит на самом верху кучи, постепенно высохнет, местами осыплется и обнажит его красноватую гладкую поблескивающую поверхность, все останется по-прежнему: камень ничего не почувствует.

Четырнадцатилетний подросток из местной общины, который вместе со своим школьным товарищем вечером первого мая приехал в Цюрих, поскольку прослышал, что здесь происходит нечто неслыханное и что в этом неслыханном можно принять участие, уже битый час слонялся среди людей в масках, надвинув на лоб капюшон своей толстовки и прижав к лицу носовой платок, пытаясь избежать облака слезоточивого газа, исходящего со стороны голубых марсиан, марширующих, прикрываясь щитами, по всей ширине улицы в противогазах и шлемах. “Свиньи!” и “Нацисты!” — слышал он крики слева и справа от себя. И тут он проходит мимо контейнера, немного помедлив, хватает камень, оборачивается и запускает его в преследователей.

Камень подчиняется законам физики, которые придают ему определенную начальную скорость и направляют по баллистической кривой. Он попадает вовсе не в голубой мундир, а в бегущую девушку, которую оттеснили в переулок. От удара в голову девушка падает, два полицейских склоняются над ней, третий вызывает по рации машину “скорой помощи”.

Подростку удается протиснуться в проход между домами, резво перебежать через двор и выйти с другой стороны, дальше он с неспешностью постороннего продвигается к вокзалу. Он прижимает носовой платок к глазам и вытирает слезы, отдающие едким запахом, но слезы не унимаются и когда запах газа проходит. Он был вынужден присесть на уступ витрины. Ему хочется, чтобы не случилось того, что только что случилось.

Но это случилось. Девушку увезли в приемный покой университетской клиники. Полицейский положил на носилки и камень. Врач, который поставил диагноз черепно-мозговая травма, заставил санитарку вымыть камень и сопоставил его с нанесенной раной. С точки зрения судебной медицины, причиной ранения является “действие тупой силы”.

Четырнадцатилетний подросток, родителей которого не было дома, дрожа от страха, включил вечером новости и услышал, что нанесен ущерб на несколько сотен тысяч франков и одна молодая женщина получила тяжелую травму от брошенного камня. Когда он услышал, что ее жизнь вне опасности, он вздохнул и, плача, опустился на постель. Он об этом никому не расскажет, и он никогда больше не совершит подобного.

После операции и долгого лечения в клинике девушка постепенно поправилась. По иску ее родителей было заведено уголовное дело против неизвестного, но следствие не дало результата и со временем было прекращено. По желанию девушки камень ей отдали, и она его сохранила.

В день своего восемнадцатилетия девушка вместе со своим другом выплывет в лодке на середину озера, достанет из сумки камень и бросит его в воду.

И, пустив несколько пузырей на поверхность, камень медленно исчезнет в глубине.

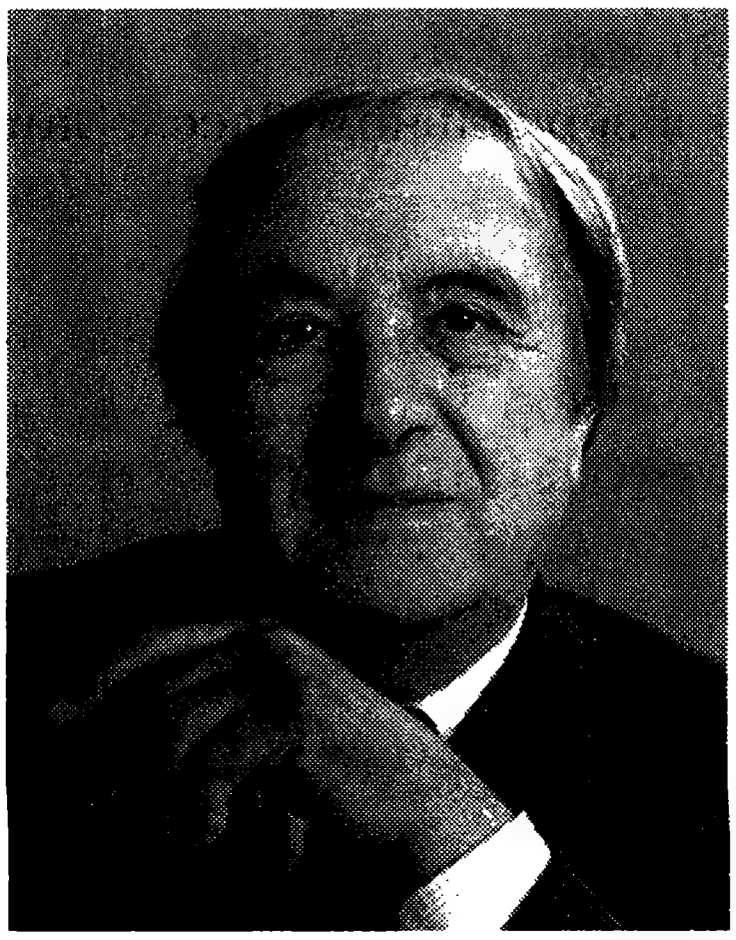
Камень делает то, что делают с ним.

Теперь он лежит на дне озера. Немного ила взметнулось со дна, чтобы уступить ему место.

Камень ничего не помнит. Камень не мечтает. Камень не питает надежд.

Нельзя даже сказать, что он ждет.

Жорж Пируэ



Т*ополя*

Перевод с французского Аси Петровой

Жорж Пируэ [Georges Piroué, 1920–2005] – писатель, литературный критик, эссеист, родился в городе Ла-Шо-де-Фон в кантоне Невшатель, большую часть жизни прожил во Франции. Лауреат швейцарской премии Шиллера за совокупность творчества. Автор многих романов, среди которых выделяется "Такая большая слабость" ["Une si grande faiblesse", 1966, премия Шарля Вейона] и роман об Иоганне Себастьяне Бахе "Ему во славу: фрагменты другой жизни" ["A sa seule gloire: fragments d'une autre vie", 1981], нескольких сборников рассказов, в частности, "Огни и места" ["Feux et lieux", 1979, премия Валери Ларбо], эссе о музыке и литературе: "Пруст и музыка будущего" ["Proust et la musique du devenir", 1960, премия Фемина-Вакареско]. Переводил с итальянского Луиджи Пиранделло.

Перевод выполнен по изданию "Травка-муравка" ["L'herbe tendre". Julliard, 1992].

ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ не раз вспоминали этот тополь и вспоминали тепло. Тополь перед окном, подобный "устремленному ввысь фонтану". Почему тополь и почему здесь? Они спрашивали, но он не мог им ответить. Он искал, но не отыскивал ничего в памяти, вернее, отыскивал, но

© Editions Julliard, Paris 1992
© Ася Петрова. Перевод, 2013

другое — как мы позже заметим. Остается, говорил он, признать очевидное: дерево на первой странице выгнала из-под земли сила воображения, потребность, которую он не в силах объяснить. Дерево шелестело, и в зеркальном блеске листвы угадывались миражи будущего.

Через его жизнь прошла целая вереница тополей: одни явились ему до, другие после того, что описан в книге. Один выглядел как царапина на горизонте. Писателю, который тогда еще не был писателем, показалось, что перед ним давший трещину холст. Проскользнуть бы в эту щель, убедиться, что пейзаж намалеван, увидеть изнанку, убежать через заднюю дверь. Шла война, и шел снег, он был молод, и ему хотелось спрятаться от жизни.

Другой тополь, городской, стоял в одиночестве посреди асфальтированного двора. Он смотрел на него в окно. К счастью, над городом бушевала гроза, ветер трепал его, как хотел, приобщая к тому, что творилось далеко-далеко, в чистом поле, на море. Ствол напоминал мачту, а листва — разорванный в клочья парус.

Еще два тополя виднеются на склоне напротив небольшой долины, где он живет. Они близнецы и чудесно ладят. Ветер не в силах их поссорить, столкнуть головами, они склоняются в одну сторону, обычно вправо, реже — влево. Они растут на соседских землях, а потому ни ему, ни другим к ним дороги нет. Он едва представляет себе их высоту и далеко ли до них. Владелец участка кажется ему крошечным, когда садовничает на пригорке, однако его голос и, увы, лай его собак доносятся вполне отчетливо.

Осенью или в сумерках, во время бури, деревья особенно прекрасны. Свет меняет их цвет. В покое они напоминают желтые восковые свечи. Темное небо придает им оттенок слоновой кости, делает их мертвенно-бледными, а луч солнца, пронзающий тучи, окрашивает их в медь.

Все эти тополя, рассеянные во времени и пространстве, — они ли породили тополь из книги или, напротив, сами из него вышли? (“Природа подражает искусству”, — говорил Оскар Уайльд.) Едва ли писатель разберется, что было вначале. Самое большее — почувствует, что тополя играют роль вех на дороге, ведущей бог знает откуда и куда. Какая разница, лишь бы время от времени на пути попадались эти пылающие свечи.

Только женщины замечали этот тополь перед окном, пламенеющий — а для них скорее струящийся — на первой странице книги. Одну из незнакомок он помнит до сих пор. Она приехала к нему в Париж из сельской глуши, где жила при доме священника. Всюду зелень вокруг — вот, пожалуй, почему она так восторгалась “устремленным в небо фонтаном”. Бывают

же такие внимательные читательницы. Но она, вдруг пришло ему в голову, говорит со мной о своем собственном мире, а я, дурак, размечтался, будто она вглядывается в мой. А счастливого сходства, намечавшегося между ними по мере ее рассказа, он из робости и стыдливости не заметил.

О другой женщине, последней читательнице, еще пойдет речь. Пока же запомним, что дамы, все как одна, угадывали в этом штрихе пейзажа нечто большее, чем просто деталь: перводвигатель, зерно, призванное умереть, преобразиться, утратив полностью былой облик; семя, дающее жизнь растению. И, однако...

Чем больше писатель об этом думал, тем яснее видел перед собой не тополь, а... заводскую трубу. На дворе лето, суббота, дело к вечеру. В этот час по традиции звонят городские колокола, некогда возвещавшие мастеровым, что работа окончена. Звонить уже незачем, но этот гул, как и встарь, разносит по улицам обещание праздника, смутное ожидание, надежду. И хоть никто уже давным-давно не работает допоздна, на город словно снисходит облегчение. Все переводят дух, успокаиваются, праздность вступает в свои права, ее заждались, ей предаются с упоением. Чем не il sabato del villaggio[1]?

Перед ним стояла подруга детства — или, по меньшей мере, школьных лет. Она шла домой из магазина. Он сидел на невысокой стене, отделяющей дорогу от площадки возле домов, где шумными стайками носились дети.

Он чувствовал себя влюбленным. Не в ту, что стояла перед ним, а в другую — отсутствующую, далекую. Он говорил о ней, он ничего вокруг не видел, кроме нее. Да и может ли быть иначе, думал он. Его слушали с удовольствием, вернее, не без сочувствия, чуть рассеянно, с полуусмешкой, поглядывая время от времени на детвору. Вдруг подскочил мальчишка — поцеловать маму. Все было так по-домашнему, неделя подходила к концу. Быть может, его даже пригласят на субботний ужин. Он говорит о женщине, которой нет рядом, отстраненно, бесстрастно, словно закат живописует, ей-богу, и сам этому удивляется. Живописует не без таланта, но не стараясь убедить. Он говорит, а она слушает развлечения ради.

Тогда-то, сообразил он позднее, и выросла на заднем плане заводская труба. Она четко вырисовывалась над крышами. Каким чудом? И вправду чудо, мираж, сто́ит взять карандаш и набросать на бумаге, как выглядели окрестности. Там и в самом

1. Отсылка к известному стихотворению итальянского поэта-романтика Джакомо Леопарди (1798–1837) “Суббота в деревне”. (*Прим. ред.*)

деле стоял какой-то завод, но его не было видно за жилыми домами. Так значит, труба перемахнула через них, чтобы пустить корни в сознании писателя, и, что самое странное, обернувшись тополем, прокралась на страницы его книги. Что случилось? Безотчетно захотелось удержать этот час, продлить его вдали от города? И вместе с тем — уберечь его от стороннего любопытства, заменив декорации, одев кирпичную трубу листвой? И вечер становится утром в залитой светом комнате, где уже свершилось все то, что произойдет только годы спустя после их беседы, и за окном вздымается и опадает тополиная ветвь. Вверх, вниз, с переливчатым шелестом, точно благословляет или тянется к чему-то — так рассказывает книга.

Итак, женщины большей частью его заметили — то ли источник, то ли пламя, связующие землю и небо, в зависимости от вкусов. Пресловутое чутье подсказало им: что-нибудь да кроется за этим трепетом зелени, свежесть раннего утра по пробуждении, предчувствие готовой нахлынуть жизни, грядущей радости. Они не ошиблись. На самом деле, труба превратилась в тополь много позже, на рассвете, когда, проснувшись на новом месте и глянув в окно, спрашиваешь себя: который час? Где я? И прежде ответа приходит догадка: там, где должно, не позже и не раньше, чем должно. Как тополь — на любом ландшафте всегда кстати.

Последний тополь писатель увидел в Анжу, у госпожи Х., в деревушке Сен-Клемен-дю-Пёпль, названной так не в честь какой-нибудь громкой народной революции, а потому что от латинского слова *populus* происходят и *peuple* — народ, и *peuplier* — тополь.

Три дерева образуют живую занавесь перед кухонным окном. Госпожа Х. сравнивала их с тополем из книги, пережившим столько превращений. Ей нравилось, что одни живые, а другой вымышленный, нравился тихий шелест одних и образ другого, возникавший в сознании по мере чтения про себя и наполнявший трепетом книжные листы. К несчастью, этих трех спутников уже подточила старость: вот-вот рухнут на крышу. Они стенали, предчувствуя скорый приговор. Радостные трели давних времен сменились погребальным тремоло. (Отголосок шубертовской “Липы”.) Их собирались срубить. Кажется, уже и срубили. С тех пор вымышленный тополь царствует безраздельно, ведь госпожа Х., уж конечно, выдумала себе такой, с не менее сложной генеалогией. Потому что каждый человек несет, прижав к груди, свое невидимое деревце, и

Труба-непоседа
Пасет стада тополей.

Ильма Ракуза

Перевод с немецкого Елизаветы Соколовой

Ильма Ракуза [Ilma Rakusa] – знаменитая писательница и литературовед. Родилась в Южной Словакии в 1946 году. Отец – словенец, мать – венгерка. В пятилетнем возрасте Ракуза переехала в Швейцарию. Окончив гимназию в Цюрихе, с 1965 по 1971 годы училась славянской и романской филологии в Цюрихе, Париже и Ленинграде. В 1971 году защитила кандидатскую диссертацию по теме "О мотиве одиночества в русской литературе". Помимо собственного творчества, Ильма Ракуза переводит с русского, французского, сербохорватского и венгерского языков. Среди переведенных ею авторов Чехов, Цветаева, Ремизов, Пришвин, а также Дюрас, Кертес и другие. В 1991 году Ракуза была удостоена переводческой премии Петрарки. В 2003-м – премии Адельберта фон Шамиссо, вручаемой писателям, родившимся за пределами немецкоязычного пространства, но пишущим на немецком языке. Наконец, в 2009 году ее книга "Ближе к морю" ["Mehr Meer"] получила Швейцарскую книжную премию, главную литературную награду Конфедерации. В настоящий момент русский перевод этой книги готовится к печати в "Издательстве Ольги Морозовой".

Перевод выполнен по предоставленной автором рукописи.

© Ilma Rakusa
© Елизавета Соколова. Перевод, 2013

Лето

Вспыхнув, небо две вещи высказало:
вот и ноченька душная близко
вот и час долгожданной воды
Пересохла земля уже
в жерле жуткой жары
Жадно влагу везде
ищет племя цикад
изможденно обвисла листва
только вечером облачко вроде
да по ночам свысока на балконе
надежда: сияет огнями

В*оскресенье*

Второй уже день молчит
телефон. Жду я или не
жду? Солнце крадется вокруг
дома, бел как снег куст
на склоне. Упадок? Нет. Это
жуки сверкают и свет ложится
в тени. Все зеленеет. Ветер
холодно щиплет траву. Я
садовник себе. Так вперед же
в благодать моей кожи. Бережно.
Нежно. Но без опаски.

Сентябрь

Затхлое воскресенье. Телефон
молчит. Снежный воздух в саду.
Холод. Месяц девятый отныне
стареет фатально, бесцветно. Уже
поздно. Слишком, наверное. И
сыро. Ягоды на рябине птиц не
пугают нисколько. Ствол березы
от дятлов не скрыть. Повсюду
лишайники. Грабли. Стулья в саду
вялы и белы. Больше не нужен
стол. Пустота наступает. Приказ.

Туман

Пока еще здесь лента дороги
пока еще белым сияют стволы берез
пока еще стадо пасется пятнистых коров
и шерстистых овец
но надолго ли
пара клубы поднимаются
вверх бесцветность видна их
бурлящее море нас
прямо сейчас
сейчас
наперерез поглощает

Свет

Свет листьям клена
китайского
нежно привержен
а в зелени сочной вокруг
он безучастно
играет
в одиннадцать
карты сданы
идет все путями своими
гребень собака
свет солнца

Вверх или смерть

Лежат они или стоят. Качаются тоже
нередко. Словно нехотя, с протянутой
рукой. Мелочиненайдется, бормочет
высохший рот. Каждой копейке рады,
когда борода вся в клочьях. А кожа,
как шкура. Колени с трудом управляются
вверх по ступенькам метро. Подайте.
Право на право. Молвит их больной беспокойный
взгляд. Пока не подломятся ноги. Опять
новый день. Мы не тонем. Мы рвемся вверх.
Легко говорить. Когда наверху смерть.

Если бы

Если бы стало меньше

пустынь и бойцов
армий и жадных дельцов
фанатиков и подлецов
эпидемий и ложных побед
клоак и бараков
изгнанников и голодных
мерзнущих и бездомных
сирот и продажных девиц
слепцов и изношенных лиц
мусорных свалок и ядов
страстей и неверных взглядов
страхов и катастроф
убийц и воров
ростовщиков и лжецов
брошенных и одиноких

Если бы стало больше

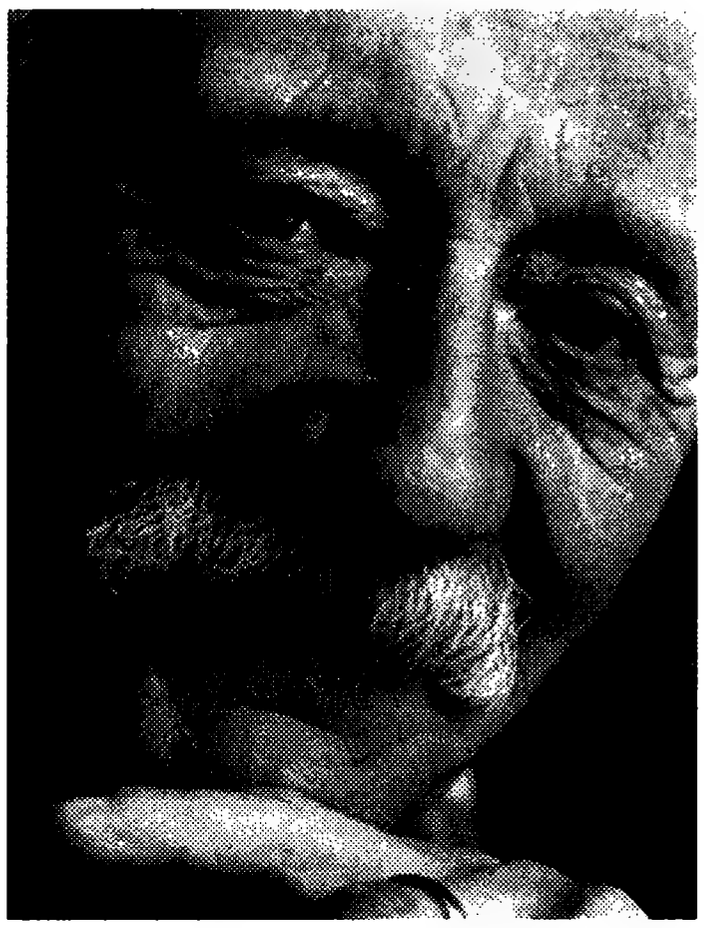
дельфинов и китов
оленей и языков
детских игр и ледников
глетчеров и заповедников
песен и диких лесов
урожаев и почек здоровых
водохранилищ и прерий
отважных и аборигенов
мудрецов и спортсменов
добрых и миролюбивых
любящих и любимых
крепких семей и врачей без границ
космополитов и мастериц
хранителей и обычаев
и надежды неограниченно.

Рифмы против страха

Лист приголубь
поцелуй пса
уста храни
жалей леса
гребень смири

рифмуй с собой
сон наряди
выглади боль
книгу качай
рюмку склони
воздух люби
шаль оттени
в море вглядись
чувствуй траву
чаду не лги
не ешь жратву
учись во сне
пиши как есть
пекись о дне
срок назначь здесь
выправь рукой
стой и спеши
не проморгай
снегом кружи
дверь отвори
зови войти
себя дари
чуткость расти
сердце пытай
в поля пустись
но отдыхай
мира коснись

Морис Шаппаз



Чудо женщины

Перевод с французского Михаила Яснова

Морис Шаппаз [Maurice Chappaz, 1916–2009] – выдающийся поэт и писатель, лауреат многочисленных литературных премий, в том числе Большой премии Шиллера и Гонкуровской премии за поэзию (1997), кавалер французского ордена Искусств и словесности, автор более 40 книг, переводчик Вергилия и Феокрита. Супруг известной писательницы Коринны Бий (в Швейцарии их пара была не менее знаменита, чем союз Арагона и Эльзы Триоле во Франции). Перепробовал массу профессий: работал на радио, сотрудничал в журналах, трудился на семейном винограднике, участвовал в строительстве плотины Гранд-Диксанс, вдохновившей его на создание "Песни Гранд-Диксанс" ["Chant de la Grande-Dixence", 1965]. Много путешествовал, побывал в Лапландии, Непале, Тибете, Ливане, России. Наиболее известные поэтические сборники Шаппаза: "Зелень ночи" ["Verdures de la Nuit", 1945] и "Панихида" ["Office des morts", 1966]; высоко ценится его поэтическая проза: "Великие дни весны" ["Les Grandes Journées de printemps", 1944] и "Завещание Верхней Роны" ["Testament du Haut-Rhône", 1953, премия Рамбера], а также "Портретные зарисовки жителей Вале: легенда и истина" ["Portraits des Valaisans en légende et en vérité", 1965].

Ниже приводится его юношеская поэма "Чудо женщины" (1938).

Перевод выполнен по изданию "Стихотворения Мориса Шаппаза" [Poésie de Maurice Chappaz, tome I. – Editions Bertil Galland, 1980].

© Fondation de l'Abbaye: Troillet-Bille-Chappaz
© Михаил Яснов. Перевод, 2013

О июль расцветающий в венах
я желаю всего на свете
В алой памяти крови моей
скопление ила движение плоти
жажда жажда
жажда дымится
пена ложится
И только ты моя радость
ты будешь дана мне ночью как лес
кто в нем услышит биение сердца?
полночный призыв твоего сердца?
о тишина
этот голос поющий во тьме.

Едва ты склонишься ко мне
руки мои обретут красоту
едва прильнешь ты к моей груди
станешь во мне как поющий источник
как пение вод
о нежность рождающая волну
о изобилие этих волн
Я знаю что ты похожа на землю
и тоже приносишь простые дары
что тело твое наливается солнцем до той поры
когда настает ему час
превратиться в хлеб
ты вся в дарах которые мы осязаем
ты покрываешь нас урожаем
ты схожа с плодами
у каждого солнце свое и сладость своя
и я назову тебя мед молоко виноград.

Приходит радость
на смену стихиям и непогоде
все ей подвластно
все сходится в слове “чудо”
Женщина сколь ты прекрасна
в тебе великая сущность
ты скользишь в объятья любви
и если солнце иссякло
и если царит одно безмолвие ночи
то в сердце твоем еще остается лето
еще остается все
И нет у меня иного желания
только сказать это слово — “чудо”
кто выскажет ночь? кто расскажет лето?

Женщина-ночь
влажная и прохладная
как заливные луга
ты нежнее чем кончики листьев
ничто тебя не прядет и не ткет
как пеньку этих сумерек
единственную твою накидку
Женщина-ночь
подруга моя постоянная
ты крадешься шагами ребенка
дочь пещер и ручьев
о прозрачная темная ночь
ночь где пышность и мудрость
таинственны
как богини Египта.

Все исчезло
но творение вновь начинается
с крошева звезд
Как я хочу это все обрести
вместе с тобой
мы будем лежать друг подле друга
и тогда незнакомый покой освежит
полную образов плоть
дозревающую как вино
Властелины надменные тело душа
вы покоитесь возле меня
вы вмурованы в ночь велики и прекрасны
и я начинаю вас познавать
рядом с женщиной рядом с ее наготой
обремененною свежей весной.

Соловьи расцветающие во тьме
поют:
о солнце
наша слава и наш супруг
ты оживаешь днем
ты оперяешься медом и злаком
суровое зрелое солнце
бриллиант в нашем горле
хлеб бедняка
тайное золото
испивающее соки из мощных дубов
о солнце мы восхваляем

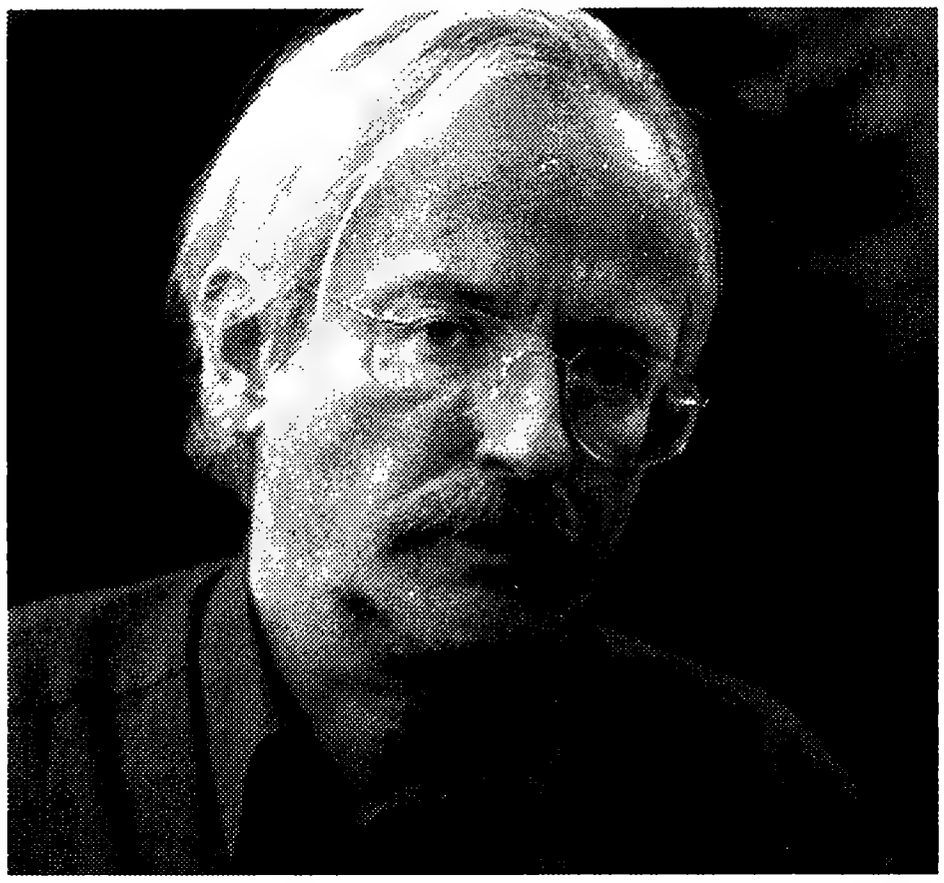
траву деревья летнее небо
ирисы гроз
и наших братьев
мужчину и женщину
мир который они создают
их любовь и их одиночество
в ночи подобной спящему городу.

О женщина ты рождаешься в иле
держательница глины
ты сотворяешь мужчин и реки
ты наделяешь их волей Бога
ты сотворяешь свое хозяйство
ферму и повседневный труд
равнину и небо
и Ханаанскую землю с ее садами
О женщина все в тебе тяжело и прекрасно
ты как гроздь винограда
в тебе сочленяется вся природа
среди деревьев с высокими кронами
среди животных напуганных шумом
ты идешь на лице твоем нет ни тени
и шаги твои воспевают твое величие.

Юная
ты в морской волне
ты трава на лесной тропе
ты единственная из всех
для мужчины подле тебя
Юная
ты сама отдаешь свое сильное тело
оно прекрасней всех новых стран
куда порою стремится кровь
ты знаешь сердцем
что солнце моя затмевает печаль
дарующая сверканье и зелень.

Но теперь мы едины и наши лица
скрыты под нашими волосами
мной овладело чувство
мне прежде неведомое
Твое лицо рассекает ночь
и глаза твои во время любви
словно падающие звезды
словно паруса
словно бескрайний рассвет уступающий дню.

Урс Аллеманн



Перевод с немецкого Святослава Городецкого

Урс Аллеманн [Urs Allemann] родился в Шлирене, близ Цюриха, в 1948 году. Вырос в Германии, изучал германистику и англистику в Марбурге, социологию и социальную психологию в Ганновере. С 1975-го по 1976 год работал редактором в журнале "Театер хойте", с 1986-го по 2004-й – редактором литературного отдела газеты "Базлер цайтунг". Любит устраивать поэтические перформансы и делает это мастерски. В 2012 году приезжал в Москву и выступал в клубе "bilingua".

Литературным дебютом Урса Аллеманна стал сборник стихов "Блязайка" ["Fuzzhase"], вышедший в 1988 году в цюрихском издательстве "Амманн". В 1990 году там же вышел сборник прозы "Ёз и Кко." ["Oz & Kco."]. Рассказ "Бэбифакер" ["Babyficker"], вызвавший скандал провокативностью языка и содержания (автора едва не обвинили в педофилии), участвовал в конкурсе на премию Ингеборг Бахман 1991 года и получил в Клагенфурте премию земли Кернтен. В 1993 году в венском издательстве "Дойтике" вышло еще одно прозаическое произведение "Старик и скамейка. Пять месяцев пустословия" ["Der alte Mann und die Bank. Ein Fünfmonatsgequassel"].

В последующие годы Аллеманн снова обратился к стихам, стараясь приспособить традиционные стихотворные формы для литературных экспериментов. Строгими античными метрами оды и элегии отличаются стихи сборника "Holder die Polder. Oden Elegien Andere" [Urs Engeler Editor, 2001], непереводимое название которого

© 1988 by Ammann Verlag AG, Zürich
© 2001 Urs Engeler Editor, Basel, Weil am Rhein, Wien
© 2003 Urs Engeler Editor, Basel und Weil am Rhein
© 2008 Urs Engeler Editor, Basel/Weil am Rhein, all rights reserved
© Святослав Городецкий. Перевод, 2013

отсылает к юношескому прозвищу Гёльдерлина и польдерам Северного моря. В вышедшем двумя годами позже сборнике "красиво! красиво!" ["schœn! schœn!"] главную роль играют сонеты. Во многих стихотворениях, вошедших в сборник "im kinde schwirren die ahnen" [Urs Engeler Editor, 2008] Аллеманн перелагает известные поэтические тексты других авторов, используя при этом средства современного языка. В названии сборника Аллеманн обыгрывает знаменитую строку из стихотворения Гёльдерлина "Половина жизни" ["Im Winde klirren die Fahnen"]. Известные тексты видоизменяются, заново переписываются и в сборнике "В мире зеппа. стихи и тому подобное" ["in sepps welt. gedichte und ähnliche dinge"], вышедшем в венском издательстве "Клевер" весной 2013 года. Переводы публикуемых стихотворений выполнены по изданиям "Блязайка" ["Fuzzhase", Ammann Verlag, 1988], "красиво! красиво!" ["schœn! schœn!", Urs Engeler Editor, 2003], "дочь. чуется. звонарь. потеха" ["im kinde schwirren die ahnen". Urs Engeler Editor, 2008], "Holder die Polder" [Urs Engeler Editor, 2001].

Завирака

Я не этот рухнувший ствол
Я — не ветер, что его вырвал
Я — не глаза, увидевшие его
Я не помню ни ветра, ни ствола, ни глаз
Я не помню себя
Его вообще не было

Танка

Вверх по лесенке
из слов я вылезаю из
себя на ветку

Качаясь смотрю в траву
Глаз и зад: два яблока

Блязайка I

Блязайка сидит в поночневшей клетке
и думает о плохом
Луна — не яйцо для вашей масло-травно-
вздохофонно-бетховéнно-уксусной бурды
Тот кто повесил на небо луковицу
должен играть траурный марш

Мужественное “ура” умирающим лесам,
герр Оберлемми!
Блязайка сидит в поночневшей клетке
и думает о плохом

Блязайка IV

Блязайка краснея не врет: горшкуя сидит на ночке́
Цепочкой из ваших зеркал неизбежно
играет он: взлетает: детей зачинает:
процветает: тает: средь досок сгнивает!
Когда Василий на опушке откачав полдела
попадет в яму
Иван хорошо начав поймает зайца в бору
и не научится рыть другому
“ушки машки/просят кашки/без промашки/
поднимаются тормашки/ошки-ашки”
Блязайка ждет не жалея: на нем ночует горшчок

Два плохих стиха

1

Когда смерть и скрипка
встречаются в одной строчке
то стих плох
неважно о чем он

2

Смерть сидит в скрипке
и хрустит сухарем

Дико грустное

Я деревце я голый сук
веревка кто на ней висит
обрежу грянусь и лежу
покуда смерть ко мне спешит

Я гроб я голая доска
я гвоздь и кто его вобьет
лежу внутри стою вокруг
не быть бы мне ни до ни от

Для лиры

Рука что в грудь войдя тебя за сердце
возьмет вновь упадет. Она твоя. Склонишься
ты поднять ее. И сердце вдруг выскочит. В паденье
мы давим землю сердцами, руками, зубами своими.
Чтоб ее задушить.
Но срывается с плеч голова и летит
и себя накрывает взлетая вовне изнутри
так что трудно представить
но можно сказать. Кто-то думает так проливается
кровь. Далеко-далеко слышен плач. Терпеливо
кости мертвых что всюду лежат тянут песню
свою. Если б мимо Орфей проходил
я бы спел ему песнь этой лиры
передал бы ему часть несчастных
погубленных ей.

Автопортрет в переплетенье веток

Я
в корабле древесном
паданцы считаю

Осенневед с рожденья
слух тумана самоутешенья
маньяк до падших яблок

Под шансоны ветра
я запинаясь
числю урожай

Вокруг меня
роса ассоциаций
невольных блещет

Там и тут
выстреливают вспышки
слилась с изнанкой явь

Из-под земли
щетина скорби прорастает
и жаждет слез

Двенадцатичастник

Тот треугольник светлый над самим лицом.
Язык что к боли сильной тянется хлыстом.
Стремленье рук сжать в пальцах сладостную плоть.
Желанье вожделенеделю побороть.
Эвоэпифананнакарладжессика.
Стук букв нет что-то каплет хлынув как река.
Не надо слов ведь кожа развзрывается.
И звук со слухом слиты криком до конца.
Нет никаких привязок хлоп и все прошло.
Она полощет рот и рррр ей тяжело.
Ее стыдливость ею ощущается.
А жизнь моя к рутине возвращается.

метрический приплод

са́пфо кусает приманю ре́вня
сбросила ход: fuckты / глупцы юнцы зубцы концы /
сердцы бах!
прочь!
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
what if сёды грёзды слёзды музозды сёды лёды но-
ды мёды чудоёды и
дуделки на сопелках на ревелках безделлл
what... и сно... о ба... ду-ду... та-та... там и... what
слёзы в
слизёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё

лепистих (3, 14–15)

ask? леп! и ад... off... стих... асклепий, ядов! с-с-с ти-
хо. склеп и ад. о:(ф:(стих, а? СК, лепи ад of ст. ich!
as clap! и adieu, www! *сти*, ха!
с-к—л-п— пи-и! a dove’s tear... ah

швейцарская одощка

шо это за шит это шо ода ну нешто
ты шо тут размовляешь шо баешь ты а
ашклепий тоже нам тут
нашелся топай отшуда
тебе нечем заняться шо ты строчишь-то
тупой шо ль совсем или шо ты скажи нам

“адов адов” вот г’адость
ты для наг’радов шо ль а

щас видно шо шарик за ролик заехал
ты ниже плинтуса понял полный ноль ты
пог’одь в свои годы
читать свои г’оды пшёл ты

тебя может шо-то г’ложет ты шо а
всё это псу под хвост положишь понял
нет ну напиши разок
один хоть хороший стишок

Жозе-Флор Таппи

Из сборника “Ангары”

Перевод с французского Натальи Шаховской

Жозе-Флор Таппи [José Flore Tappy] – поэтесса, писательница, переводчица латиноамериканской поэзии, исследовательница швейцарской франкоязычной литературы, живет в Лозанне. Переводила на французский язык Анну Ахматову. Лауреат двух самых престижных поэтических премий за сборники “Скитаться смертной” [“Errer mortelle”, 1983, премия Рамю за поэзию] и “Ангары” [“Hangars”, 2006, премия Шиллера].

Другие сборники: “Огниво” [“Pierre à feu”, 1987], “Грунт” [“Terre battue”, 1998], “Лунное” [“Lunaires”, 2001].

Перевод выполнен по изданию Hangars [Editions Empreintes, 2006].

* * *

Смотрит в пропасть
этот дом на обрыве
пустоте открытый

кренится
на якоре трав непрочных
точно
дал он течь и идет ко дну
беззащитной добычей
подступающей ночи

© 2006 Editions Empreintes
© Наталья Шаховская. Перевод, 2013

* * *

О пусть петляет
разматываясь как нить
дорога
чтоб та нить мне опутала ноги
привязала
к земле

* * *

Послушна
облаками взята в ученье
упражняюсь
в умении пропадать
скользить мимо

а ты упрям
остаешься там
охапки поленьев
валя и валя
в очаг без огня

* * *

Горстями тмина или песка
зудом мурашек
ночь засыпала мне глаза
проще ей загасить слезы
чем меня повести
сквозь новые пораженья

новые слоги
с которыми вновь не слажу
в лад не сложу

* * *

Целая жизнь свелась
вот к этим
немногим квадратным метрам
пепла и всякой трухи
об изморозь трутся слова
скребутся об окаменелость
вросших в гайки болтов
словам невтерпеж
высечь искру

хилые спички
ломаются безнадежно
одна за другой

Фредерик Ванделер

Перевод с французского Михаила Яснова

Фредерик Ванделер [Frédéric Wandelère, p. 1949] – поэт и эссеист. Написал несколько работ о музыке, в частности о творчестве Гуго Вольфа, переводил на французский тексты песен Шумана, Малера, Шуберта. Свой первый сборник стихов назвал "Уроки простоты" ["Leçons de simplicité", 1988], определив таким образом свое поэтическое кредо. Его миниатюры отличают легкость, точность штриха и музыкальность.

В представленной ниже подборке – стихотворения из "Уроков", а также из сборников "Четыре гробницы ветра" ["Quatre tombeaux de vent", 1991] и "Своенравная компания" ["La Compagnie capricieuse", 2012, Федеральная премия по литературе].

Перевод выполнен по изданию "На помощь сорнякам" ["Hilfe fürs Unkraut" ("Secours aux mauvaises herbes") [Carl Hanser Verlag, 2012].

Осенний сверчок

На косяке, перепрыгнув порог,
Сидит, поджидая меня, сверчок.
Каждую осень он тут как тут –
То ли его в гербарий возьмут?
То ли положат между страницами?

© Frédéric Wandelère
© Михаил Яснов. Перевод, 2013

То ли на полке оставят сушиться?
А ему бы прижиться здесь до весны
Привратником тишины.

Мимолетное откровение

Снег — нечаянная благодать
ночи — на травах и крышах

и на тропинке в прибрежных скалах —
чтобы мелом отмеченное увидать.

* * *

Рассеянная Смерть, меня не замечая,
Прошла, пресыщенная, как звезда балета.
Я бросил на нее неосторожный взгляд —
И вот она уже мне не дает покоя.
Бесцеремонная, хлопочет впопыхах,
Лишь об одном мечтая —
Чтобы ее носили на руках.

* * *

Однажды между Валенсией
И Винаросом, в чистом поле,
Забравшись в спальный мешок,
Я дремал, пока раскрывался то ли
Закат надо мною, то ли цветок.

Звезды в небе текли, как века.

А я просыпался и взглядом сонным
Следил за улиткой — она, слегка
Покачиваясь, под светом лунным
Брела, как верблюд, по огромным дюнам
Спального моего мешка.

Окно вовнутрь

Шумы моего подъезда — хроники
шагов, звонков, скрипящих дверей,
искушения для теней,
любовь, уснувшая на подоконнике.

* * *

Резким рывком возвращается осень.

Палые листья взлетают стаей
к преальпийским снегам в лазурь.

Стирка листьев — до белизны
на всем пространстве серых пейзажей.

Перерыв на чай

Жерару Масе

Содрогаясь боками, чайник бурлит над огнем,
на все голоса повторяя жалобы кипятка,
который рвется наружу, пока
железная крышка его усмиряет
нетерпеливым крылом.

Фредерик Ванделер

Клэр Жну

Из *сборника* “В*ремена тела*”

Перевод с французского Натальи Шаховской

Клэр Жну [Claire Genoux] – поэтесса, автор чувственной пейзажной лирики, живет на берегу Женевского озера, в Лозанне. Лауреат поэтической премии Рамю за сборник “Времена тела” [“Saisons du corps”, 1999]. Пробовала свои силы и в прозе: сборники новелл “Грудь под корой” [“Poitrine d’écorce”, 2000] и “Ее голые ноги” [“Ses pieds nus”, 2006]. Другие стихотворные сборники: “Овальное солнце” [“Soleil ovale”, 1997], “Прирученное Время” [“L’Heure apprivoisée”, 2004].

Перевод выполнен по изданию “Стихотворения. 1997–2004” [Poésies 1997–2004. – Bernard Campiche Editeur, 2010].

* * *

Одиночества ли тоска
заставляет меня желать раствориться
в твоем пейзаже
озеро ты мое чья неспокойная плоть трется о небо?

© Bernard Campiche Editeur
© Наталья Шаховская. Перевод, 2013

теряющийся твой лик
твой басистый голос в частом дыхании волн
сопрягающий бег часов и мои посиневшие губы
откуда я помню их?

я распробовала слюну твою как алкоголь
сколько томилась я по твоему языку водяному
чтоб он властно раздвинул мне зубы
тверд как язык мужчины
на вкус как металл
по крутой твоей скальной скуле вплотную с моей
и по руну твоему из тумана меж моих бедер

вот и в этот вечер хочу я хмелеть на твоем животе
по которому пепельной рябью
пробегает дрожь возбужденья

* * *

Быть бы мне с этой землею единой плотью
чтобы кровь стучала в висках пульсом времен года
выгибаться бы виноградника трепетной грудью
под беглым касаньем мягкой перчатки ветра

но это несовершенное тело лежит на траве
как посторонний предмет
невосприимчиво к лику неба
склоненному над откосом
к маленьким треволнениям почвы под ним

и все же оно вернется в круг бытия этих мест
складки его одеянья с песчаными рукавами
затвердеют недвижным рельефом
и будет оно свободно
от страшной свободы сухого листа

Клэр Жну. Из сборника "Времена тела"

Джорджо Орелли

Перевод с итальянского Евгения Солоновича

Джорджо Орелли [Giorgio Orelli, p. 1921] – крупнейший поэт, пишущий по-итальянски, лауреат Большой премии Шиллера (1998), премии Кьяра "За вклад в литературу" (2001) и других швейцарских и итальянских литературных премий. Родился в городке Аироло (кантон Тичино), окончил филологический факультет Фрибурского университета. Живет в Беллинцоне, где в течение многих лет преподавал итальянскую литературу в средних учебных заведениях. Автор поэтических сборников "Ни белое, ни лиловое" ["Né bianco né viola", 1944], "Перед новым годом" ["Prima dell'anno nuovo", 1952], "Синопии" ["Sinopie", 1977], "Просветы" ["Spiracoli", 1989], "Утиная шея" [Il collo dell'anitra", 2001] и других, книги рассказов "Один день из жизни" [Un giorno della vita", 1960], ряда критических исследований, таких как "Отзвук вздохов" ["Il suono dei sospiri", 1990] о поэзии Петрарки, "Качество текста. Данте, Ариосто и Леопарди" ["La qualità del testo. Dante, Ariosto e Leopardi", 2012]. Переводам Орелли на итальянский язык обязаны второй жизнью латинские, французские и немецкие поэты, в том числе Гёте.

Для поэзии "тосканца в Тичино", как назвал Орелли его университетский учитель, выдающийся итальянский филолог Джанфранко Контини (1912–1990), характерны вкус к диалогу, иронич-

© Giorgio Orelli
© Евгений Солонович. Перевод, 2013

ность, искусно маскируемая под серьезность, тонкая музыкальная организация стиха. По оценке Пьера Паоло Пазолини, в стихах Орелли "все удивительно реально".

В переводе на русский отдельные стихотворения Орелли были напечатаны в "Иностранной литературе" [1998, № 9] и в книге "Итальянская поэзия в переводах Евгения Солоновича" [М.: Радуга, 2000]. Перевод рассказа "Прогулка по Беллинцоне" вошел в книгу "Современная швейцарская новелла" [М.: Радуга, 1987].

Переводы публикуемых стихотворений выполнены по изданиям "Синопии" ["Sinopie". Milano: Mondadori, 1977] и "Утиная шея" ["Il colle dell'anitra". Milano: Garzanti, 2001].

Джованне

Было очень тихо. И поскольку тебе
не удалось, как ты ни старалась,
ни погремушку съесть, ни зайца, ни белую собачку,
ни другую зверушку, про которую даже твоя мама
не может сказать, ослик это, или лошадка,
или кто-то еще, ты напоследок срыгнула,
после чего мы устроили тебе небольшую прогулку.

Было по-воскресному очень тихо, и в легком тумане,
из его голубизны, возникали внезапно
мирные, без малейшего следа
кровопролитных баталий замки,
белые, в купоросных потеках,
столбы виноградников,
убегающие вверх по склонам,
сонные слоистые скалы.
О нет, мы не плутали в тумане,
твоя мама и я, ты наблюдала за нами
даже во сне, мы шли очень медленным шагом
в стороне от реки, шли медленным шагом
по всплывшему из тумана островку среди пастбищ,
по полям, радующимся испарине,
и из целомудренного тумана доносились звуки,
похожие на голоса твоих зверушек,
и, если б ты видела, как бегает ягненок
цвета зимнего луга,
где он остался один...

На полпути мы повстречали других матерей,
других отцов, с Па́олой, родившейся незадолго

до тебя, с Ма́урой, родившейся вскоре
после тебя, и, покуда мамы,
не знакомые, как ни странно, между собой
(твоя — без шляпки,
той самой, ради которой добрая сотня
куропаток поплатилась жизнью),
обсуждали цвет ваших глаз и волос,
время остановилось, и мы, отцы, старые друзья,
от нечего делать
укрылись туманом в сторонке,
чтобы дать матерям возможность
позвать нас, как будто мы далеко.

Вернулись мы по шоссе,
и это совсем другое дело:
туман поглощал дома по самые крыши,
обступая страхами нас.

Е*сли бы*

“Господа, если бы, допустим в порядке бреда,
по нашему небу
(такому красивому, такому ясному, такому мирному)
пролетели сто реактивных самолетов и один из них,
представьте, упал,
две трети Беллинцоны уничтожил бы пожар
от разлившегося керосина.
Если бы, господа, — тоже допустим в порядке бреда —
оказалась разрушена плотина Луццоне
(подземный толчок, оползень —
и прощай стопроцентная надежность),
через час пятьдесят восемь минут
уровень воды в Молинаццо
поднялся бы на четыре метра.
Словом, господа, со всех сторон
нам угрожает опасность,
и вам известны и без меня
страшные последствия паники, а посему
гражданская защита должна базироваться
на идеологической платформе
(я имею в виду защиту
определенного типа демократии
и уважение основных свобод
и духовных и моральных
ценностей, но об этом мы поговорим позже).

Для первой лекции, господа,
этого, полагаю, достаточно,
тем более я вижу, что лед сломан,
чему я рад.
Спасибо.”

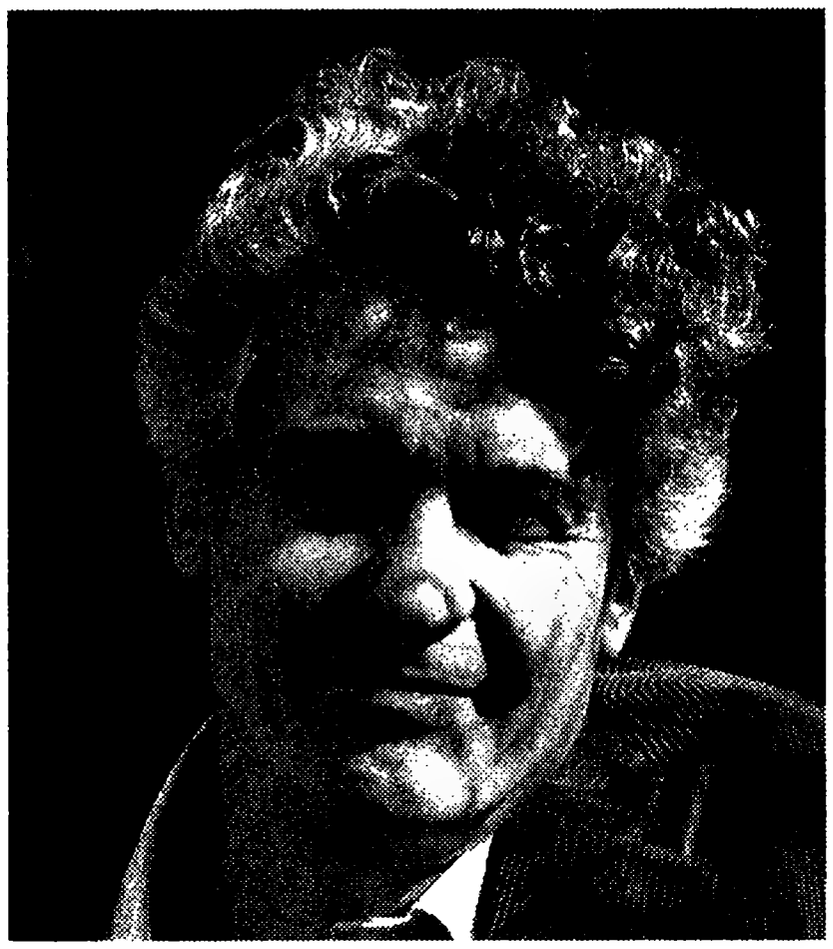
Который год

Который год, как моего отца
не мучит жажда,
а может, продолжает мучить.
“Я мог бы выпить, — говорил он в пору сенокоса, —
целое море”. Он хотел сказать,
что жажда нестерпима,
как, например, в тридцатой песни
“Ада”[1] или в тринадцатой “Освобожденного
Иерусалима”[2].

Я не могу отца представить
в так называемом загробном царстве,
чему виной, по-моему, не жажда,
мучительная жажда работяги,
намаявшегося за день так,
что лучше было
по вечерам ему не докучать,
дать отдохнуть — и, значит, помолчать.

1. Данте. Божественная комедия. I: “...А здесь я жажду хоть бы каплю влаги” (63); “А ты казнись, — сказал Синон, — напором / Гнилой водицы, жаждой иссушен...” (121–122); “...И ты бы ринулся на первый зов / Лизнуть разок Нарциссово зерцало” (128–129). Перевод М. Лозинского. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. “Кто пьет из чаши, кто из шлема...” Торквато Тассо. Освобожденный Иерусалим, XIII, 77, 5. Перевод подстрочный.

Фабио Пустерла



Перевод с итальянского Евгения Солоновича

Фабио Пустерла [Fabio Pusterla, p. 1957] – поэт, пишущий по-итальянски. Окончил университет в Павии, защитив дипломную работу по итальянской диалектологии. Преподает в Лугано, в Итальянском швейцарском университете и в лицее. Автор поэтических книг "Уступка зиме" ["Concessione all'inverno", 1985], "Бокстен" ["Bocksten", 1989], "Пляска смерти" ["Danza macabra", 1995], "Потерянный остров" ["Isla persa", 1997], "Канувшая толпа" ["Folla sommersa", 2004], "Истории армадила" ["Storie dell'armadillo", 2006], "Всплывшие земли. Избранные стихотворения 1985–2008" ["Le terre emerse. Poesie scelte 1985–2008", 2009], "Звездное тело" ["Corpo stellare", 2010] и других. Большое место в литературной работе Пустерлы занимает перевод: в числе поэтов, прозвучавших благодаря ему по-итальянски, прежде всего следует назвать Филиппа Жакоте.

Выступает Пустерла также как прозаик и как критик, что подтверждает его недавняя книга пограничного жанра "Когда Къяссо было в Ирландии и другие путешествия между книгами и действительностью" ["Quando Chiasso era in Irlanda e altre avventure tra libri e realtà", 2012], составленная из небольших рассказов, эссе, выступлений. Упоминая этот сборник, нельзя не процитировать заглавие одного из вошедших в него текстов: "Попробуй читать стихи. Увидишь, они говорят о тебе". Сказанные о стихах вообще, эти слова в полной мере относятся и к стихам самого Пустерлы, поэта, который, говоря о себе, говорит со своим читателем, говорит о нем. От-

© Marcos y Marcos
© Евгений Солонович. Перевод, 2013

крывает ему языком поэзии свое отношение к истории, к неуютному сегодняшнему миру, к литературе и судьбам ее творцов, к природе, которая может быть доброй и злой к человеку в зависимости от жизненных обстоятельств, а значит – о жизни и смерти. Разговор поэта с другим, с другими, понимаемый как разговор с самим собой, требует искренности, образной и интонационной, допуская патетику лишь в исключительных случаях. Метафора у Пустерлы, какой бы сложной она ни выглядела на первый взгляд, не только не усложняет восприятие поэтического высказывания, но делает его более выпуклым, ярким и, следовательно, более доступным.

Творчество Пустерлы отмечено рядом швейцарских и итальянских литературных премий, в том числе премией Монтале [1985], Большой премией Шиллера [2011], Швейцарской литературной премии [2013].

В переводе на русский отдельные стихотворения Пустерлы печатались в "Иностранной литературе" [1998, № 9 и 2002, № 9] и вошли в книгу "Итальянская поэзия в переводах Евгения Солоновича" [М.: Радуга, 2000].

Primo giorno di scuola [*Первый день школы*] взято из: Fabio Pusterla, *Folla sommersa*, gli alianti, Marcos y Marcos, Milano: 2004, p. 95. *Stlanik* [*Стланик*], *Museo Lumière* [*Музей братьев Люмьер*], *Corpo stellare* [*Звездное тело*], *Istruzioni per la colonia marina* [*Правила поведения в приморском лагере*], *Le cose degli occhi* [*Что говорят и не говорят глаза*] взяты из: Fabio Pusterla, *Corpo stellare*, gli alianti, Marcos y Marcos, Milano: 2010, pp. 15–16, 51, 106, 112, 195.

Первый день школы

Сентябрь? И сентябрь может споткнуться
в баре о стол, за которым каждый
из четверки картежников старается
перекричать другого;
появляется сын банкующего,
щуплый, белобрысый, в сияньи
первого дня школы.
Тосты я уже заказал, кока-колу тоже и за все заплатил,
вы мне стоите кучу денег, ты и твоя мамочка,
говорит один из сидящих стоящему сыну.
Считает взятки, сдает карты, смеется,
а сын в это время
истуканом смотрит на мир.
Один говорит по мобильнику:
я сейчас занят, обсудим потом, успеем,

чао, другой ругает себя за то, что сыграл дамой,
а тут еще и мамаша явилась,
чтобы испортить ему игру,
вошла и растерянно улыбается, спрашивает:
что нового.

Стланик[1]

Через день-два менялся ветер,
теплые струи воздуха приносили весну.

Варлам Шаламов

Один окликал с моста, хрупкого, как он сам,
вода, опять вода, говорил он,
не говоря: тут, как всегда,
встречаемся — при свете воды.
Между землей и небом.
Тут рядом, при свете. Лаская все, что можно: перила,
кору мертвых деревьев, осколки костей,
огрызки расчесок.
Руками, глазами, голосом: защитить
того, кто всплывает сзади, снизу,
незримый, из самых мрачных глубин — неожиданный
промельк птицы при свете
промоины. И повторять "спасибо",
смиренно, предупредительно.

Другого тащили водоросли:
он считал речные подвохи, коряги, воронки.
Раздавленный временем, скользил
в текучей мути, без признаков жизни.
Отказавшись наотрез от всего: ни глаз, ни пальцев,
ни малейших признаков памяти или чувств.
Крики, может быть,
крики, впаянные в решетки, в терки решеток.
Камни,

поросшие мхом, липкая грязь,
жесткое свеченье льдов, змеиные норы,

1. Заглавие стихотворения и эпиграф связаны с рассказом "Кант" из книги Варлама Шаламова "Колымские рассказы". Стланик, или стелющаяся по земле сосна, — дерево, похожее на сибирскую сосну, распространенную к востоку от Байкала. Необычное растение, стланик ложится на землю при первых зимних холодах, предвещая неизбежные снегопады, чтобы подняться спустя многие месяцы предвестьем теплых струй воздуха, говорящих о близости весны. (*Прим. автора.*)

розы без корней. Он жевал стекло,
он тонул за всех.

Третий был далеко, недосягаемый[1].
Все шел и шел:
через усталость, через пустыню. Преданный,
шел с поднятою головой, еще держался на ногах.
Под облаками и сквозь облака пешком.
Под облаками и за облаками, шел, шатаясь,
но шел, но взглядом
искал Амур, чья грязномутная вода
тащила мертвые кости к морю,
запретному. Говорят,
он декламировал Петрарку.
Поднимите глаза, говорил он, поднимите тело,
ищите
крылья.

Снежит. Простертый кедрач поднимается,
метит путь на морозе первоцвету,
предсказывает плоды, половодье.

Тем временем армадил держит путь на север.

Музей братьев Люмьер

По какому-то поводу или без всякого повода
на бескрайней зимней равнине
в длиннополых шинелях
дружно бросив наземь оружие
забыв о дымящихся лошадях
которые сбились в табун
и о неприятеле от которого знают
недолго ждать неприятностей

сотня тысяча солдат пустилась в пляс

с прискоком стуча неистово в стылую землю
каблуками высоких ботинок

1. Имеется в виду Мандельштам, умерший от истощения зимой 1938 г. в лагере под Владивостоком. В двух первых строфах стихотворения должны угадываться, по замыслу автора, метафорические образы поэтов Филиппа Жакоте и Пауля Целана, переводчиков Мандельштама на французский и немецкий язык. (*Прим. перев.*)

рты разинуты в мучительно-радостном крике
а в середине два офицера изображают
простодушный танец любви быть может последний.

Звездное тело

Думая о тебе, понимаю: ты дума,
которую даже думать не смею, ты саднящая боль,
хочешь того или нет, ты обращаешь
мой взгляд к светящейся точке.
Ты обрывок воспоминанья
потерянный, мой невыцветающий сон
без снов и воспоминаний, дверь, которая закрывает
и открывает вид на бурную реку. Ты содержанье,
не укладывающееся в слове,
и при этом ты в каждом слове
отзываешься эхом-вздохом. Ты мой шелест листьев,
мои весны, голос, зовущий из незнакомого места,
которое знаю и узнаю́, иначе и быть не может,
ты мой волчий вой на луну, голос оленя,
смертельно раненного. Ты мое звездное тело.

Правила поведения в приморском лагере

Запомните: два коротких свистка.
По этому сигналу
(смотрите не прозевайте)
начинаем петь.
Сразу в полный голос, громко, пусть слышат
все, как вы поете. Один короткий свисток —
и замолчали. Купаемся тоже по часам
и по сигналу. Все сразу, с криками “ура”, бегом в воду,
и не вздумайте жаловаться, что она холодная.
В лагерь
вы приехали, чтобы отдохнуть и окрепнуть,
а морская вода, как известно, богата йодом.
Если ночью вас вдруг будет тошнить, пеняйте
на себя, если вас вырвет в палате
или над раковиной и вы ее засорите. Понятно?

* * *

Падре Романо не скрывает,
что недоволен вами. Всеми без исключенья.
Вы пили с девчонками, обжимались,

сквернословили, гоготали. Он запрется
у себя в комнате и будет молиться,
без еды, пока не придете и не покаетесь.
Стыдитесь.

* * *

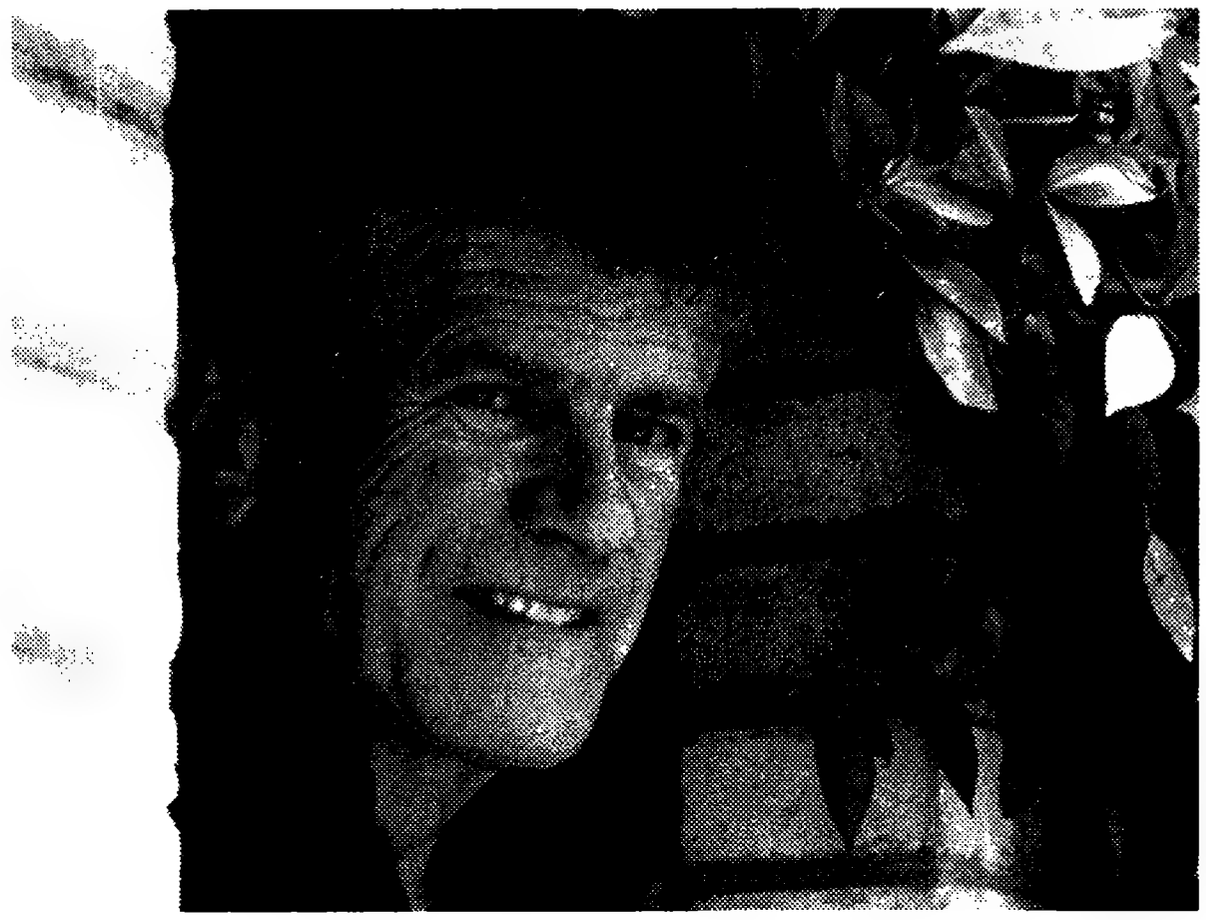
Так мы ездили на море, но моря не было.
Это похоже на бред.
Но нет, это правда. А когда оно было,
оно пахло морем, того же цвета, что небо.
Это была ностальгия, что б она ни означала.
Что-то, чему не сулило конца загадочное начало.
Запретная любовь. Буря вдали от причала.

Ч*то говорят и не говорят глаза*

Что говорят глаза что могут сказать
вещи которые никакими словами не выразить
свет воздуха и воды
ветер гуляющий в низинах и на равнинах
размах времен то за чем не угнаться и что вызывает
толчки крови крик крови
смутное будущее
уверенность и смерть земной оболочки
то что вспыхивает и сжигает дотла
то что сверкает:

это вещи которые глаза говорят и не говорят
и множество разных других вещей немые молитвы
твари которые плавают либо летают
ласки поцелуи вертикальные озера
водопады рудники.

Альберто Несси



Перевод с итальянского Евгения Солоновича

Альберто Несси [Alberto Nessi, p. 1940] – поэт и прозаик. Пишет по-итальянски. Родился в Мендризио (кантон Тичино), вырос в пограничном с Италией городе Кьяссо, где, с перерывом на учебу во Фрибурском университете, преподавал до выхода на пенсию итальянскую литературу в средних учебных заведениях. Автор поэтических сборников "Будние дни" ["I giorni feriali", 1969], "На обочине" ["Ai margini", 1975], "Цвет мальвы" ["Il colore della malva", 1992], "Ирис лиловый" ["Iris viola", 2004], "Похититель мелочей. Избранные стихотворения (1969–2009)" ["Ladro di minuzie. Poesie scelte (1969–2009")", 2010] и других. Первую книгу прозы – сборник рассказов "Безумная земля" ["Terra matta"] – опубликовал в 1984 году. В активе Несси-прозаика еще один сборник рассказов – "Цветы тени" ["Fiori d'ombra, 1997] и романы "Все выходят" ["Tutti discendono", 1984], "Лирика" [La lirica, 1998], "На следующей неделе, возможно" ["La prossima settimana, forse", 2008].

Поэзия Несси открыта будничному миру, миру простых вещей и простых людей, о чем говорят названия его первых книг, "Будние дни" и "На обочине", – недаром в одном из интервью, вспоминая от-

from Alberto Nessi, "Ladro di minuzie" © 2010 Edizioni Casagrande SA, Bellinzona Switzerland.
© Евгений Солонович. Перевод, 2013

Стихотворения "Берн, автобусная остановка, вторая половина дня", "Воскресное утро" и "Ночной дождь" получены переводчиком от автора в рукописи. Редакция благодарит Альберто Несси за любезно предоставленное право безвозмездной их публикации на страницах журнала.

роческие годы, поэт признается: "Мы читали Пратолини, Павезе, Пазолини. Я хотел быть неореалистом". И дальше, в том же интервью: "Жизнь накладывает отпечаток на людей. Я глубоко убежден, что я такой же, как человек, идущий по улице... Для меня литература – все равно что рукопожатие". О героях своих стихотворений и с самими их героями Несси говорит на их языке – простом, без малейшего признака высокопарности, равносильной, в его представлении, ложному пониманию поэтичности. В основе его образов – все то, что составляет повседневную жизнь человека, живущего или случайно оказавшегося рядом: насущный хлеб, орудия труда, отношение к ближнему, к природе. Несси тесно в четырех стенах, для него важно встречаться с читателями, участвовать в поэтических фестивалях, открывать для себя новые "площадки", одной из которых осенью 2010 года стала для поэта Москва, где он с успехом два вечера подряд читал свои стихи перед благодарной аудиторией.

В переводе на русский отдельные стихотворения Несси печатались в "Иностранной литературе" [1998, № 9 и 2002, № 9] и вошли в книгу "Итальянская поэзия в переводах Евгения Солоновича" [М.: Радуга, 2000].

Перевод публикуемых стихотворений выполнен по изданию "Похититель мелочей" ["Ladro di minuzie". Bellinzona: Casagrande, 2010].

Усопшие

Странные эти усопшие, смотрят на нас из ниш
с виноватым видом. Увидимся позже,
говорят. Этот – улыбчивый, в галстуке-бабочке,
в котором ходил на концерты; тот
сбил во хмелю парнишку и сам разбился;
выцветшая женщина, умершая в двадцать девятом,
мне бы понравилась в этом платье
с вышитыми листьями вроде листьев платана,
покидающих ветку, чтобы нарисовать
восьмерку в утреннем воздухе.
Ну а ты
неуверенно смотришь на меня,
ты, с ямочкой на подбородке,
сомневаясь, что жил на свете. Вылитый я.

На *границе*

Что ты укажешь в таможенной декларации?
Фартук в белую и синюю клетку
Ножной “Зингер” на котором ты шила
обручальное кольцо которое не снимается с пальца
чайный сервиз с дамами в кимоно
за стеклянной дверцей буфета?
Или жестяную коробку со шприцем
без которого ты не могла бы делать уколы соседям

ходики с гудящими в лад
золотыми пчелами времени?
Неужели придется оставить таможенникам
в их беспощадных и жалостливых руках
и шерстяную шаль сидя в которой подолгу
ты перебирала печальные тайны
когда к этому располагала пасмурная погода?

Январская ода

1.

светлым глазам затемненного таксомотора
                который ноябрьской ночью
отвозил мою мать когда у нее начали отходить воды

детской коляске зеленого цвета которая до меня
возила полную вшей одежду эмигрантов

нелегалу которого чуть не загрызла овчарка
                в кобольдовом лесу
куда я ходил школьником в подаренном пальто
                преследуемый блюзом

рассвету над парижанкой
                приносящему мне твои безвременники,
Аполлинер,
и обнажающему боль несчастных в любви[1]
                на путях сортировочной горки

1. Парижанка – согласно толковым словарям итальянского языка, седло или сортировочная горка на товарных станциях. “Этот странный топоним вызывает в моем воображении известное стихотворение Аполлинера о безвременнике, которое я очень люблю”. (Из объяснения автора в письме переводчику.) “Боль несчастных в любви”, по-видимому, ассоциируется у Несси со стихотворением Аполлинера “Песня несчастного в любви”. (*Прим. перев.*)

чудесной тайне вербаскума пробивающегося
на станционном бестравьи
под бряканье бдительных молотков
для простукивания колес

беспокойным асфальтовым воробьям
товарищам наших дурачеств
и свидетелям наших чудачеств спокойным чайкам
на перилах балконов

туннелям куда возвращаются с платформы
экспедиторы чтобы вдохнуть немного тумана
переправленные любезным Хароном
с асфодилонского луга

мечтам о скитаниях в товарных вагонах
бледно-зеленого цвета
в июльские дни когда мираж трепещет над шпалами

лохмотьям истории поступающим на фабрику
по переработке макулатуры
и оставляющим горький запах бумаги
в бумагорезке забвенья

2.

плодородному пеплу оседающему на глазах
стоит нам вспомнить
хромую женщину на велосипеде и мальчонку
что плакал в сквере

работницам табачной фабрики
вышедшим на демонстрацию и в первую
очередь
Марианне бившей себя по ягодицам
перед носом хозяина

моей тете в шелковой блузке
сшитой из американского парашюта
которая поднимая глаза от “Зингера”
видела свет за холмом

жителям Кьяссо пришедшим на помощь Гарибальди
в битве при Сан-Фермо
с торбами хлеба и фуража
через пограничные лощины

светлым асфальтам этого
с латинским когда-то названием города
где покоится наша дудочка вечных лозоходцев
в поисках любви

милосердным грудям подавальщицы из буфета
богини ночной смены из-за которой сходили
с рельсов вагоны

огню иллюзий зажженному парнями
что все еще играют *Perdido*
в лесочке куда залетают среброгласые соловьи
расцветая в тени

грудам металлолома под белым криком акации
покрывающей женщин таящих
весенние гроздья веселья

морозному январскому дню на горе святого
где я собираю
обломки снов возвращающих ушедших друзей
и женщин которых я мог бы любить

3.

своевольной будлее ищущей свет на ничейной земле
и дарящей бабочку пропавшему без вести
что сидит как ни в чем не бывало на тротуаре

белым воротничкам и платанам на улице Команчини
в ожидании
итога пари на стакан вина с человеком
выскочившим на футбольное поле

красному знамени моего отца
которому не удалось перейти границу
когда его выследили черные псы
ядовитой ненависти

рассвету зарянки блинкующей
за придушенным скрипом
вагонов катящихся в тумане навстречу
тупиковому упору

Фалоппии-Ахерону под асфальтом
уносящему прачек и закаты
и кровь скотобойни и нашу струистую
отроческую мочу

заброшенному двору “Художественной фотографии
Данте Брунеля”
где черную свастику зачеркнул белый цветок
летящего ангела

старой женщине у которой при переезде в дом
на виа Соаве
чудом открылся третий глаз
видящий невидимое другим

девушке бросившейся чтобы забыть под поезд
и одинокой забывшей выключить газ
так что лицо в ожогах

всем им а также тем кого я забыл назвать
тем которые забывают
тем кто не говорит обо мне
тем о ком я не говорю
тем и другим

я посвящаю эту январскую оду.

Б*ерн, автобусная остановка, вторая половина дня*

В ожиданьи двенадцатого номера
сижу на скамейке и как может показаться
не обращаю внимания на

на то что происходит вокруг
на женщину косящую на оба глаза
на мужчину в инвалидной коляске
на хорошенькую велосипедистку
что в мою сторону даже не посмотрела
на первые осенние краски
на прохожих думающих на ходу кто о чем
на святого воина стража фонтана
грозящего мне своим мечом.

В*оскресное утро*

серебрятся жемчужины
на травинках и листиках

зажигаются каплями
в это утро воскресное

то ль дождя ядовитого
из внезапного облака

то ли солнечных зайчиков

Н*очной дождь*

до рассвета все говорил
о вашем отсутствии в верхних комнатах
сохранивших следы песка и солнца
на страницах книг и стаканы с карандашами
и память о доме что на равнине

до рассвета дождь
говорил о вас крадясь по крыше
мочился под дверью
начинал и заканчивал вами
свой светлый рассказ

до рассвета
он скороговоркой
пересказывал наши воспоминанья
рассуждал о четных днях и нечетных
о времени пожирающем нас

Роберт Вальзер

Перевод с немецкого Эллы Венгеровой

Роберт Вальзер [Robert Walser; 1878–1956] – классик швейцарской и европейской литературы. Родился и вырос в Биле, благодаря чему с ранних лет слышал не только немецкую, но и французскую речь. Был вынужден бросить школу, поскольку родители не могли больше оплачивать образование. С юных лет увлекался театром. В 1895 году, проработав несколько лет банковским клерком в Биле и Базеле, Вальзер перебрался в Штутгарт, где работал секретарем в издательствах и безуспешно пытался начать актерскую карьеру. В 1896 году пешком вернулся в Швейцарию и снова устроился конторским клерком.

В 1898 году в бернской газете "Бунд" появилась первая публикация стихов Вальзера, благодаря чему на него обратили внимание в известном литературном журнале "Инзель". Вскоре в "Инзеле" вышли

© Suhrkamp Verlag Zürich 1978 und 1986
© Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig 2007
© Элла Венгерова. Перевод, 2013

стихи, короткие пьесы и рассказы Вальзера. В 1904 году в издательстве "Инзель" вышла первая книга Вальзера "Сочинения Фрица Кохера" [рус. перев. 2013]. В 1905 году Вальзер несколько месяцев проработал слугой в замке Дабрау, в Верхней Силезии, после чего в его творчестве появилась соответствующая тема. В 1906 году Вальзер вернулся в Берлин, к своему брату Карлу, который работал художником-оформителем и помог завязать контакты в издательском мире. Так, в частности, Вальзер познакомился с Самуэлем Фишером. Тогда же им были написаны романы "Помощник" ["Der Gehülfe", 1908; рус. перев. 1987] и "Якоб фон Гунтен" ["Jacob von Gunten", 1909; рус. перев. 1987], редактором которых выступил Христиан Моргенштерн. Романы и рассказы Вальзера были тепло приняты публикой, их высоко ценили Роберт Музиль и Курт Тухольский. Гессе считал его одним из своих любимых авторов, даже Кафку поначалу представляли публике как "нового Вальзера". В 1913 году писатель вернулся в Швейцарию, где продолжал создавать небольшие рассказы и зарисовки, печатавшиеся в швейцарской и немецкой периодике.

В 1917 году Вальзер написал повесть "Прогулка", русский перевод которой, выполненный Михаилом Шишкиным, читайте в следующем номере "ИЛ".

В 1921 году Вальзер перебрался в Берн и устроился работать библиотекарем. Именно в этот период он начал писать карандашом свои знаменитые и с трудом разбираемые микрограммы. В 1972 году из микрограмм исследователи восстановили роман "Разбойник" ["Der Räuber"; рус. перев. 2005]. Другой роман "Теодор" был утрачен. Позже, в 1985–2000 гг., микрограммы были расшифрованы и изданы в шести томах.

С 1929 по 1933 годы Вальзер лечился в психиатрической клинике неподалеку от Берна. Там он продолжал писать микрограммы, но сохранились, в основном, те тексты, которые он потом переписывал крупным шрифтом для отправки издателям. В 1933 году Вальзера принудительно перевели в лечебницу Херизау, в его родной кантон. Тогда же из-за прихода к власти национал-социалистов у него снова – как и во время Первой мировой войны – пропала возможность публиковаться в Германии.

В Херизау Вальзера часто навещал швейцарский писатель и меценат Карл Зелиг, позже издавший книгу "Прогулки с Робертом Вальзером" и способствовавший популяризации вальзеровского наследия.

Вальзер, который несмотря на странности в поведении, был признан психически здоровым, неоднократно отказывался покидать Херизау. Ему нравилось в одиночестве совершать длительные прогулки по окрестностям. Во время одной из них, в декабре 1956 года, писатель умер от разрыва сердца.

Перевод выполнен по изданиям "Wenn Schwache sich für stark halten" [Suhrkamp, 1986] и "Tiefur Winter" [Insel, 2007].

Утро

ПОД утро мне приснилось что-то удивительно прекрасное, но через полчаса я забыл, что именно. Встав с постели, я помнил только, что это была красивая женщина и я поклонялся ей с юношеским благоговением. Сон о цветущей юности подействовал освежающе и возбуждающе. Я быстро оделся, не зажигая света, открыл окно. С еще темной улицы на меня пахнуло зимним холодом. Краски были так отчетливы, так серьезны. Холодный благородный зеленый свет боролся с набирающей силу синевой; на небе собралось множество розовых облаков. Пробуждающийся день, на чьей груди, как серебряный медальон, сиял месяц, казался мне божественно прекрасным. Радостно оживленный и взволнованный чудесным сном и чудесным днем я сбежал вниз на улицу, на свежий воздух. На меня снизошла юношеская жажда жизни, надежда, безграничная вера в себя. Не хотелось ни о чем, ни о чем больше думать, не хотелось выяснять, что так меня взбодрило. Я взбежал на гору и был счастлив. Каким великим чувствуешь себя, когда ты бодр и весел, какое счастье дарит уверенность в себе и каким становишься добрым, когда голова и сердце полны новых упований.

1915

Фиделио

НЕ знаю, сказал Фиделио, имею ли я право носить свое имя, конечно, я соблюдал верность, но каждый раз, когда наставала пора, подумывал, не взять ли мне другое имя. Впрочем, верность восхитительна; жаль, что ее не всегда можно сохранить. Каждый обязан думать о себе, это все равно что платить по счету. Ты не поверишь, как охотно я бы пожертвовал собой ради той или другой дамы. Но для этого я был слишком умен. Увы, я с детства был расчетлив. Расчеты возникают во мне сами собой; то есть я обладаю врожденным знанием человеческой природы. Я не хочу размышлять, но я мыслитель. Я не слишком осмотрителен, но принимаю во внимание все.

Странно я устроен. По утрам меня посещает множество новых идей, а часто даже совершенно новое мировоззрение. Ну, разве я в этом виноват? Некоторые люди считают меня наивным и потому относятся ко мне как к ребенку, о котором следует заботиться. Я уже в детстве восхищал отца своей жи-

востью: мне нравилась его похвала, нравилось удовольствие, написанное на его лице, когда я ходил перед ним колесом. Но почему наша служанка пригрозила мне однажды словами: "Бога ты не боишься! Опомнись!" Не понимаю, что она имела в виду, ведь я всегда, как говорится, отличался примерным поведением. Возможно, я ошибаюсь на сей счет, но и другим тоже случалось ошибаться.

Между прочим, один учитель заявил мне как-то перед всем классом: "Это переходит всякие границы!" Что он имел в виду? Наверное, погорячился. Сболтнул, не подумав. Впадая в патетику, мы склонны к преувеличениям. Ведь другой учитель пришел в восторг, когда, задав мне вопрос, получил ответ, который считался невозможным. Вот видишь, я вынуждал людей составлять обо мне прямо противоположные мнения. Эта противоречивость была свойственна мне с младых ногтей. Кстати, я обожаю влажное мерцание мостовых большого города, и сам однажды был лошадью. Когда это было? На школьном дворе, где мы, мальчишки, вели настоящие битвы. Ты не представляешь, с каким восторгом я возил на себе своего всадника, малыша, которого бескорыстно любил за его хрупкое сложение.

Когда умер один из моих братьев, я не проронил ни единой слезинки, о чем искренне жалел, потому что мне нравятся глаза с поволокой. Я завидовал моей сестре: она рыдала в три ручья, а я не уставал казниться, считая себя законченным злодеем. Да был ли кто ласковее, послушнее, скромнее, чем я? Разве что по забывчивости или наивности я иногда вел себя непристойно. Смею утверждать, что я добрая душа, а иначе разве стал бы угощать куском яблочного пирога девочку из Армии спасения — единственно потому, что она столь искренне веровала в своего высокого друга Иисуса. И потому что дело происходило на Рождество, и этим подношением я лишь снова одарил сам себя. Ты прости, если я пытаюсь тебя растрогать, или внушить тебе, что со мной можно ужиться. Я всегда был убежден в этом, а между тем другие, к сожалению, распускали обо мне разные слухи.

В девятнадцать лет, по совету одного фотографа, я уехал в Берлин. Вот где я узнал, что такое тоска по родине. Какую сладкую печаль пробуждают во мне проведенные там часы. Маленькая девочка положила руку на плечо плачущему парню и подбодрила его. Давно это было, давным-давно прошла пора, когда я воображал, что мое призвание — терять время на сочинение стихов. Нынче я эгоистичен, хотя нет, не хочу быть слишком строгим к себе. Беру свои слова обратно. Просто я пока что не нашел подходящего повода для преданного

служения. Я не задаюсь вопросом, кому я интересен. И не спрашиваю себя, правильный ли путь избрал в жизни. Такие вопросы вредят здоровью. Мое всегда хорошее самочувствие происходит оттого, что я никогда не отказывался от скромного жребия. В этом, по-моему, причина моего счастья. Мне и теперь, как прежде, нечего стыдиться, а если кое-кто мыслит иначе, то меня это не огорчает. Я ведь никогда не имел случая убедиться, что чье-то мнение существенно влияет на мои поступки.

Вчера один человек попытался обрисовать мне мое бедственное положение. Зря он старался, ведь для меня так называемых неудобных положений не существует, мне приятно всякое положение, даже самое неприятное, вынуждающее меня шевелиться, а это для меня счастье. Потому-то я всегда был человеком религиозным, ни единого дня не прожил без веры в себя. Повесишь голову — Богу не понравишься. Бедность никогда не приводила меня в отчаяние. Я каждый день лишний раз убеждаюсь, что нежелательное идет мне на пользу, а возбуждающие средства следует применять с осторожностью. Разве не чувствовал я себя всего сильнее и радостнее, когда не знал, что делать, куда бежать?

С тех пор я узнал это самым доподлинным образом.

Недавно я долго любовался зимним пейзажем, потом делал наблюдения в здании вокзала, затем рассматривал картину Фрагонара в витрине антикварного магазина. На ней очаровательная женщина украдкой подставляет щеку своему пажу, чтобы он юными устами запечатлел на ней поцелуй. Каких только возвышенных вещей не увидишь в ежедневной жизни! А раз жизнь меня любит, я хочу любить ее и сохранять ей верность.

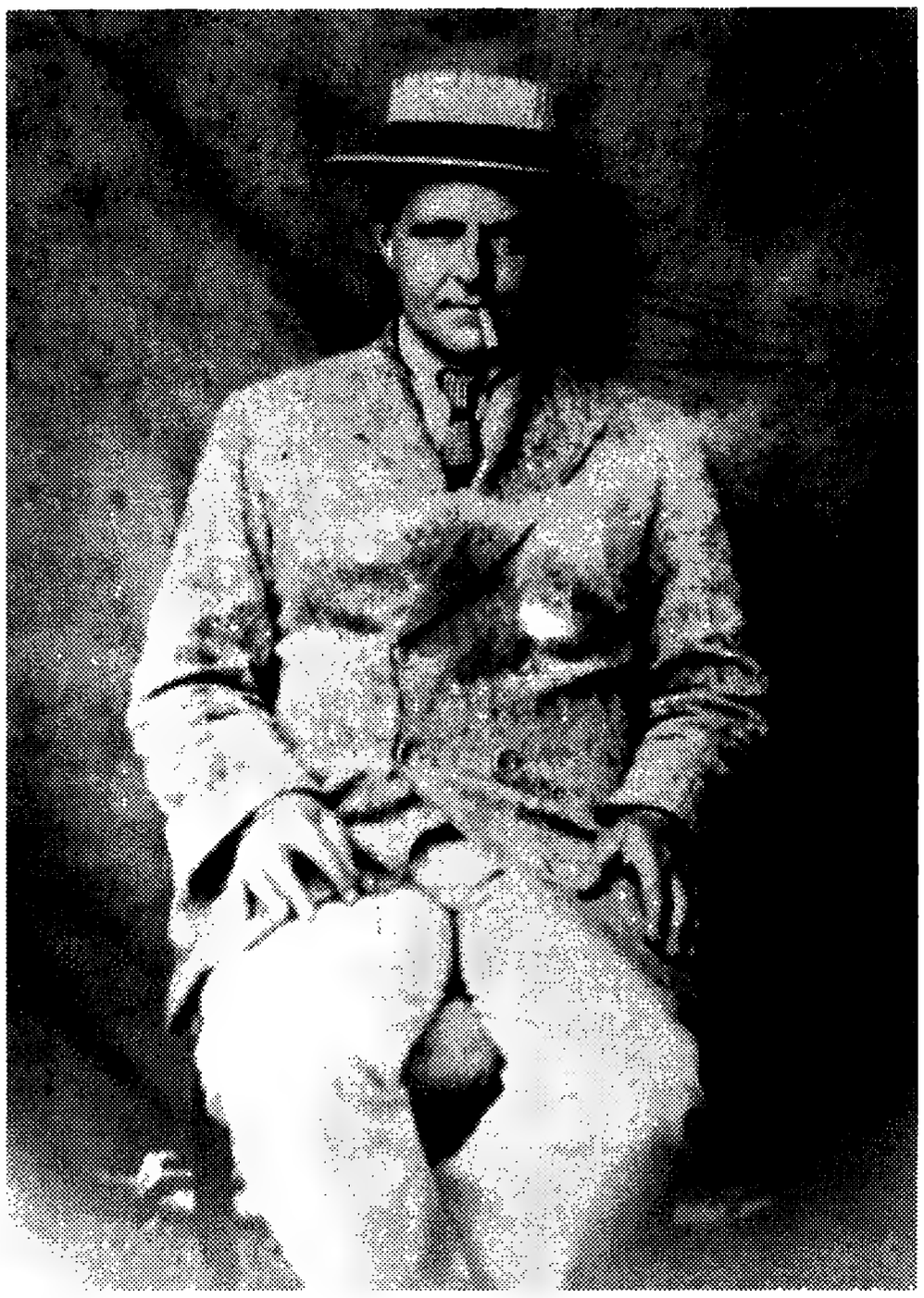
Жан

ЖАН был бы неплохим лакеем, имей он больше терпения. Свои обязанности исполнял он играючи, но к своей профессии относился, в общем-то, правильно. Причина, по которой он стал лакеем, заключалась в том, что чужие дела занимали его больше, чем собственные. Он любил подчиняться, поскольку ему это нравилось. Таков был Жан. В его обязанности входила чистка ковров, для чего он каждый раз выходил на террасу и для начала любовался красивой панорамой. Он был так ловок, что мог позволить себе делать паузы, незаметно для хозяйки. Хозяйка нарочно строила недовольную мину, чтобы приструнить его, так как

чувствовала, что он немного дерзок. В глубине души она была очень им довольна. Жан, со своей стороны, ценил ее благосклонность, что, так или иначе, свидетельствовало о его незаурядном уме! О, он был неглуп и не имел обыкновения размышлять подолгу. Одна из двух служанок была стройной брюнеткой, а другая маленькой блондинкой. Жану необычайно нравилось находиться в обществе этих дочерей Евы, и он очень скоро сумел втереться им в доверие. Относилось ли это к его служебным обязанностям? Он предпочитал смотреть на дело именно таким образом. "Будь же немного настойчивее", – поощряли они его. Он не заставлял повторять это дважды, когда такая идея приходила в голову ему самому.

Он уделял некоторое внимание лестнице, то есть с утра пораньше слегка подметал ее. Скрупулезности в работе он предпочитал красивые жесты. Он, разумеется, любил порядок, но отнюдь не склонялся к преувеличению в этом вопросе. Хозяин иногда вызывал у него недовольство. И чтобы изменить подобное отношение, этот последний однажды подарил ему сигары. "Очень мило с вашей стороны", – заметил Жан. Они стояли на улице. Лакей сразу же закурил. Что оставалось делать хозяину при виде такой самоуверенности, как не состроить любезную мину? Как все добродушные люди, Жан был чрезвычайно легкомыслен. Похоже, эта его добродетель встречала понимание у хозяев. Однажды, во время сервировки стола, он обжег себе палец и по праву гордился ожогом. Ему повезло, когда однажды его застала врасплох хозяйка. Лежа на диване, он читал какого-то классика, а она полагала, что он обретается совсем в другом месте. "Как ты дошел до жизни такой?" – прочел он ее безмолвный, так сказать, вопрос. На что он возразил: "У меня врожденное чувство прекрасного. Вот вы застали меня за чтением одной из ваших книг и сами можете убедиться, что ваш слуга – хорошего происхождения. И это никак не может вам не нравиться". Хозяйка расхохоталась, а поскольку она уже давно не смеялась, настроение у нее улучшилось, и Жан понравился ей еще больше. Он обладал незаурядным талантом улавливать ее чувства. Он впускал к ней лишь тех визитеров или посетительниц, относительно коих его инстинкт подсказывал, что они ей приятны. Но не будем слишком уж его приукрашивать. Он любил лакомиться медом и фланировать по улицам. Вышеназванная склонность побудила его оставить службу. "Тебе у меня недурно жилось", – было сказано ему на прощанье. "Я подчиняюсь наитию свыше", – ответствовал он, весьма любезно откланялся и ушел.

Шарль-Альбер Сангрия



По поводу животных

Перевод с французского Михаила Яснова

Знакомство с этим автором никак нельзя начать со слов "Шарль-Альбер Сангрия". Следовало бы, по его же образцу, зайти издалека: рассказать, например, о поросшем травой пустыре, где по осени раскидывал свои шатры цирк, и о внушительных слоновьих кучах, с каждым днем куривщихся все гуще и гуще, – как сам Сангрия описывал город Кальвина и Амьеля, свою родную Женеву. "Все, что когда-либо выходило из-под пера Сангрия, звучало свежо, странно, бодряще, изысканно", – говорил о нем Филипп Жакоте. Библиотечной бабочкой – за яркость и эрудицию – называл его Поль Клодель, огоньком святого Эльма – Жан Кокто. Мастер отступления, виртуозно владеющий эпитетом и метафорой, сегодня Шарль-Альбер Сангрия [Charles-Albert Cingria, 1883–1954] стал классиком швейцарской и французской литературы, пусть и "не поддающимся классификации".

© 2004 by Éditions L'Age d'Homme, Lausanne, Suisse
© Михаил Яснов. Перевод, 2013

"Константинополец, то есть итало-французский левантиец", как он сам себя аттестовал (в его жилах не было ни капли швейцарской крови: мать – полька французского происхождения, отец – родом турок, уроженец Далмации), Сангрия оставил немало блестящих текстов о Швейцарии, которую изъездил вдоль и поперек на велосипеде: "Лозанна. Впечатления прохожего" [Impressions d'un passant à Lausanne, 1932; рус. перев. 2012], "Цветники Гельвеции" [Florides helvètes, 1944; рус. перев. 2012], "Прогулка в верховьях Роны, или Вечерница и медвежий лук" [Le Parcours du Haut Rhône ou la Julienne et l'ail sauvage, 1944; рус. перев. 2012]. Читатель, которому вздумается прогуляться в компании Сангрия, заметит, что самые яркие его образы связаны с природой.

"Пейзаж уже сам по себе приключение, интрига в мире растительности, интересная до безумия", – утверждал Сангрия. Что уж говорить о мире животном. "На спине каждого барана – особенно это заметно у ягнят – во всей своей очевидности явлен какой-то звездный закон. И не придавать этому внимания, не восторгаться этим сверх всякой меры... – значит отмахнуться от самого главного на пути познания".

Он так и не написал свой бестиарий, хотя собирался. Последующие отрывки – из книги швейцарского издателя, собравшего под одной обложкой все, что Сангрия когда-либо писал о животных.

Среди прочих произведений Сангрия – "Санкт-Галленская цивилизация" [La Civilisation de Saint-Gall, 1929, премия Шиллера], "Альпийские подвески" [Pendeloques alpestres, 1929], "Водоотводный канал" [Le canal exutoire, 1931], "Петрарка" [Pétrarque, 1932, премия Рамбера], "Полено сухое, полено зеленое" [Bois sec, bois vert, 1948].

Перевод выполнен по изданию Propos animaliers [L'Age d'Homme, 2004].

Кот, пчела

НАД крупным гравием дрожит и колеблется воздух, так сухо и жарко.

Улица, которую горбит этот несносный гравий, идет ниоткуда, потому что вокруг — ни плетня, ни ограды. Значит, идет от условного места, где начинаются эти каменья. До них — трава, два-три опустевших улья, потом луга, уходящие вдаль. Они тоже принадлежат им (Жану и его брату). Луга пестрят красными пятнами: это маки, до самых сосен — там, далеко, — которые начинают карабкаться к небу и без передышки лезут все выше и выше.

Вот оттуда-то и приходит большой кот, и надо видеть, как он идет прямо посреди улицы, с осторожностью встряхивая лапами, то одной, то другой, всеми четырьмя поочередно, — из-за этого крупного гравия, обжигающего подушечки.

Все обжигает — скамьи, стулья; столы пахнут мягким зеленым лаком, обжигающим еще долго после того, как приходит тень.

Два часа. Ни малейшего шума, только пчела, совершающая бесконечные раздражающие круги, — раз в пять минут она непременно упирается в вас.

По обочинам улицы растет одуряюще пахучий львиный зев.

Пятнадцать лет! Для юноши возраст мечтаний. Для кота это возраст величественности, возраст лорнета на носу, а еще — раздражительности, особенно для кота такого размера, с таким весом, с шерстью такой роскошной темной пятнистости.

Он уже пришел, улица закончилась, а вот и дом с четырьмя закрытыми ставнями и запертой дверью, чтобы никто не потревожил, потому что все спят.

Вы говорите ему тысячу ласковых слов. Он садится: останавливает на вас взгляд своих старых царственных глаз с металлическим отливом.

Вам бы хотелось взять его на руки. Поносить, подержать — такое животное впечатляет! Вы, конечно, можете это сделать, но он не замурлычет — я знаю, что это такое, этот рокот между скал Замбези или Ниагары, который вам хотелось бы услышать; так вот, он этого не сделает — тем более что вам никогда его не застать врасплох. Видите, где он теперь и как он идет, оборачиваясь, переполненный обидой! В высоких зарослях душистого горошка есть немного тени. Не подремать ли? Возможно, но у него на уме еще кое-что. Он встает на задние лапы, вытягивается во всю свою длину и принимается изо всех сил точить когти о каменную тумбу, так что искры летят.

Это боевое животное, читающее “Освобожденный Иерусалим” в покрытом плесенью издании для котов.

И мы уже сами не знаем, о чем думали и какие у нас были планы.

Уж

ТАМ, под камнем, уж. Под большим плоским серым камнем, который никто никогда не поднимал. Он проникает туда через отверстие, напоминающее дырочку в часах той эпохи, когда часы еще заводили ключом, и чувст-

вует себя там, как дома. Если уровень воды в озере поднимается и волны от парохода слегка его беспокоят — это время от времени происходит, и он примерно знает когда, — уж перебирается повыше, в заросли кустарника, в нишу стены. Он ручной? Не совсем. Было бы досадно, если бы он утратил свою естественную дикость в той жизни, которая ему предназначена; однако его нисколько не смущает, когда порой, по воскресеньям, он становится объектом, скажем так, определенного трогательного внимания — например, в виде поставленной перед его камнем мисочки с молоком. Наблюдающие из замка в бинокль за тем, что произойдет дальше, немного удивлены его медлительностью. Они хотели бы увидеть, как он вылезает и окунает в молоко свою головку, подобно изображениям на переводных картинках или на рисунках в каких-нибудь детских книжках. Так ведь нет, ничего не происходит, то есть все уже устали ждать — миска остается нетронутой. Надо же понимать, что он может отсутствовать, и это совершенно нормально. Он частенько отправляется на прогулку. Или может выбраться из озера и, прежде чем вернуться к себе, с наслаждением высосать содержимое миски, когда никто не будет смотреть.

В замке его обожают и немного боятся, потому что за долгие годы, зимой впадая в спячку, а весной пробуждаясь, он вымахал до метра тридцати в длину. Никто не пытается навредить ему, все предупреждены — новый садовник, сторож на переезде, электрики, гости. Только поезд мог бы перерезать его надвое, но он об этом догадывается и старается обходить железную дорогу стороной. Пожалуй, самую большую опасность представляют воскресные гуляющие — недоумки, лезущие через ограду, несмотря на предупреждающую надпись и немалый штраф, который выпишет судебный пристав, если они попадутся. Не менее опасными для него могут оказаться купальщики, приплывающие сюда с другого берега и полагающие, что этот крохотный, поросший кустарником, пляж, где со стены свисают ветви двух-трех сливовых деревьев, принадлежит всем. Однако на самом деле все происходит наоборот, он опережает их. То есть он уже в озере, и, если вы услышите страшные вопли, не удивляйтесь; кто бы подумал, что он такой шалун. Знаете, что он делает? Дождавшись, когда волны от парохода заставят нескольких пугливых купальщиков встать, чтобы переждать волнение вблизи пляжа, он бросается вперед и проскальзывает у них между ног. У несчастных мгновенно кровь стынет в жилах. И они бегут прочь, воздев к небу длани: живые фигуры с римского барельефа. Достигнув лестницы из старого туфа и взобравшись на мост,

они в страхе пересекают железную дорогу, чтобы прихватить оставленную одежду.

Впрочем, даже когда озеро спокойно — я имею в виду, без этих неожиданных искусственных волн, — случается, что, подобно тому, как в Саргассовом море один угорь в любовном порыве бросается к другому, он устремляется к чему-нибудь белому, что покачивается на воде и вовсе не цепенеет в смертном страхе от этого порыва. Напротив. Вот ведь странное явление! Впрочем, как-то неловко впутывать в эту историю кого-то, кто мог бы себя узнать...

А еще можно было бы описать солнце. До чего приятно, когда на живот сыплются обжигающие сливы и все слышней мчится поезд — словно прямо на вас!

Лягушка, стрекоза

ЭТИ заброшенные карьеры превратились в болота, и В. непременно хочет показать мне своих знакомых лягушек (они тоже его знают) — при его приближении они вылезают из воды и произносят настоящие прозопопеи. Кажется, то, что они говорят, имеет смысл или обладающий смыслом ритм.

Мы идем вниз, и тут начинается настоящая трясина. Взгляните на эти камыши, на эти хрупкие скорлупки яиц завирушки — разбросанные по терновнику бледные сколки синего неба. Это единственное в своем роде болото, самопроизвольно появившееся посреди обширной пашни.

Только что на поля моей шляпы шмякнулась большая капля начинающегося дождя. Затем раздался ошеломляющий взрыв хохота какого-то доисторического идола. Потом все вокруг пожелтело, стало оранжевым, лиловым. В. не обращал на это ни малейшего внимания. Он наконец-то нашел нужное место и теперь ждал. Это нужное место представляло собой узкую щель между колючими кустарниками и покрытыми плесенью осколками камня; там находился островок травы, и можно было различить поблескивание плотной ряски, над которой возвышалось растение с роскошным гранатовым цветком — вечерница, или hesperis matronalis. Это растение вовсе не лежало на ряске, оно росло, значит, должно было иметь корни и стебель в траве и земле под водой. Но самым поразительным было то, что оно двигалось, будто кто-то тянул его вниз, а потом отпускал; резко, порывисто — там, в воде, то есть, разумеется, под ней.

Эти движения, противоречащие логике природы, занимали воображение.

— Я уже вижу: сейчас начнется, — едва слышно прошептал В.

А еще, пока мы ждали (довольно долго), произошло вот что: прилетела прекрасная болотная стрекоза и сделала несколько кругов вокруг растения, затем поднялась ввысь и исчезла.

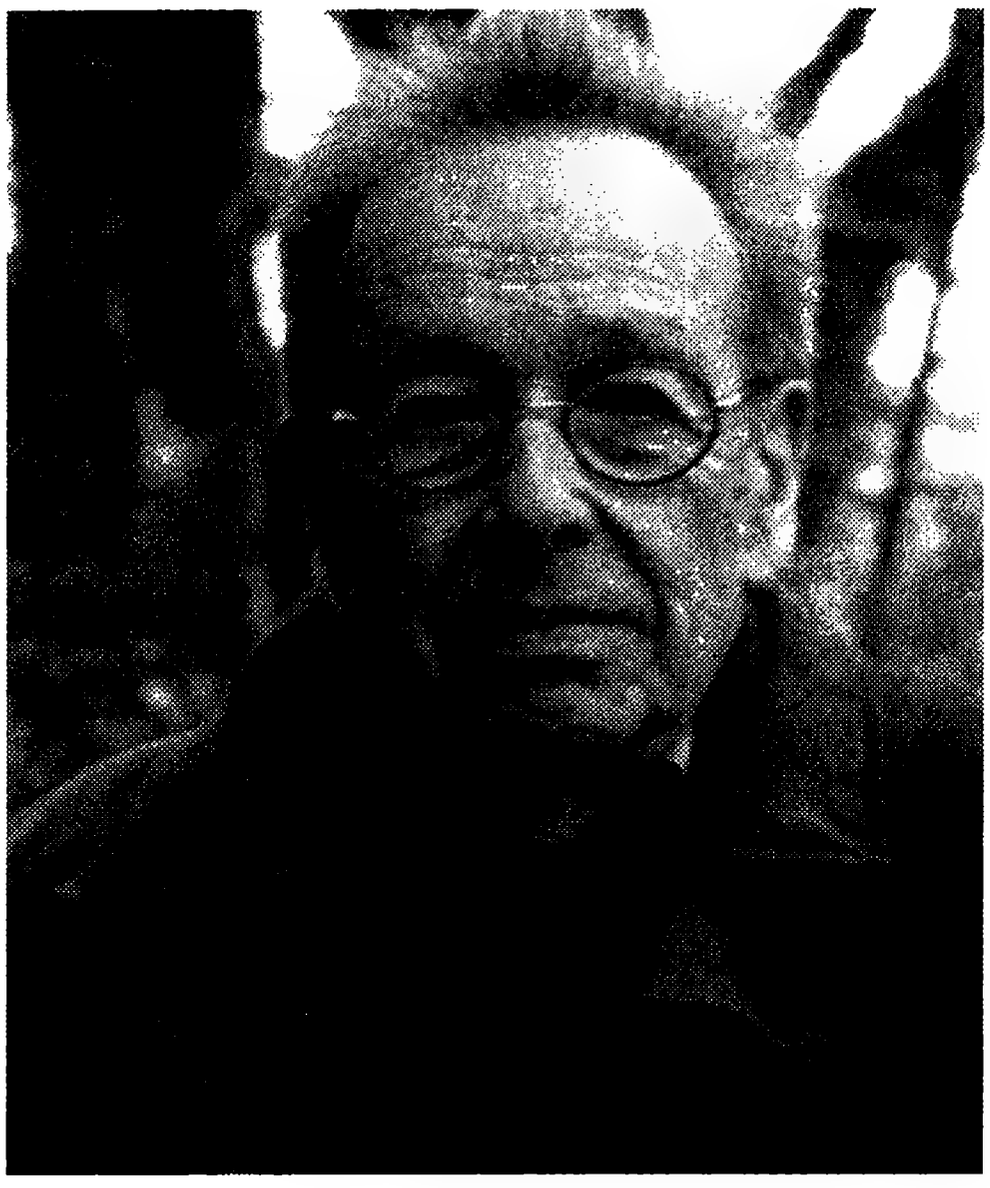
Гром утих, потом снова усилился, одновременно раздавались громкие и слабые звуки: одни — короткие, словно обрывающиеся робкие попытки, сравнительно высоко в небе; другие — сильные, более редкие, почти над нашими головами; но дождя все не было.

— Вот оно, — совсем тихо произнес В.

Дерево (я вынужден сказать "дерево" для обозначения растения) снова задвигалось, еще более странно и заметно, и появилась лапа, которая легла на камень, будто хотела опереться на него. Это то, что мы увидели сначала. Но потом появилось все тело целиком. Довольно полное существо — ну да, вроде купающейся дамы в мокром купальнике — вылезло и устроилось на камне. И тут прежде всего мы увидели вот что — взгляд: самое прекрасное и богатое желтое золото, когда-либо таившееся в тихих недрах земли. Камень служил подмостками; неужто лягушка заговорит? Нет. Сперва ей следовало раздуться, что она и принялась делать, — постепенно, останавливаясь, чтобы перевести дух и накопить воздуху. Наконец она раскрыла рот. Но лишь для того, чтобы поймать какую-то мушку, которую мы даже не разглядели.

Да нет же, она точно заговорит, но не так скоро, как мы думаем. Прежде чем она удостоит нас хоть единым звуком, ее взгляду нужно измениться, перепробовать все оттенки золотого. Первой в ее взоре появилась нежность. Мы увидели, как ее глаза заливает каким-то особым золотом, уже не желтым, а красным, как если бы в мыльных пузырях на кровавом закате отразились влажные окна какого-нибудь города. На кровавом? Именно так, потому что она прерывалась, сердилась сама на себя, испытывала тысячи неуловимых противоречий, и ничего не оставалось, как следить за этим метаболизмом. Что требовало внимания, а главное — немало времени. Хотя времени ради такого дела у нас было предостаточно. Вот чего действительно не хватает, чтобы, как положено, описать все этапы этой метаморфозы, так это памяти. Я лишился ее самым варварским образом. Внезапным, как удар хлыста.

Филипп Жакоте



Этот чуть слышный звук

Перевод с французского Бориса Дубина

Филипп Жакоте [Philippe Jaccottet; р. 1925] – поэт, прозаик и переводчик, с 1946 г. живет во Франции. Лауреат литературной премии Монтеня [1972], Большой поэтической премии Парижа [1986], Большой национальной премии за перевод [1987], премии Петрарки [1988] и др.

Автор стихотворных сборников "Уроки" ["Leçons", 1969], "Размышления под облаками" ["Pensées sous les nuages", 1983], "После долгих лет" ["Après beaucoup d'années", 1994], книг прозы "Прогулка под деревьями" ["La promenade sous les arbres", 1957], "Пейзажи с исчезнувшими фигурами" ["Paysages avec figures absentes", 1970], "Самосев" ["Semaison", 3 тт., 1984, 1996, 2001], сборников статей о литературе "Собеседование муз" ["L'entretiens des Muses", 1968], "Тайное соглашение" ["Une transaction secrète", 1987], биографии Рильке. Переводчик Гомера, Гонгоры, Леопарди, Гёльдерлина, Р. М. Рильке, Т. Манна, Р. Музиля, Дж. Унгаретти, О. Мандельштама, японских поэтов.

На русском языке выходили его книги "В свете зимы" [1996], "Стихи. Проза. Записные книжки" [1998], "Прогулка под деревья-

"L'encre serait de l'ombre", Philippe Jaccottet © Editions Gallimard, Paris, 2011.
© Борис Дубин. Перевод, 2013

ми" [2007]. Отдельные произведения печатались в "ИЛ" [1995, № 2; 2002, № 9, 2005, № 12], в литературном альманахе "Мосты" [2004, № 2], в сборнике "Западноевропейская поэзия XX века" [1977].

Перевод выполнен по изданию ["L'encre serait de l'ombre: Notes, proses et poèmes choisis par l'auteur (1946–2008)". Gallimard, 2011].

Заметки об овраге

Половина шестого вечера, а день еще длится. Над вершиной Ванту[1] — венок из тех розовых лепестков, которые в Египте называли "оправданием Осириса", таких красивых на фаюмских портретах в волосах или в пальцах мертвых. Понимаешь, что именно розовой краской, иногда положенной еще и на платье, его легкую ткань, эти портреты, если не говорить о взглядах, сильней всего и трогают. Этот розовый блик, этот розовый стебелек в руках юных умерших.

Вечер украшает этими венками деревья и облака. Перед отплытием в ночь. И что лучше их можно взять отсюда, из всей здешней жизни?

Ланс[2] под первым в этом году снегом: несколько натеков чистейшей белизны в оврагах, вершина в облачной дымке и посыпанные снежной пылью леса внизу. Ощущение холода, но он не пронизывает.

Иссера-зеленое, иссера-желтое, белое.

Снег, который еще почти не снег, распыленный по невидимой стене, замыкающей кругозор, тайное приглашение отправиться туда, вглубь, как будто в далекое детство. Глотнуть свежести в складках этих оврагов. Потереть щеки этими свежими завитками.

И на всех этих глубинах какой-то странный, желто-палевый налет, словно сочащийся отсвет слабой лампы, зажженной среди бела дня.

Скрытая лампа со слабым светом, слабый, окрашивающий все вокруг желтый отсвет, который оживляется рассеянной, распрысканной, распыленной невесомостью снега.

Прошедший под этими деревьями омочил бы рукава снежной пылью, а не слезами, как у поэтов Дальнего Востока, когда они оплакивают разлуку или измену.

1. Ванту — гора в Провансе неподалеку от Гриньяна, где живут супруги Жакоте; известно, что на ее вершину в свое время поднимался Петрарка. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Ланс — гора на юго-востоке Франции, в предгорьях Альп.

* * *

Заснеженная гора, розовеющая под закатным солнцем: огонь, как бы скрытый под пеплом у подножья и пылающий на вершине, — пламя, рвущееся наружу при встрече с небом.

А еще это похоже на лунный свет.

Воздушная гора, которая незаметно преображается то ли в ангела, то ли в лебедя.

Именно ей, именно этому светильнику нельзя дать угаснуть у нас за спиной. "Вечный свет" в упокоение умерших, по крайней мере — не меркнущий в нас самих.

* * *

Огонек, зажженный под холодным зеркалом неба: словно дымка на стекле, заверяющая, что жизнь еще теплится.

* * *

Проходя мимо одной из последних ферм, оставшихся в нашей округе, совсем рядом: заброшенный фруктовый садик, ветхие изгороди вдоль дороги, большое ореховое дерево над Шалерном[1], — почему все это кажется мне таким "настоящим", иначе говоря, не подстроенным, неприукрашенным, неподдельным? Эти сточенные, в пятнах, камни, готовые вернуться в землю, откуда их прежде извлекли, эти старые, искореженные, встопорщенные деревья с терпкими плодами — и вода, как обычно, недоступная времени.

* * *

Январский день, чуть пошире открой глаза,
пусть твой взгляд продлится еще немного
и щеки окрасит розовый цвет,
как у влюбленной девушки.
Чуть пошире открой свои двери, день,
чтобы нам хоть почудился выход.
Смилуйся, день.

* * *

Сарыч медленными витками поднимается в лучах, уже предвещающих весну. Подрезаю ветки граната, царапающие руки острыми колючками. Спасение ото всех видов абсурда, которые иначе раздавили бы прямо здесь.

1. Шалерн — небольшая река, протекающая через Гриньян.

* * *

"Ничего не готово..." — слова, уцелевшие от смутного сна, но говорившие, как я понимаю, о том, что я так и не подумал собраться, что по-прежнему двигался, не заглядывая вперед, отделывался словами, вроде этих.

Но тогда что же, собственно, нужно готовить? И не лучше ли пуститься в путь наугад, спотыкаться в полной нереальности, время от времени находя помощь в ненадежных знаках, спасенных памятью, но в любом случае остаться случайной тенью среди теней или все-таки прозреть...

Я замер на этих словах, как лошадь, наткнувшаяся на препятствие и отступающая назад. Потом, вслепую, в полной растерянности, я снова набрел на мысль, что даже самая совершенная музыка, самая горячая молитва, докатившиеся сюда, в этот ледяной свет окончательного приговора, не дойдут до нас с такой силой, как едва слышное движение сердца, так называемого сердца, и что оно будет нам лучшим, скромным, почти невидимым и почти единственным оболом, даже если не укажет, куда идти, поскольку там больше нет никаких направлений.

* * *

Идя вдоль Шалерна: миниатюрные водопады под деревьями, среди камней; всюду фиалки, перепархивание птиц и мягкое тепло мартовского солнца.

Чуть дальше вода отсвечивает, почти стоя на месте, до того слабеет наклон; над ручьем еле заметно шевелятся первые листья. Кое-где гладь поблескивает влажными, свежими искрами, лучистыми крестиками, которые, стань их больше, просто бы ослепили.

* * *

Старик с исхудавшим телом и умом, помутившимся от болезней и скорбей, с лицом, на котором изредка намечается какая-то тень улыбки, ловящий тени воспоминаний и сам уже ставший тенью, сидит у себя в комнате, повернувшись спиной к открытой двери, к миру, весеннему свету, последнему снегу этого года.

Рядом с ним его постоянный, более молодой спутник, пораженный раком, рухнувший навзничь: как будто попавший в аварию на улице или на краю дороги, боксер, оглушенный ударом в висок, который уже почернел.

Воплощенная человеческая нищета, стоит ее коснуться, похожа на зверька, вызывающего отвращение, которое нужно вытерпеть и преодолеть, если сумеешь.

* * *

Пропащие.

Один как будто у себя, но уже не понимает, что вокруг, путает дом с другим, где то ли жил раньше, то ли нет, ощупью передвигается среди предметов, которые тоже то ли есть, то ли нет, и других, существующих только в его расстроенном мозгу.

Другой живет единственной мечтой: вернуться, снова найти свой дом, который, пусть он его даже найдет, уже не будет прежним, и это непоправимо.

Потому что он уже на том пути, который уводит прочь от любого дома.

* * *

Последняя фортепианная соната Шуберта, снова вдруг вспомнившаяся вчера вечером, так что я смог сказать только одно: “Вот”. Вот то, что устоит, непонятно как, перед самой страшной бурей, перед засасывающей пустотой, то, что в конце концов только и заслуживает любви: нежный столп огня, ведущий тебя вперед даже в пустыне, которой, кажется, нет ни конца ни края.

* * *

Как это назвать?

Чувствуешь прикосновение такого холода, от которого не спастись круглый год, даже в самый разгар лета.

Слова о леднике были бы слишком красивы. Даже слова о камне звучали бы приукрашиванием.

Это холод, который — в самой сердцевине самого дивного лета — вдруг доходит до сердца.

Как будто его коснулась чья-то рука, слишком холодная, чтобы принадлежать этому миру.

* * *

Слова, полуслова
(полушепот ночи)
не вырубленные на камне
а выписанные на золотых стелах

невидимыми птицами
слова не для мертвых
(кто на такое еще решится?)
слова из этого мира и для этого мира.

* * *

Неожиданный подарок: дерево под закатным солнцем конца осени; как будто в темнеющей комнате затеплили свечу.

Эти страницы, слова, как будто клонящиеся под ветром, сами позолоченные вечерним солнцем. Даже если их вывела рука в старческих крапинах.

Фиалки, едва поднявшиеся над землей: “всего-то”, “и только-то”. Как бы милостыня, но без превосходства; как бы подношение, но без обрядности и патетики.

Я наклонился к ним сегодня не с благоговением и не с мольбой, а просто, чтобы их сорвать. Нащупал эту лиловую каплю и даже не уловил ее аромата, который не раз освежал меня столько лет. Но со мной в эту весеннюю минуту словно что-то произошло: удержало от смерти.

Стереть испарину, смахнуть сор, одолев их чистотой дружбы, а лучше — любви. Это еще возможно, иногда. Даже если ты не в силах ничего понять и еще меньше сделать.

Под солнцем ноября, от которого и тени бледней и которое пробегаешь взглядом, уже не щурясь.

* * *

Перила под рукой
и зимнее солнце, позолотившее стены

холодное солнце, позолотившее запертые комнаты

благодарность траве на могилах
редким знакам людской доброты

и всем разметавшимся розам облаков
пушистым головням облаков
рассыпавшимся по небу перед приходом ночи

* * *

Мучится ли помраченный ум? Наверное, только если осознаёт это. Исхудавший, но еще держащийся на ногах старик, так

часто воображающий себя в местах, где его давно нет, и видящий прежние события собственной жизни или придумывающий новые, мучится ли он? Вероятно, нет — пока воображает, что он там. Внутри себя он передвигается куда легче, нежели в реальном пространстве.

А я говорю себе снова и снова, что не нужно терзаться раньше времени, тревожиться из-за того, чего еще нет, каким бы угрожающим и неминуемым оно ни было.

Писать просто для того, "чтобы это напевали". Слова в поддержку — не для того, чтобы поразить, а чтобы помочь, согреть, порадовать, пусть ненадолго.

Слова, чтобы выпрямиться, уж если не можешь "вознестись", как Праведники.

И так до конца: расправив плечи, даже если руки связаны.

* * *

В конце энного по счету бессвязного сна, в котором, насколько помню, вышел из театра, я все дальше уходил от жилых кварталов и видел, как по скверной дороге спускаюсь в какую-то воронку, где не росло ничего, кроме тощих кустов и редких пучков травы между камнями. Я спускался, но был совершенно уверен, что не сумею вернуться назад, и проснулся от ужаса. По форме эта яма напоминала Дантов Ад, но передо мной открывался тот обыденный Ад, откуда и величайшим умам нет надежды вернуться.

* * *

Чуть позднее четырех часов дня: облачного цвета полумесяц за настоящими облаками, а ниже — зимнее вечернее солнце, резкое, как свет театральной рампы, на палой листве, напоминающей гнездо, ясли, полные соломой. Где хотелось бы убаюкать мысли, которые понемногу охватывает холод.

П*осле*

Итак:

никакого продвижения, ни малейшего шага вперед, скорее отступление за отступлением, и одни повторы.

Ни одной настоящей мысли. Одни настроения, разновидности настроений, связанных все меньше и меньше; одни осколки, крохи прожитого, видимость мыслей, обломки, выру-

ченные у краха или довершающие крах. Рассыпанные минуты, разрозненные дни, рассыпанные слова, чтобы рука, наконец, прикоснулась к камню, который холоднее холода.

Как бы там ни было, до рассвета далеко.

То, что все-таки нельзя не сказать, потому что это ясно как день. Рука, холодная словно камень.

И стрижи чертят так быстро, так высоко в летнем небе выводят свои знаки, что мертвым их уже не прочесть. А меня, следящего за ними с какой-то радостью, им не вознести до неба.

Ниже, под ними, эти наброски непосвященного. Краткая и бесполезная вспышка, попытки взлететь и долгое падение на камни, долгое отступление.

Отчаяние дезертира — как снег, на котором уже не оставит следа никто живой, никто и никогда. Или плащаница, на которой уже никогда не дано отпечататься ничьему лику, даже ладони.

(И все-таки кто-то пишет на облаках.)

Этот чуть слышный звук...

Чувство, что кончается мир, вне которого мне уже нечем дышать.

* * *

Краски вечера вдруг опрозрачневшие как стекла
(или надкрылья)
только сегодня вечером и только здесь

беззвучный мираж

зияющий вход в прозрачную темноту
сквозящий витраж, словно водяная кольчужка,
тончайшая пленка чистой воды
лежит на всем вокруг, на луговинах, изгородях,
скалах

словно кто-то, кого видишь лишь со спины,
любезно приглашает войти
в ночь, яснее которой тебе даже не снилось.

* * *

Если бы это перо держал сам свет
и в словах дышал сам воздух,
вот что было бы лучше всего.

* * *

Отсвет лампы на стеклах. Стихи, отсвет, который, вопреки судьбе, может быть, не угаснет вместе с нами.

* * *

Цветы шиповника, такие нестойкие, просвеченные насквозь, почти невесомые, за которые отдашь все розарии мира; и при этом слышишь последнюю трель уставшего или разочарованного соловья, похожую на ракету, за которой еще долго тянется огненный след.

* * *

В последнем усилии дотянуться — на золотом фоне — до холодка, пронизавшего листву: она уже напоминает не иконы, а, кажется, что-то другое, чье-то другое лицо или попросту несколько знаков жизни, пускай пожухлой.

* * *

Привет растворенному золоту зимних сумерек,
последним листьям, сыплющимся с деревьев,
их высвеченным
покачивающимся ветвям.

Подпирая пространство, кроны к ночи успокаиваются — наконец, понемногу смолкают птицы, укрывшиеся на высоком лавре. Между тем небо светлеет, почти теряя цвет, — разве что у самой земли еще остается немного розоватого; неба уже почти нет, а то, что есть, ничего не заслоняет и ничего не весит — это, в лучшем случае, воздух, который не туманят даже последние проплывающие облака, а далекая гора сама выглядит облаком, только подвешенным, неподвижным. И что напоминает эта звезда, вдруг затеплившаяся на закате? Воздушное украшение для чьего-то невидимого уха, шеи, запястья? Путеводный знак, поднявшийся перед нами из темных глубин времени? Уголек, питающийся каким-то изначальным огнем? Не будем заволакивать его словами, даже самыми чистыми! Сотрем их прямо сейчас. Пусть останется только пчела, опередившая рой сестер.

* * *

Краски вчерашнего вечернего неба под пепельными и снежными облаками, нависшими словно горы: розовый, желтый, зеленый, точнее — почти розовый, чуть желтый и чуть зеленый, словно шелковые ленты, переслоенные самыми тонкими, прозрачными оттенками, нежно сияющими, перед тем как погаснуть во тьме, — цветы, бережно укладываемые рядом друг с другом в невидимую коробку, немой призыв последовать за Флорой, проступившей на горизонте.

* * *

Полная луна над заснеженным Лансом: она такого же "цвета", как снег, и создана из того же вещества, — словно зависшая в воздухе часть снежного покрова. Пятна крови она не смоет, это не удастся даже "всем благовониям Аравии"[1].

* * *

День перестал укорачиваться. Каждый год это помогает вернуться к жизни: как будто добавили чайную ложечку света или, если выразиться более высоким слогом, чуть приподняли давящую плиту.

Или по-другому: как будто поднялся на несколько метров и можешь видеть дорогу немного дальше.

* * *

(Этот чуть слышный звук, еще доходящий до сердца, сердца того, кто уже почти призрак.

Этот несмелый шажок в сторону мира, который как будто уходит от тебя, но, скорее, это сердце его покидает, и не по своей воле.

И все же в конце — ни единой жалобы: пусть ничто не заглушает последний гул жизни; пусть ни одна слеза не туманит вид неба, которое дальше и дальше.

Только неприрученные, неустроенные, повторяющиеся слова, которые еще провожают путника, словно древесная тень вдоль ручья.)

1. Реплика леди Макбет из шекспировского "Макбета" (V, 1).

Коринна Бий

Россия, моя спящая любовь

Поэма в прозе

Перевод с французского Натальи Шаховской

Коринна Бий [Corinna Bille, 1912–1979] не нуждается в представлении: русскому читателю уже полюбились ее поэтичные сказки и похожие на сказки рассказы, где быль так искусно переплетается с небылью. Имя Коринны неразрывно связано с кантоном Вале, где прошло детство и юность писательницы и куда она, и трех лет не вытерпев в парижской суматохе, однажды перебирается насовсем. Любовью к Вале пронизано все ее творчество. "Я вернусь сюда после смерти", – говорила она.

Поэма в прозе "Россия, моя спящая любовь" – одно из последних произведений Коринны. В России она побывала трижды, в 1974-м и два раза в 1979 году; вернувшись из поездки по маршруту Москва–Хабаровск – это была ее давняя мечта: прокатиться на Транссибирском экспрессе, – Коринна узнает о том, что смертельно больна. Она достает свои путевые наброски и принимается за работу. Сгустки образов, пунктир мыслей, из которых муж Коринны, поэт Морис Шаппаз, составит сборник поэм и коротких рассказов "Русь, Россия!".

© Fondation de l'Abbaye: Troillet-Bille-Chappaz
© Наталья Шаховская. Перевод, 2013

Читатель не увидит в поэме картин советской действительности: Россия здесь преломляется сквозь "магический кристалл" творчества. Так, от реки Амур в поэме осталось одно название, восхищавшее Коринну: река Любовь, а сам Амур преображается в струю водопада, клокочущего в Вале, в долине Реши. И так же каскадами низвергаются на читателя образы...

Среди произведений Коринны – книга стихов "Весна" ["Printemps", 1939], романы "Теода" ["Théoda", 1944; рус. перев. 2006], "Венерин башмачок" ["Le sabot de Vénus", 1952], "Гости из Москвы" ["Les invités de Moscou", 1977], сборники новелл и сказок "Черная земляника" ["La Fraise noire", 1968; рус. перев. 2012], "Овальный салон" ["Le Salon ovale", 1976; рус. перев. 2000] и др.

Перевод выполнен по изданию Rus, Russie! [Editions Empreintes, 1995].

I

Я видела, как валились на меня таежные ели, я принимала их на руки, подбрасывала в воздух. Ветер налетел из-за болот, он снес меня на лед, по которому я скользила быстрее телеги.

Реки казались красными, а потусторонний мир был неким чернеющим островом, где не разглядеть ни человека, ни дома. Но я знала, что мне не нужны больше ни дома, ни люди.

Березы очерчивали круг, а я вращалась в его центре, словно ось. О да, господа хорошие. Все вы будете съедены, все переварены. Мир — это маленький камешек в праще. И вам не ведомо, кто его метнет. Вы не знаете, что пала уже звезда Полынь, что мы теперь всего лишь прозрачные летучие семена.

Я-то хотела бы сбежать. Угомона на тебя нет! — говаривала моя бабушка. Если бы не ее благоразумие, какая была бы авантюристка! Ей бы не пони на Елисейских Полях, а малорослых лошадок Урала.

И диадему из александрита, а сквозь пальцы — зеленые лучи.

Мой розарий — заросли шиповника. Мой здешний дворец — хибарка среди ольх. Но я могу петь, могу мечтать. Я никому не завидую, ибо, раз шагнув, перемахиваю семнадцать гор, двадцать четыре потока и пять радуг моей долины.

Тихо-мирно обходя целый мир.

II

Белое-черное, день-ночь, жизнь-смерть. Красавица жужелица — золотая, с зеленым металлическим отливом, в бурую по-

лоску — выпадает из неподвижного неба и прогуливается по мне. Я хочу ее поймать, она слетает. Как слетают хрусталики моей внучки Айки с качнувшейся скамейки. У них в середке цветет листик слюды. О моя беленькая скифочка с бледными волосами!

Никогда еще река Любовь не рушилась такими мощными каскадами. Они перескакивают через деревья, развеиваются в небе, оседая пылью на ольхах. Прислушаться к этому потоку — значит отрешиться от себя. Сегодня душа моя разбивается вдребезги. Кто побеспокоится о ее разлетевшихся частицах, сверкающих, словно капельки? Кто подставит ладони, чтоб собрать в горсть эту ключевую воду?

Вот букашка, столь редкостная, что впору поместить ее в музей под стекло. “Рассматривать в лупу”. Но ее бирюзового цвета, скорее зеленого, чем синего, хватило бы, чтоб окрасить целый луг, куда приходят пастись серны. Ибо я больше не пастушка ни телкам, ни овцам. Моя скотинка — козел-вожак и дикая коза, чья нога ступает тверже, чем раздвоенное копыто дьявола.

III

Сумерки нисходят мне на живот и на пятна снега, еще держащиеся в горах. Непроходимые леса теперь не более чем темный мох на скалах. Моя тяга к перемене мест спит. Я тону в альпийских озерцах, на которых не тает лед, и в ручьях осклизлых камней, где тритон в брачной поре краснеет досиня, синеет докрасна.

А это всем ночам ночь, ночь такая белая, что впору принять ее за рассвет. Осина, береза, лиственница... этот нетронутый воздух, мелодия шалфея и мяты в оживших в памяти часах. В этом счастье, в этой боли пережитой любви.

То было огромное озеро, обрамленное неумолимыми скалами. Вода ледяная. Где мы были, на каком высокогорном плато? В какой стране? Ни одной лодки, ни одного плота. Ни следа туристической ли, семейной ли стоянки: какие тут отпуска, какие каникулы? “Странно, странно...” Задрав голову, я вижу добрую сотню пещер довольно правильной формы, но расположенных на разных уровнях.

Никакого леса. Одни отвесные скальные стены, отбрасывающие горькую тень, продырявленные новыми, еще бóльшими пещерами.

IV

Я ухожу далеко-далеко в какие-то страны, где, чудится мне, я некогда бывала. Я узнаю их, а сама знаю, что никогда их не видела.

Ночной запах: я вдыхаю его сквозь бузинник. Я возвращаю на место звезды. Ночь над вершинами сливается с ночью долин.

Сегодня в воздухе какой-то переполох — не ждать ли с неба перепелов[1]? Слышишь, дети кричат?

— В глубинах воздуха только великий покой, — говоришь ты.

А воинства хищных зверей? Тревога лугов, где не косят и не пасут? А все, кто ушел и кто еще уйдет? Мы останемся одни, совсем одни с костерком из сосновых веток и крынкой молока. Ночь без звезд похоронит нас, снег без солнца покроет.

V

Толстый шмель залетел ко мне в комнату и тут же вылетел. Погода пасмурная, я читаю пасмурные рассказы Чехова. Шмель опять прижужжал, черный и золотой, заглядывает мне в ноздри, улетает. О, качаться бы, как он, туда-сюда в безучастном пространстве!

"Калинка, малинка, лазоревый цветок", — напевают ребятишки в России. Я читаю книгу, непролазную, как заросли ольхи[2], где бурые с белыми прочерками птички все пытаются выговорить:

Во городе во Казани
Полтораста рублей сани,
Девка ходит по крыльцу,
Платком машет молодцу.

IV

Меня настораживает вон тот болотистый луг. Он мечен кружком более темной травы. Луг давно запущен, оставлен

1. По всей видимости, отсылка к эпизоду из Ветхого завета, описывающего чудесное ниспослание израильтянам пищи: перепелов и манны. Исход. 16. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Речь идет о внушительном — 800 страниц — романе русского прозаика и историка П. Мельникова-Печерского (1818–1883) "В лесах", посвященного жизни, быту, обычаям заволжских раскольников. С этой книгой Коринна ведет внутренний диалог на протяжении всей поэмы.

на произвол ветров, жгучей крапивы, любистека, змей. Откуда этот круг? Уж не кольцо ли фей?

"Котелок-босоножку"[1] я не встречала, но, может быть, он и пляшет в том магическом круге. Я-то свой котелок (тоже очень черный) пристраиваю на железную треногу в углу очага. А теперь — ну-ка хворостинок, ну-ка бересты, ну-ка спичку! Как красиво языки пламени лижут его бока, а те бормочут под крышкой. Да уж, вспомнится дым и супу, и чаю!

Никогда не видала я таких крупных цветов шиповника, таких длинных плетей спорыша, никогда не видала, чтобы серны паслись так спокойно, чтобы сойки чертили зигзаги так низко. А сернисто-желтые трутовики в лесу? А вертишейка, а юркая белка?

Ах! — думаю я про себя, надо же было мне так долго спать, так ненасытно пропускать через себя моря, степи, грозовые небеса, чтобы заново все это оценить. Мне казалось, я все забыла, мне казалось, сердце мое омертвело, уши оглохли — а вот я восприимчивей, чем стеклянная пластинка фотографа 1900-х.

VII

Моя перина — вот эта поляна, где потягивается рысь. Левой рукой я поднимаю еловую чашу, в которой трепещет свеча. Ее огонек согревает нас и плавит снег. Меня томит жажда! Мне хочется пить пламя. Если смотреть слишком близко, оно двоится. Воск начинает стекать наподобие сосульки. Моя кровать очень старинная, с резными спинками, работы кого-то из чад аббатства Санкт-Галлен.

Первое солнце вскользь касается горы, карликовые ивы глотают росу, распушаются мхи, каждое дерево любуется своей тенью — я жду в этой тени.

...но оно продолжает разрывать лесистый склон. Я уже вижу, как объявляется орел, как начинает обтаивать скала.

Мелодии разворачивают вокруг меня свои живые изгороди и свои ароматы. Они переплетаются между собой, борются, выходят из берегов. Игры барабанов и ножей. Наконец они становятся ручьями, реками, вбирают меня, крутят. Я плаваю в этой легкой-легкой воде. А оттуда взлетаю в небо, как

1. Легендарное существо, подстерегающее одиноких путников.

воздушный змей с хвостом разноцветных нот. Ветер, такой сильный, рывками возносит меня все выше, жизнь, которая меня еще держит, вот-вот оборвется. Прощайте!

Я была в самой середине неопалимой купины, я сама была этой купиной. Какая радость — смотреть на листву-пламя, не понимая, что это — я. Эти воздетые язычки огня, совсем по-весеннему зеленые, — мои руки! Эти корни, вспарывающие землю в поисках воды, — мои ноги! Мои глаза с виду еще человеческие, но не принимают ли они уже форму листьев? А взгляд?

VIII

"Воробьиная ночь", — говорят русские про грозовую ночь, ночь шума и ярости.

Мою воробьиную ночь не озаряли молнии, не хлестал дождь. Стояла тишина. Я не спала, и мне было страшно одной, затерянной так высоко в горах. И то, что рядом на кровати спала кошка, не успокаивало меня, ибо я была жалким воробышком.

А сейчас туман. Который поднимается из глубоких долин, клубится, переполняя лог, завивается вокруг моей избы. Он накатывает, подкатывает — вот уже по шею. Но в пальцах у меня альпийская астра нежно-розового свечения. Я не обрываю с нее лепестки. Любовь ушла. Я жду в небесных фумаролах, чтобы меня застигли здесь снежные хлопья, чтобы застыла летящая с обрыва речка и чтоб я стала такой же немой, как она.

А сейчас идет снег, и красная бузина сама на себя наваливается. И высокие бледные травы сгибаются до земли. Куда ни глянь, кругом сплошные преклонения!

Кошка и ее ребенок находят себе убежище в самом темном углу моей постели. Малыш в своей шубке, отсыревшей на холоде, уставился на меня.

Косули и серны прячутся в нашем лесу, нам не собраться вместе. Вскоре ветры небесные, исшедшие из уст Творца, скрутят в клубок тонкие побеги на березах. Вот откуда "вихоревы гнезда"[1], дарованные людям, чтоб не боялись любить.

1. "Вихорево гнездо" — гнездообразное уплотнение в кроне дерева, которое, по народному поверью, возникает от бури. Раскольники же полагали, что такие гнезда берутся от дуновения уст божиих, с молитвой брали от них середку и носили на кресте как оберег.

IX

Животворящая молния больше не пробудит мертвых, синяя ежевика не даст больше плодов. Моя спящая любовь так и пребудет спящей, ибо при конце света, как писал святой Ефрем, люди побегут в пустыни и будут укрываться в пещерах и пропастях земных.

И владыкой мира будет Велик Гром Гремучий[1].

Толпа на улицах Москвы. По случаю какого-то карнавала — красного или оранжевого. Где-то там, вдалеке, я вижу мою любовь. Сколько же лет назад уснувшую? Она посылает мне воздушный поцелуй, который крестом опадает мне на лоб, на сердце, на плечи. Аминь. Сани уносят меня.

Теперь уже не время слушать тринадцать песен курского соловья или журчание источников в железистых грязях. Паралитики, прикованные к постели, увидят простершуюся вокруг них белую пустыню.

Исхудалые пальцы выскользнут из обручальных колец, и расползется ткань свадебной ленты. Но горный хребет одевается зеркалами, и наши лица запечатлены в них.

X

Золото счастливых дней не пропало, пусть даже оно невидимо в песке. Всегда будет заниматься заря над неведомой страной, вновь зазеленеют опаленные леса. Недалеко то время, когда животные вернутся к первозданной дикости. У рыси на острие уха — черный нимб.

Медведи, волки, гигантский ятрышник, пахнущий козлом, медно-бурые гадюки, купоросного цвета лягушки, умирающая туча — вы снова будете царями и царицами.

В моем саду не цветут больше царственные астры, зато есть ромашки, крупные, как головки детей. Детей, которые теперь далеко. Я склоняюсь над этими личиками из пестиков и

1. Еще одна отсылка к Мельникову-Печерскому, приводящему народное поверье о восстании из мертвых: “Верит народ, что Велик Гром Гремучий каждую весну поднимается от долгого сна и, сев на коней своих — сизые тучи, — хлещет золотой вожжой — палючей молоньей — Мать Сыру Землю... Мать-земля от того просыпается, молодеет, красит лицо цветами и злаками, пышет силой, здоровьем — жизнь по жилам ее разливается... Животворящая небесная стрела будит и мертвых в могиле...”

лепестков — я никогда их не срываю. И больше не допытываюсь у них: “Любит? Не любит?”

Поставь на окно стакан воды, чтоб я могла омыть в ней душу, и пусть качнется кадило в сторону высокого-высокого солнца.

Тогда взлетит к нему жаворонок, и малиновка запоет.

XI

Икона какой здешней Богоматери пойдет как-нибудь однажды странствовать в наших туманах? Пойдет своим путем, рыжая, голубая, золотая, поверх наших речек? И остановится – а где?

Под гнетом ночи в телах наших вызревают сны. Но я терпеливо жду в двух шагах от зари. Недвижный час. Из темноты выходит стадо северных оленей — пришли попастись на нашей лужайке.

Далеко-далеко из-за гор поднимается свечение, розовое и серое, цвета лишайника.

XII

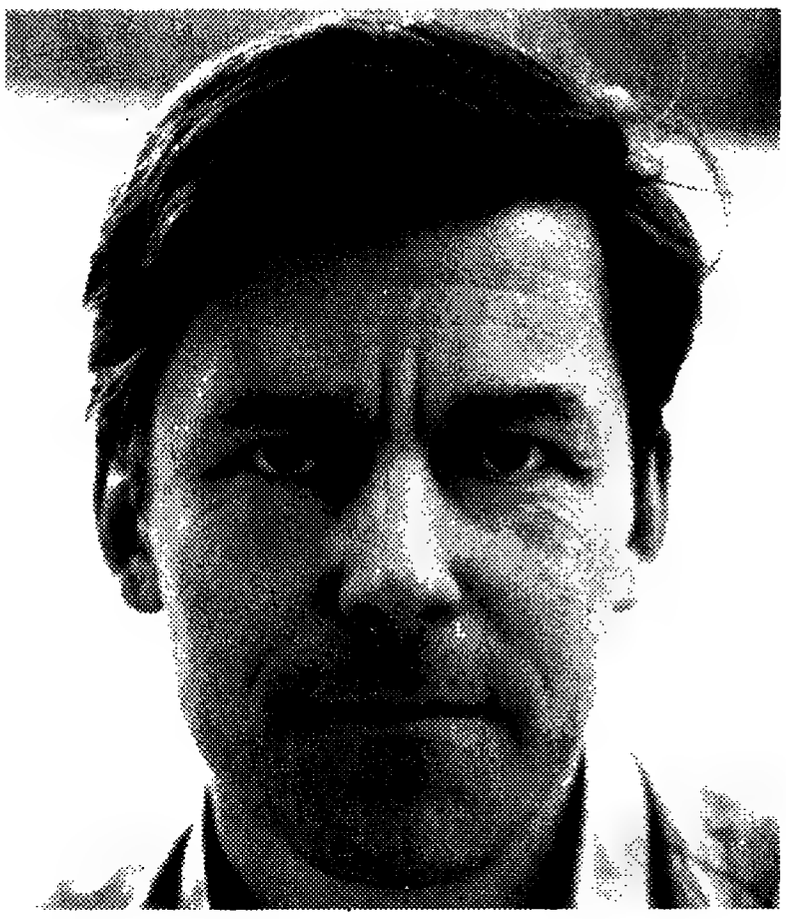
И снова огромное голое небо, прозрачный рог луны и тысячи деревьев, тянущихся к нему. Сомнения нет, мы — в этом мире, в долине Реши. Я ем синий виноград с привкусом черной смородины. Пью вино, которое теряет свою терпкость в высокогорных погребах. На вереске тает снег, белой изморози как не бывало. Богородица староверов[1] — надумает ли Она долететь до этих мест?

Мать Сырая Земля стряхивает росу. Полянки с кольцами фей раскрывают навстречу солнцу свои желтые вагины. Курятся бревна изб, розовеют комнаты со стенами соснового дерева.

Пойду сорву последний василек и последнюю гвоздику, поставлю на стол возлюбленному.

1. Казанская икона Божией Матери. Коринна ссылается на легенду об основании Шарпанского старообрядческого скита, место для которого “выбрала” сама икона, остановившись в Керженском лесу.

Петер Штамм



Дачники

Перевод с немецкого Н. Федоровой

Петер Штамм [Peter Stamm] родился в 1963 году в Шерцингене, кантон Тургау. Окончив школу, Штамм получил экономическое образование и одно время работал бухгалтером. Позднее он изучал психологию и психопатологию, работал в различных психиатрических лечебницах. Первые литературные опыты Штамма не пользовались успехом у издателей. Его четвертый по счету роман, "Агнес", вышел в свет лишь в 1998 году ["Agnes"; рус. перев. 2004], зато сразу стал широко обсуждаемым событием. За ним последовали сборники рассказов "Гололед" ["Blitzeis", 1999], "В незнакомых садах" ["In fremden Garten", 2003; рус. перев. 2006], "Летаем" ["Wir fliegen", 2008], "Зерюккен" ["Seerücken", 2011], романы "Расплывчатый пейзаж" ["Underfähre Landschaft", 2001], "Не сегодня – завтра" ["An einem Tag Wie dieseni", 2006; рус. перев. 2008], "Семь лет" [""Sieben Jahre, 2009] и "Ночь – это день" ["Nacht ist der Tag", 2013]. Стиль Штамма характеризуется обманчивой простотой и недосказанностью. В его книгах почти ничего не происходит, но вместе с тем писателю удается показать характеры своих героев, их богатый внутренний мир. Сейчас Штамм – один из наиболее известных швейцарских писателей. В прошлом году он вошел в шорт-лист международной Букеровской премии.

Перевод "Sommergaste" выполнен по изданию "Seerücken" [S. Fischer Verlag, 2011].

Published by S. Fischer Verlag, 2011
Copyright © 2011 by Peter Stamm
© Н. Федорова. Перевод, 2013

Вы приедете один? — еще раз спросила моя телефонная собеседница. Имя ее я не разобрал, акцент определить не смог. Да, ответил я. Я ищу место, где можно спокойно поработать. Она посмеялась, чересчур долго, потом спросила, что у меня за работа. Пишу, сказал я. Что же вы пишете? Работу о Максиме Горьком. Я славист. Ее любопытство меня раздражало. Вот как... — сказала она. Секунду помедлила, словно не была уверена, интересна ли ей эта тема. И наконец решилась: Ладно, приезжайте. Дорогу знаете?

В январе я участвовал в конференции, посвященной женским персонажам в пьесах Горького. Мой доклад о "Дачниках" планировалось опубликовать в сборнике, но в суете университетских будней руки не доходили переработать текст и подготовить к печати. Для этого я зарезервировал свободную неделю перед Вознесением и искал место, где никто и ничто до меня не доберется, не отвлечет от работы. Курортную гостиницу порекомендовал мне коллега. Ребенком он не раз проводил там летние каникулы. Хозяин ее давно обанкротился, но коллега слышал, будто несколько лет назад гостиницу вновь открыли. Если ищешь место, где ничего не происходит, поезжай туда, в горы, наверняка не прогадаешь. В детстве я этот курорт ненавидел.

Автобусы ходили к гостинице только летом. Та женщина, не называя причин, сказала по телефону, что встретить меня, увы, не сможет, но от ближайшей деревни можно дойти пешком, это недалеко, максимум час ходу.

По узкому серпантину автобус карабкался вверх по горным террасам. Пассажиров было мало, и на конечной остановке, кроме меня, вышли лишь двое-трое школьников, тотчас затерявшиеся между домами. Из одежды я взял с собой только самое необходимое, но из-за книг и ноутбука рюкзак оказался увесистым — килограммов двадцать. Что вы там везете? — спросил шофер автобуса, помогая мне вытащить рюкзак из багажного отделения. Бумагу, ответил я, а он смерил меня недоверчивым взглядом.

Возле почты стояли дорожные указатели, отсылающие в разных направлениях. Я пошел по улочке, затем по тропе, которая вела вверх по крутому лугу, а дальше сбегала вниз, в узкое лесистое ущелье. На опушке росли лиственницы и одинокие ясени, в глубине — красные ели. Повсюду бурелом, засохшие остовы елей, под которыми еще виднелись последние остатки снега. Почва была сырая, ноги глубоко увязали в черной земле. Незримая паутина то и дело липла к лицу и рукам. Следов других путников я не заметил — наверно, был первым в этом году.

Через некоторое время я вдруг сообразил, что уже довольно давно не видел никаких дорожных знаков, а вскоре тропа вообще затерялась среди деревьев. Поворачивать обратно мне не хотелось, и я продолжил путь вниз по склону, который становился все круче. Кое-где приходилось хвататься за сучья или корни, один раз я не устоял на ногах и, поскользнувшись, проехал несколько метров, да еще и брюки порвал. Плеск речушки внизу становился все громче, а когда я наконец добрался до ее берега, отыскалась и дорога. Бурный поток мчал свои серые воды в широком русле из светлых скал и осыпей, среди темного лесистого ландшафта оно казалось открытой раной. Идти стало легче, и примерно через полчаса я вышел к небольшому деревянному мосту. Опоры подмыты, а сам мост наискось перегородило вывернутое с корнями дерево. Оно сорвало перила, и своей тяжестью проломило несколько досок настила. Я осторожно перелез через него. На другой стороне ущелья дорога забирала круто вверх, и я вспотел, хотя в лесу было прохладно.

Я шел уже без малого два часа, когда за деревьями завиднелась гостиница. А пятью минутами позже очутился перед огромным зданием в стиле модерн. Дно долины успело утонуть в тени, но дом, стоявший на возвышенном месте, сиял белизной в лучах вечернего солнца. Все окна, кроме одного в нижнем этаже, закрыты ставнями, кругом ни души, слышен только плеск речушки. Парадная дверь была открыта, и я вошел. В холле царил полумрак. Сквозь цветные стекла внутренней двери на истертый персидский ковер, застилавший каменный пол, падали полосы солнечного света. Мебель накрыта белыми полотнищами.

Есть кто-нибудь? — негромко спросил я. Никто не откликнулся, и я толкнул дверь, над которой старомодным шрифтом было написано: *Столовая*. За дверью обнаружилось просторное помещение с тремя десятками деревянных столиков и перевернутыми стульями на них. Освещен только один, в дальнем углу. Там сидела молодая женщина. Есть кто-нибудь? — окликнул я чуть погромче, и направился к ней. Она тотчас встала, пошла мне навстречу и, протянув руку, сказала: Добро пожаловать, я — Ана, мы с вами говорили по телефону.

Судя по всему, моя ровесница. Одета как официантка — черная юбка, белая блузка. Блестящие черные волосы до плеч. Я спросил, не закрыта ли гостиница. Уже нет, улыбнулась она. На столике стояла тарелка с недоеденными равиоли. Минутку, сказала женщина. Села за столик доедать свой ужин. Уплетала быстро, как будто бы нисколько не смущаясь, что я смотрю на нее. У меня с обеда маковой росинки во рту

не было, и вообще-то я проголодался, но сперва хотел занять номер, принять душ и переодеться. Я сел напротив нее, она запоздалым жестом предложила мне стул и сказала: Расскажите про свою работу. Я еще раз объяснил, зачем приехал. Она вытерла салфеткой губы, спросила: А почему вас это интересует? Я пожал плечами и ответил, что меня приглашали на конференцию. Гендерные штудии нынче в моде. Но почему всегда женщины? — спросила она. Не знаю, сказал я. Мужчины не так интересны. Глотком вина она запила последний кусочек. Сейчас покажу вам комнату.

В холле она зашла за стойку, порылась в ящиках. Немного погодя придвинула ко мне книгу регистрации, попросила заполнить формуляр. Я заполнил. Потом хотел полистать назад, прочесть последние записи, но Ана забрала у меня книгу, спрятала в ящик. Вас не затруднит уплатить вперед, прямо сейчас? Я сказал: Конечно-конечно. Семь дней, полный пансион, подсчитывала она, это будет четыреста двадцать франков включая курортный сбор. Взяла купюры и сказала, что сдачу даст позже. И счет, попросил я. Она кивнула, вышла из-за стойки и быстро зашагала вверх по широкой каменной лестнице. Только теперь я обратил внимание, что она босиком. Подхватил рюкзак и пошел следом.

Она ждала на втором этаже, в начале длинного сумрачного коридора. У вас есть особые пожелания? — спросила она. Когда я ответил отрицательно, она отворила первую же дверь и сказала: В таком случае занимайте этот номер. Я вошел в комнату, довольно маленькую и скудно обставленную: кроме незастланной кровати, стола и стула, там был комод, на котором стояли старый фарфоровый тазик и кувшин с водой. Стены беленые, пустые, если не считать распятия над кроватью. Я подошел к стеклянной двери, ведущей на крохотный балкончик. Туда лучше не ходить, послышался из коридора голос Аны. Я спросил, где ночует она сама. А зачем вам это знать? Просто так. Она сердито посмотрела на меня и сказала, что, хотя она здесь и одна, это отнюдь не означает, что я могу позволять себе вольности. Я ничего дурного в виду не имел и с удивлением воззрился на нее. Спросил, когда мне можно поесть. Она состроила напряженно-задумчивую мину, потом сказала, чтобы я спустился вниз, как только размещусь. Засим она исчезла, а немного погодя вновь появилась в дверях и, не говоря ни слова, бросила на стол рядом со мной постельное белье и полотенце.

Ванна и туалеты были в конце коридора. Я разделся и стал под душ, но, отвернув кран, услышал лишь тихое хрипенье. Слив в туалете тоже не работал. В нижнем белье я вернулся к

себе в комнату, вымылся водой из кувшина, надел чистое. Потом спустился вниз, но Аны нигде не нашел. Напротив столовой располагалось помещение поменьше, надпись над дверью сообщала, что это *дамский салон*. Там стояли несколько кресел, опять же укрытых, и большой бильярдный стол. На зеленом сукне лежали один красный шар и два белых, к столу был прислонен кий, будто кто-то вот только что играл здесь на бильярде. Соседнее помещение, обозначенное как *fumoir*, то бишь *курительная*, по-видимому, служило также библиотекой. Книги в большинстве старые, пыльные, и авторов этих мне читать не доводилось. Классиков совсем немного — Достоевский, Стендаль, Ремарк. Вдобавок несколько зачитанных до дыр американских бестселлеров.

Я вернулся в холл и оттуда прошел в бальный зал, самое большое помещение, где, кроме скатанного в рулон ковра, ничего не было. С потолка, опирающегося на колонны из фальшивого мрамора, свисала старинная латунная люстра. Во всех комнатах весьма холодновато, и света сквозь закрытые ставни проникало мало. На кухне, расположенной в полуподвале, было еще темнее. Там стояла огромная чугунная плита, явно дровяная, а на серванте громоздились десятки грязных винных бокалов и горы немытых тарелок, словно после недавнего банкета. Я снова поднялся на первый этаж, вышел на улицу.

Меж тем тени старых елей, на некотором отдалении окружавших гостиницу, стали длиннее, дотягивались уже до белых стен. Я обошел вокруг здания. С одного боку обнаружилась засыпанная гравием площадочка, где стояли несколько железных столиков, складные стулья и шезлонги. Только подойдя ближе, я увидел Ану. Сел рядом и спросил, не наслаждается ли она последними лучами солнца. Зима выдалась долгая, сказала она, не открывая глаз. Я рассматривал ее. Необычно широкие брови, довольно крупный нос. Узкие губы придавали лицу некоторую суровость. Она поджала ноги, и юбка слегка задралась. Верхние пуговки блузки были расстегнуты. Я не мог отделаться от ощущения, что все это ради меня. Тут она открыла глаза, провела ладонью по лбу, словно стирая мои взгляды. Я кашлянул и сообщил, что душ не работает. Разве я вас не предупредила? И слив в туалете тоже. Придется импровизировать, сказала она с приветливой улыбкой, снега нет, и то хорошо. Когда здесь начинается сезон? — спросил я. Она ответила, что это зависит от многих вещей. Минуту-другую мы оба молчали, потом она поднялась, одернула юбку, застегнула пуговки и сказала: Вы же вроде хотели спокойно поработать? Насчет этого у меня возникли

кой-какие сомнения, ответил я, а когда она досадливо посмотрела на меня, добавил, что очень не прочь закусить. Ужин в семь, сказала она, встала и ушла.

Я вернулся в номер, пытался работать. Голод отвлекал меня, и я вышел на балкон выкурить сигаретку. Тут мне вспомнилось, что Ана не советовала пользоваться балконом. Впрочем, выглядел он вполне устойчивым, только железная ограда была изъедена ржавчиной и кое-где попросту в дырах. Прямо подо мной было ущелье, я слышал плеск речушки. Обернувшись, я снова увидел Ану в шезлонге на гравийной площадке.

Ровно в семь я спустился в холл. Вскоре с улицы вошла Ана. Ах, сказала она, идемте. Впереди меня она прошагала на кухню, зажгла керосиновую лампу и провела меня в маленькую кладовку, где стояли картонные коробки с консервами. Равиоли? — спросила она. А ничего другого нет? Ана быстро повернулась кругом, словно хотела взглянуть, что еще есть, потом наизусть перечислила: Яблочный мусс, зеленая фасоль, горошек с морковью, тунец, артишоки, кукуруза. Я выбрал равиоли. Она взяла с полки банку, сунула мне в руки. На кухне показала, где брать посуду и приборы, дала консервный нож. Не потеряйте, он нам еще пригодится. А где бы разогреть равиоли? Она наморщила лоб и сказала: Мне что же, ради одной банки растапливать плиту? Вдобавок она, мол, не знает, как это делается. Я попросил вина. Она исчезла, а через минуту-другую вернулась с бутылкой итальянского, которую поставила передо мной. Вино оплачивается отдельно, сказала она, приятного аппетита, я наверху.

Лампу она забирать не стала, твердым шагом ушла в темноту. Я вывалил холодные равиоли на тарелку, поднялся в столовую. На вкус еда была отвратительная, но голод я кое-как утолил. Пустую тарелку отнес на кухню и приобщил к горам грязной посуды. Наверно, лучше бы сразу уехать отсюда, думал я, да только час уже слишком поздний. Поэтому я с ноутбуком и бутылкой вина расположился в библиотеке, намереваясь поработать. Розетку я нашел, однако электричества не было. И свет тоже не горел. К счастью, аккумулятор ноутбука был полностью заряжен. Я перечитал свой доклад и быстро заметил, что работы с ним предстоит меньше, чем я думал. Попробовал сосредоточиться на тексте, но из-за долгого странствия, выпитого вина и непривычной высоты навалилась усталость, и я то и дело клевал носом. В десять я в кромешной тьме пробрался по гостинице к себе наверх и лег в постель, Ану я по дороге не встретил.

Следующим утром я застал ее в столовой, с тарелкой яблочного мусса. Угощайтесь, сказала она, кивнув на большую банку, стоявшую на столе. Я сказал, что действующей розетки для ноутбука не нашел и что света тоже нет, может, с предохранителями что-то не в порядке? У нас отключено электричество, ответила Ана, будто это совершенно естественно. Я еще не дозавтракал, а она встала и вышла из столовой. Немного погодя я увидел, как она с полотенцем и рулоном туалетной бумаги в руках исчезла среди деревьев.

Аккумулятор ноутбука разрядился, а поскольку распечатку я с собой не захватил, то сделать мог немного. Почитал "Дачников" и письма Горького, кое-что выписал, хоть и не видел в этом смысла. Лучше всего уехать прямо сейчас. Но вместо того чтобы собрать рюкзак, я пошел в дамский салон и стал играть в бильярд. В полдень в столовой был накрыт стол на двоих. Как только я сел, пришла Ана с банкой равиоли. Подержала ее на солнце, чтобы немножко согреть, сказала она. Еда была не горячее, чем вчера. Не нравится? — спросила Ана.

Я сказал, что без электричества работать не могу. Она посмотрела на меня как на слабака, потом сказала: Наверняка вы найдете чем заняться. Через две недели мне надо представить готовый текст, сказал я. А зачем вообще пишутся такие вещи, сказала она, кому это интересно? Дело не в этом. Мне назначили срок, и я должен его соблюсти. Она насмешливо улыбнулась: Вам ведь вовсе не хочется уезжать. Ана была права. Я хотел остаться здесь, сам не знаю почему, может, из-за нее. Не обольщайтесь, сказала она, словно прочитав мои мысли.

Погода в последующие дни стояла хорошая, я часто лежал на воздухе в шезлонге и дремал. Много читал, играл в бильярд или раскладывал пасьянсы. Ана все время находилась неподалеку, но, если я спрашивал, не хочет ли она сыграть со мной в карты или в карамболь, качала головой и исчезала. Когда я приходил в библиотеку, она уже сидела там, смотрела в окно. Я брал с полки книгу, начинал читать. Если какое-то место мне нравилось, я зачитывал его вслух, но Ана, казалось, не слушала.

Кувшин у меня в комнате опустел, и я, по примеру Аны, каждое утро умывался у речки. Дожидался в столовой, когда она вернется, и шел туда сам. Отыскал хорошее местечко, где берег был ровный и вода текла спокойно. На мягкой земле обнаружились следы босых ног, и я решил, что Ана тоже приходила на это место. Когда я окунал голову в ледяную воду,

мне казалось, будто она сейчас взорвется, однако затем я все утро чувствовал себя бодрым и свежим. Только шум речки мало-помалу стал действовать мне на нервы. Никуда от него не спрячешься, даже в глубине дома слышно, хотя и тихонько. Невольно я все время думал об Ане, целыми днями мы безостановочно кружили друг возле друга, и зачастую я недоумевал, кто из нас кого преследует.

Она не убиралась и не стряпала, даже постель я застилал сам. Единственное, что она делала, это открывала банки и накрывала на стол. Как-то раз я невзначай обронил, что получаю за свои деньги не очень-то много. Ана помрачнела. И сказала, что лучше бы мне поразмыслить о том, как я представляю себе женский образ, а не о том, каким его видел Максим Горький. Это здесь совершенно ни при чем, сказал я, но от гостиницы позволительно ожидать хотя бы электричества и водопровода. Вы получаете куда больше, отрезала Ана. Я не понял, что она имела в виду, но остерегся еще раз затрагивать эту тему.

Я пробовал представить себе, как все будет, когда летом сюда съедутся отдыхающие, когда в столовой будет полно народу, кто-нибудь сядет за рояль, дети станут носиться по коридорам, — но, увы, пробовал безуспешно.

Штабеля грязной посуды на кухне продолжали расти. Как-то раз я пересчитал тарелки. Если Ана каждый день использовала три штуки, то, вероятно, провела тут всю зиму. Я спросил у нее, кем она здесь работает — экономкой? Если угодно, ответила она. Я ей не поверил, но мне давно стало безразлично, почему она здесь.

В обед мы ели тунца и артишоки, вечером разжигали на улице костер и на камне разогревали банку равиоли. Солнце рано уходило из долины, быстро становилось свежо, тем не менее мы каждый вечер подолгу сидели у костра и пили вино. За целый день мы едва перекидывались одним-двумя словами, да и теперь Ана оставалась не слишком разговорчивой, но, по крайней мере, она меня слушала. Говорить о себе мне не хотелось, я не желал думать о своей жизни дома, который казался таким далеким и маловажным. Вот и начал пересказывать ей “Дачников”. Персонажей она воспринимала прямо как живых людей, сердилась на вечно жалующуюся Ольгу, а инженера Суслова называла свиньей. Варвару и ее увлечение писателем Шалимовым она толком не понимала. Ну как можно поверить такому человеку, возмущенно говорила она, какой из него соблазнитель. А как должен действовать настоящий соблазнитель? — полюбопытствовал я. Ему надо быть

честным перед любимой, а главное — перед самим собой, ответила Ана, неодобрительно качая головой. Больше всех ей понравилась Марья Львовна. Ее монолог из четвертого действия я знал почти наизусть и, по просьбе Аны, повторил его несколько раз. “Мы — дачники в нашей стране... какие-то приезжие люди. Мы суетимся, ищем в жизни удобных мест... мы ничего не делаем и отвратительно много говорим”. Да, сказала Ана, нам всем нужно стать другими. “Для себя... для того чтобы не чувствовать проклятого одиночества...” — продолжал я. Ана недоверчиво посмотрела на меня и сказала, что мне незачем делать ложные выводы. Вы бы прекрасно вписались в пьесу, заметил я. В одном из писем Горький писал, что все женщины у него — мизантропки, а мужчины — мерзавцы. Тогда и вы прекрасно вписываетесь в пьесу, сказала Ана. Я взглянул на нее, но трепетный свет костра не позволял рассмотреть выражения ее лица.

Где Ана ночует, я так и не выяснил. Когда поздно вечером мы шли к дому, каждый со своей лампой, она посылала меня вперед, а она, мол, догонит. Однажды я ждал в коридоре у своего номера. Погасил лампу и долго вслушивался в темноту, но не услышал ни звука и в конце концов лег спать.

В полудреме я представил себе, как Ана входит в мою комнату. Среди ночи проснулся и увидел в слабом свете луны ее силуэт. Она разделась, откинула одеяло и села на меня. Все происходило совершенно беззвучно, только сквозь тонкие стекла слышался далекий шум речки. Ана обращалась со мной грубо — как с вещью, необходимой для вполне определенной цели, но в остальном совершенно безразличной. Утолив свой голод, она ушла, мы не сказали друг другу ни слова.

Утром, когда я вошел в столовую, Ана, как всегда, уже сидела за столом и завтракала. Не долго думая, я, прежде чем сесть, быстро погладил ее по волосам. Она вздрогнула и втянула голову в плечи. Я попытался завести разговор, но Ана не отвечала, мрачно смотрела на меня, будто знала, что́ мне снилось этой ночью. Как всегда, она заглотала еду и вышла из-за стола, как только опустошила тарелку.

После завтрака я полистал в библиотеке кой-какие альбомы, потом перебрался в дамский салон, поиграл в бильярд. Ана не появлялась и обедать тоже не пришла. Я перекусил на кухне, вернулся в библиотеку и стал читать один из американских детективов. Под вечер я услышал, как к гостинице подъехал автомобиль. Выглянув из окна, увидел у входа старенький “вольво́”, из которого вышли двое мужчин. Может, убраться отсюда? — подумал я, но потом все же остался в биб-

лиотеке, продолжил чтение. Примерно часом позже, когда я, заскучав, отложил детектив, дверь открылась и вошли те двое мужчин. Оба недоуменно воззрились на меня, и один, не отвечая на мое “здравствуйте”, спросил, что я здесь делаю. Читаю, сказал я. Но как вы вошли в дом? — продолжал он. Через дверь, ответил я и встал, я здешний постоялец. С прошлой осени гостиница закрыта, сказал мужчина. Владелец разорился. Через месяц здание будет продано с аукциона.

Только теперь он представился: Лоренц, ликвидатор из соседней общины. Второй оказался потенциальным покупателем, инвестором по фамилии Шваб, собственником нескольких гостиниц в округе. Я рассказал про Ану, прошел с ними в холл, отыскал в ящике за стойкой администратора книгу регистрации, предъявил свою запись. Однако ликвидатор все равно остался недоверчив. Неужели вы ничего не заподозрили? — спросил он. Гостиница, где нет ни воды, ни электричества. Телефон он не отключил, это верно, но откуда ему было знать, что кто-то вздумает поселиться в этом здании. Я промолчал, сказать было нечего. И где же эта сомнительная особа? — спросил он. Я ответил, что в семь она будет здесь, как всегда, придет ужинать. Ликвидатор скептически взглянул на меня и сказал, что будет весьма обязан, если я соберу свои вещички. Кстати, они могут подбросить меня до деревни. Попозже, через час-полтора. Я обмолвился, что оплатил проживание до завтра, однако он не ответил и сказал инвестору, что сейчас покажет ему полуподвал. Я поднялся в номер собрать рюкзак.

Закончив сборы, я впервые за все время наведался на верхние этажи. Выглядели они точь-в-точь как тот, где я жил. Одну за другой я открыл двери всех номеров, но все они были необитаемы. Узкая лесенка вела с самого верхнего этажа на чердак, забитый старой мебелью, отделочными материалами, картонками с почтовыми конвертами и туалетной бумагой. Штабель соломенных венков лежал возле старой афиши, на которой между нарисованными сосульками было написано: *Зимний бал.* Я нашел штук десять санок и большие запыленные бутыли в оплетке, но ни следа Аны. Тем не менее с самого начала поисков меня не оставляло ощущение, что она где-то рядом и вот-вот выйдет из-за угла.

Обшарив весь дом и ничего на найдя, я сел в холле в одно из кресел, не снимая с него белого полотнища. Немного погодя из столовой вышли те двое. Господин Лоренц нес под мышкой рулон бумаги. Посмотрел на часы, на лице появилось нетерпеливое выражение. Шесть уже, сказал он своему спутнику, не смею вас дольше задерживать. Если вам хочется

подождать, отозвался господин Шваб, то я не тороплюсь. Мне и самому охота узнать, что за история с этой таинственной особой. Затем он, уже обращаясь ко мне, сказал, что я наверняка знаю, где здесь спрятано вино, так не принесу ли бутылочку. Я сам принесу, быстро сказал Лоренц и скрылся в подвале. Как вам это место? — спросил инвестор. Можно здесь продержаться? Он-то не очень уверен. Два банкротства подряд за несколько лет явно не предвещают гостинице ничего хорошего, хотя, возможно, ею просто управляли не те люди.

Мы устроились в столовой и пили итальянское вино, которое принес Лоренц. В четверть восьмого Шваб сказал, что, по его мнению, женщина не придет, вероятно, увидела автомобиль у подъезда и сбежала. Если она вообще существует, сказал Лоренц. Она была здесь, сказал я. Лоренц кивнул: да-да, он мне верит. Мы подождали еще четверть часа. И в конце концов решили ехать. Ликвидатор запер двери и сказал, что завтра пришлет сюда полицию, пусть проверят, все ли в порядке. Пока мы по серпантину спускались в ущелье, я думал об Ане и спрашивал себя, где она сейчас, что будет есть, где проведет эту ночь. Я не сомневался, что прогнал ее не автомобиль, а я, мое опрометчивое прикосновение нынче утром.

Заночевал я в маленьком пансионе, который мне порекомендовал ликвидатор. А утром уехал домой. На доработку текста у меня осталась ровно неделя, и все следующие дни я корпел над ним. А при этом невольно вспоминал об Ане. Теперь только до меня дошло, что́ она имела в виду, когда сказала, что я получаю от нее куда больше, чем электричество и воду. Сдав доклад в печать, я позвонил ликвидатору. Он не сразу вспомнил, кто я такой, но потом сообщил, что полиция побывала в гостинице, все обыскала, но, кроме пустых банок и грязной посуды, никаких следов женщины не обнаружила.

Шарль-Фердинанд Рамю

Смерть Большого Фавра

Рассказ

Перевод с французского Галины Мединой

В творчестве швейцарского классика Шарля Фердинанда Рамю [Charles-Ferdinand Ramuz, 1878–1947] соединились и достигли совершенства характерные черты романдской литературы: органичный синтез эпического и лирического начал, стройность формы, способность "в одном мгновеньи видеть вечность", запечатлеть в обыденных образах всеобщее, выразить универсальное на родном романдском наречии.

Ученик Флобера, Рамю, подобно учителю, видел эстетический идеал в античности, греческая трагедия была для него образцом.

"Кем стал бы Эсхил, родись он в 1878 году в наших краях, в одном из уголков Во? Написал бы он 'Персов'?" – спрашивал себя Рамю в "Дневнике". Своеобразным ответом на этот вопрос стала новелла "Смерть Большого Фавра" (1910), вошедшая в сборник "Рассказы и фрагменты". Над этим сборником Рамю работал в тот период, когда, преодолев искушение "стать французским литератором в Париже", осознал себя романдским писателем.

© 2006. Editions Slatkine, Genève.
www.slatkine.com
© Галина Модина. Перевод, 2013

Новелла повествует о противостоянии человека тому, что победить он заведомо не может, – природе и смертной обреченности. В этом сражении его гордыня сродни "гибрис" героев античной трагедии, дерзнувших сравняться с богами. Фавр в финальной сцене подобен гиганту, поверженному Зевсом, с барельефа Пергамского алтаря, и новелла, оставаясь "обыденной" историей, прочитывается как метафора человеческого существования.

Рамю оставил огромное литературное наследие. Наиболее известен своими романами, среди которых – "Алина" ["Aline", 1905; рус. перев. 1928], "Красота на земле" ["La Beauté sur la terre", 1927; рус. перев. 2006], "Дерборанс" ["Derborence", 1934; рус. перев. 1985], "Савойский парень" ["Le Garçon savoyard", 1936; рус. перев. 1985], "Если солнце не взойдет" ["Si le soleil ne revenait pas", 1937; рус. перев. 1985]; многие его произведения были экранизированы.

Перевод выполнен по изданию "Рассказы и фрагменты" ["Nouvelles et morceaux". Tome 2, 1908–1911. Slatkine, 2006].

Александру Сангрия[1]

Тем вечером, в субботу, пятеро мужчин рубили лес у Клюза. Лес этот старый, растут в нем дубы да буки, но больше буки. Оттуда до деревни добрых полчаса ходу будет. Раскинулся лес по редким холмам и равнине с запада на восток. На севере он вплотную подходит к полям, стеной стоит над ними, на юге рассекает его овраг, и чем дальше к востоку, тем овраг глубже. На дне течет ручей под названием Рю. Пробиваясь сквозь слоистую, обычную для здешних мест, почву, он исподволь размывает ее, подтачивает берега. Один край оврага, лесной, много выше другого, и кажется, лес внезапно обрывается, но чаща кругом непроходимая, тесно стоят деревья, всюду ежевика, заросли дикой малины, вечный сумрак, ни тропки нет, лишь глубокие колеи на мягкой земле, оставленные груженными лесом возами.

Вот здесь-то они и были, на прогалине, в самой глуши. День клонился к вечеру, мужчины оставили топоры, набросили куртки, собрались уходить. Уже каждый поднял свою корзину для обеденных припасов и, перекинув ее через руку, раскурил трубку. Лишь Большой Фавр все еще обрубал ветви дуба, поваленного в полдень. Его окликнули.

1. Александр Сангрия (1879–1945) – художник и писатель, близкий друг Рамю. (*Прим. перев.*)

— Ступайте вперед, — отозвался он, — я еще раз-другой махну топором и догоню вас. Дорога известная.

Так четверо ушли, один остался.

Был он роста огромного, сильный, широкоплечий, с длинными рыжими усами. Поговаривали, что жену свою Большой Фавр уморил, так жестоко он с ней обходился. И все это знали, но в глаза ему сказать не смели, только шептались между собой: уж очень был он силен и на расправу скор. Поначалу, как умерла жена, все от него отвернулись, а он подошел и прямо спросил: “Случилось что? Отчего вдруг здороваться со мной перестали?”

— Да что ты, — смутились все. — Ничего против тебя мы не имеем. Не выпьешь ли с нами по стаканчику?

Так и стал Большой Фавр хозяином положения, да он и раньше им был, а вот понял это только теперь. Жену его бедную в сырую землю зарыли, а он жил себе преспокойно, пил допьяна, ел досыта. И держался гордо, все, бывало, повторял: “Со мной они не справятся”.

Кто “они”? Неизвестно, но Фавр так это говорил, что за словами слышалось, будто вся жизнь в его руках, и нет ему равных. Может, оно и верно, да только был он таким же, как все мы, смертным.

Фавр с размаху опускал топор на крепкие узловатые ветви, окружавшие ствол, самые толстые со второго удара поддавались. Так он очистил дуб сверху донизу, остались лишь толстые сучья. Он рубил их, вытаскивал из-под ствола, складывал в кучу, и та росла горой. Со свойственной его натуре гордыней, Фавр решил сделать всю работу в одиночку и до конца.

Вечер, как случается в начале ноября, был пасмурный, снег пока не выпал, но тяжелые тучи обещали его, а поля уже местами припорошило. Ветер налетал порывами, обрывал последнюю листву; сады стояли голые, и лес почти обнажился, лишь на грабах еще держались резные листья, прочные, словно металлические, они даже позванивали на ветру. А ветер все не унимался. Не стало мелких пташек: их унесло с листвой. Пусто, лишь высоко в небе черными точками кружат на сильных крыльях вороны, обгоняют друг друга, собираются в стаю, черным облаком поднимаются к тучам, то плавно опускаются ниже, то словно падают и резко взлетают вновь, — вот уже последняя стая с мрачным криком покинула лес. Стемнело, когда четверо мужчин вошли в деревню. Большого Фавра с ними не было. Беспокоиться о нем не стали, решили, что задержался, с тем и разошлись по домам.

Назавтра Фавр не объявился. День был воскресный, в лес никто не пошел. И вот в понедельник утром...

Ламбле шел первым. Вдруг он взмахнул рукой, подзывая других, и указал на землю. Там, у дубового ствола с последним наполовину отрубленным суком лужей растеклась кровь. И рядом топор, рукоятка в крови, уже засохшей. Топор узнали сразу. Отсюда и до прогалины, где обычно оставляли корзины, тянулся кровавый след. Ни корзины, ни куртки Фавра там не нашли. Видно, он остановился на минуту, присел на опавшую листву: тут еще лужа крови натекла. Дальше видны капли, где чаще, где реже, местами их вовсе не было, след терялся, а ветер так и гулял по лесу, и грабы роняли с вершин лист за листом. Но мужчин было четверо, и вот двинулись они, шеренгой, в пяти-шести шагах друг от друга, то останавливались, то собирались в круг, расширяли его мало-помалу, пока кто-нибудь не звал: "Сюда!" И они сходились вновь. Ведь они поняли уже, как надо искать, и точно знали, что найдут его. Сколько бы времени ни прошло, но не так уж много крови в человеке. "С такой раной, да заблудившись, не мог он далеко уйти", — думали они.

Вот так и вышло, что впервые история этой смерти была написана кровью на черной лесной земле. Беда случилась ночью. И надо знать, какова ночь в лесу, под затянутым ноябрьскими тучами небом. Ни звезды, ни лунного луча, тьма кромешная, рук своих не видать, двигаться можно лишь на ощупь, как слепой в беспросветном мраке. И ведь он едва шел. Должно быть, подволакивал за собой ногу, оставляя след на голой, влажной от дождя земле. Ковылял на одной ноге от ствола к стволу, опирался о них руками и, пока не угас вечерний свет, медленно двигался в верном направлении, но опустилась тьма, он сбился с пути, закружил по лесу.

Четверо мужчин достигли зарослей ежевики, ее невысокие кусты и зимой оставались зелеными. Здесь они наткнулись на брошенную корзину, рядом валялись пустая бутылка и краюха хлеба. Чуть поодаль нашли они шапку, за ней повязку, черную, заскорузлую от крови. Кусты кругом изломаны, на колючих ветвях повисли лоскуты рубахи. Тут он падал, поднимался и долго плутал, оставляя кровавые следы, все более и более обильные. Повязка, видно, слетела, а шипы у ежевики длинные, острые. Должно быть, он руками хватался за кусты, волок сквозь них ногу, и шипы вонзались в рану, раздирали ее. Сколько же надо силы, чтобы выбраться отсюда?

Он выбрался.

И снова Фавр оказался на прогалине. Чаща расступилась, колючие заросли сменил ковер опавшей листвы. Дубы здесь древние, кроны у них раскидистые, и стоят они реже. Теперь двигаться ему было не так тяжело, петлял он меньше, но

кровь все лилась, и останавливался он все чаще. Видно, устал и совсем измучился. И раненую ногу больше не мог он держать на весу, тащил волоком: след стал непрерывным, и больше они его не теряли.

И привел след к оврагу. Его и днем-то заметить трудно, разве только к самому краю подойдешь. Ночью же ничто не предвещает опасности. На ровном месте земля внезапно расступается, словно уходит из-под ног, и отпрянуть невозможно. Впрочем, обрыв не столь уж крутой, и на здоровых ногах выбраться из оврага не так трудно. Но раненому, и на одной ноге!.. Четверо мужчин упорно, круг за кругом, шли по следу.

И вот, как это случается темной ночью или бывает со слепыми, они ощутили незримую угрозу (словно шум ручья предупредил о ней). И почудилось то, чего они желали: будто след, минуя обрыв, тянется вдоль него. Но Фавр случайно отступил от края. Чуть дальше, у самого крутого склона осталась на рыхлой земле глубокая вмятина от каблука. Здесь он упал, на спину или ничком, и съехал по скользкой глине: гладкий сизый след остался на откосе. А внизу оказалась площадка, небольшой уступ. На нем Фавр удержался.

И отсюда он силился выбраться. Кровь, снова кровь, словно он нарочно разбрызгал ее повсюду: так сбрызгивают водой белье перед глажкой. Кровь и отчетливые отпечатки рук на мягкой жирной глине, и углубления от всех пяти пальцев. Он ладонями нащупывал склон, пальцами впивался в него, подтягивался выше, упирался коленями в отвоеванный кусочек земли и все повторял сначала. Но тщетно. Фавр срывался, поднимался снова и снова съезжал к уступу. Видно, долго он так упорствовал: склон сделался точно полированный. При последней попытке Фавр слетел с уступа и уже не скользил, но быстро катился вниз. За уступом оказался первый крутой откос из песчаника, а ниже осыпь, поросшая длинными стеблями хвоща, за них только и мог он уцепиться.

Много повидали эти мужчины, но тут их огрубевшие сердца дрогнули. Не сразу решились они подойти, поняли, что́ найдут там. Прежде спустились на самое дно оврага, оттуда поднялись на откос и побледнели. Хвощ кругом вырван с корнем. Фавр катился по осыпи и удержаться мог лишь за длинные стебли. Он горстями хватался за них, но все они оставались в его руках. Надежда на спасение жила, пока оставался последний куст, вот и он поддался, стебель за стеблем. Тогда, наверное, Фавр закричал...

Далеко внизу шумел ручей. Последний, самый крутой, склон нависал над водой. Глубина в этом месте была больше, ручей размыл берег и заводью разлился под ним. Здесь, по

плечи в воде, прислонившись к берегу, сидел Большой Фавр. Упасть так он не мог. Волосы и борода его были влажными, значит, упал он в воду плашмя, но у него достало сил подняться, да еще и сесть. Он все надеялся избежать смерти, ждал, наверное, что его спасут, звал на помощь, вот так, прислонившись спиной к берегу, запрокинув голову на камень, и все шарил руками по скользкому дну. Как долго?

Он кричал, но пусто было вокруг. Глухой лес стоял над ним, а ниже, за оврагом, — широкие безлюдные поля. Никто не пришел туда воскресным днем в ноябре, хотя уже рассвело, и закончилась долгая ночь. Он звал, но лишь огромный беспросветно серый купол небес склонялся над ним, холод и тоскливый сумрак спускались с высоты. И холод поднимался со дна. Фавр звал на помощь, и голос слабел, ведь холод, обнимая его, добрался до самого сердца. Он звал, голосом слабым и хриплым, и снова пытался подняться, и снова упал, хотел еще крикнуть и не смог, но рот так и остался открытым, а руки его все искали опору, и ногти крошились о камни. Вот смертной судорогой свело ему плечи, но пусто было в бездонном небе, лишь высоко в тучах кружили вороны.

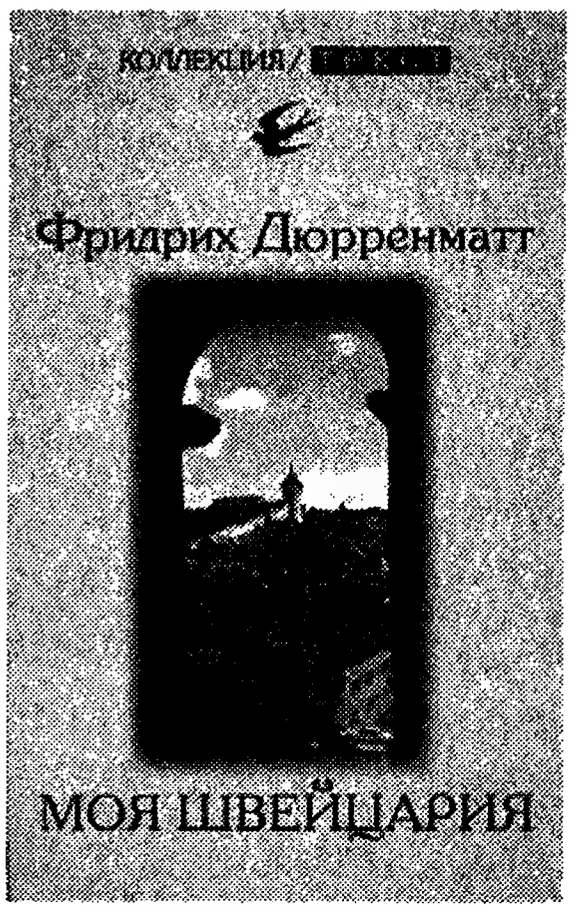
Наконец, они увидели его: застывший в беззвучном крике рот, остекленевшие глаза, склоненная к плечу голова. Свет пронизывал лицо Большого Фавра, а в его полуобнаженном теле не осталось ни капли крови.

БиблиофИЛ

Информация к размышлению Non-fiction

с Алексеем Михеевым

Моя Швейцария — так называется книга **Фридриха Дюрренматта**, выпущенная в этом году издательством "Текст" (перевод с нем. **Н. Федоровой**. — 190 с. — Серия "Коллекция"). По-немецки этот сборник, в который вошли два с лишним десятка небольших по объему текстов выдающегося швейцарского писателя, был издан в 1998-м, через восемь лет после его кончины. Составители выстроили замысловатую композицию из трех частей с прологом и эпилогом: каждую часть открывает стихотворение из серии *Швейцарский псалом*, а далее следуют большей частью статьи и эссе, но не только — присутствуют речи, беседы, притчевая проза и даже ироническая пьеса. Подзаголовок, которым снабжен сборник, также нельзя воспринимать без доли иронии: *Книга для чтения* (а для чего еще бывают книги?).



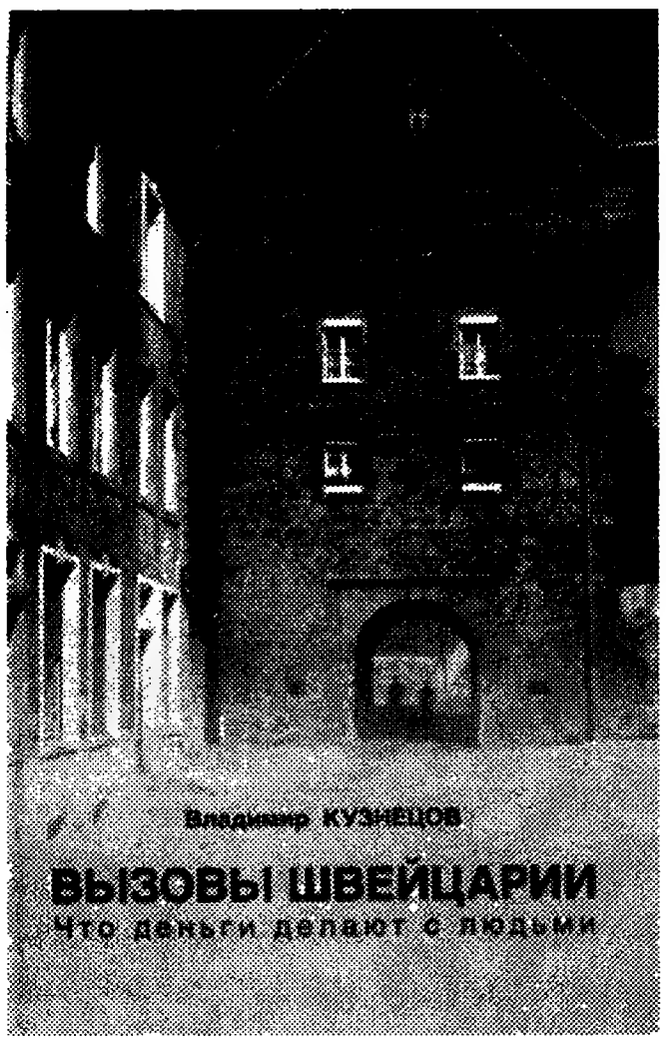
Несмотря на жанровую пестроту, сборник отличается цельностью, что объясняется единством темы: перед нами плоды постоянной рефлексии писателя на тему "Что же такое Швейцария?" Хронологию составители в расчет не принимали, и потому *Эпилог* открывается самым первым по времени написания текстом (1950), носящим название *О конце Швейцарии* (ключевая для этой заметки фраза: *Если возникнут Соединенные Штаты Европы, Швейцария поневоле растворится в этом новом крупном государстве*). Последний же по времени появления текст здесь — это как раз предшествующая *Эпилогу* речь в честь Вацлава Гавела (1990) с не менее мрачным заголовком *Швейцария – тюрьма.* Если учесть, что в первой части присутствует также фрагмент прозы под названием *Моя пощаженная тюрьма Швейцария* (которое, впрочем, дали этому фрагменту составители), то можно сделать вывод, что автор свою родину склонен представлять скорее в мрачном свете. Однако это все-таки не совсем верно: так, пролог (представляющий собой рукопись 1968 года) называется *Удовольствие от Швейцарии* — то есть диапазон эмоций Дюрренмат-

та по поводу своей страны предельно широк (еще один из характерных заголовков здесь: *Предприятие "Швейцария"*).

Швейцария для Дюрренматта – страна не вполне "естественная" – в том смысле, в каком естественно-органичными являются окружающие ее этнически и лингвистически более или менее однородные (по крайней мере, в середине XX века) Франция, Италия и Германия. Швейцарии могло бы и не быть; и ее может не стать в будущем – таков один из периодически повторяющихся тезисов автора. И тем не менее, как это ни парадоксально, именно в силу своей "неестественности" она есть – являя собой практически лабораторный пример некоего "правильного" государственного устройства, построенного на принципах не племенного единства, а свободы, демократии и социального консенсуса. Швейцария – "нереальна" и, соответственно, "идеальна".

Впрочем, эта "искусственность" имеет и оборотную сторону. Швейцария – это страна "не от мира сего", занимавшая в жестоком XX веке осознанную позицию нейтралитета. И, анализируя эту позицию, Дюрренматт приходит к выводу, что были в ней и элементы некоей лицемерной двусмысленности – имея в виду то, что, например, швейцарские банки, в силу своей независимости и непредвзятости, вовсе не брезговали нацистскими вкладами, представляющими собой результат конфискации собственности немецких евреев. А печальную эволюцию идеалистической установки на открытое социальное государство автор уже не застал. В одном из текстов он пишет, что в Швейцарии гармонично сосуществуют и католики, и протестанты, и *даже некоторое количество мусульман.* Сегодня эта формулировка способна вызвать грустную улыбку: ведь это некоторое количество стало столь заметным, что четыре года назад швейцарцам уже на референдуме пришлось решать вопрос о запрете строительства минаретов на территории многочисленных мечетей. А сейчас, когда я пишу эти строки (середина августа) на лентах новостей из Швейцарии появляются сообщения о том, что американскую телезвезду Опру Уинфри отказались обслуживать в магазине из-за цвета ее кожи, а также о запрете на посещение публичных мест (библиотеки, бассейны, игровые площадки и прочее) тем десяткам тысяч беженцев, которые претендуют на получение политического убежища, но пока его не получили.

Один из общих выводов, к которым приходит Дюрренматт, состоит в том, что базовым для швейцарской специфики понятием является банковская тайна: именно она обеспечивает особое положение этой небольшой страны, ее стабильность и ее благополучие. И еще две вышедшие в этом году книги посвящены анализу Швейцарии как прежде всего всемирного финансового перекрестка – причем перекрестка как открытых, легальных, так и теневых, преступных мировых дорог – это сборники статей журналиста **Владимира Кузнецова** *Швейцарский лад. Что люди делают с деньгами* и *Вызовы Швейцарии. Что деньги делают с людьми* (М.:



Кучково поле. — 464 с.). Наличие двух отдельных книг в данном случае можно считать чистой условностью — поскольку материал их (близнецов по формату и объему) абсолютно однороден: это журналистские, по преимуществу, статьи о разных местностях, фирмах, известных людях (в частности, несколько статей о писателях — в том числе и о Дюрренматте, которому Кузнецов среди прочих также нанес визит).

Деньги — это универсальный знаменатель, который уравнивает в мире все и вся. Звезды культуры, промышленники, политики и наркоторговцы — в Швейцарии равны все без исключения. Это идеал абсолютной свободы, выносящей за скобки какие-либо этические соображения. Банковская тайна представляет собой абсолютную индульгенцию от грехов, буквальное воплощение принципов "Не пойман — не вор" и "Деньги не пахнут". И это делает Швейцарию действительно уникальным экстерриториальным пространством, той мировой "прачечной", где отмываются любые суммы, пришедшие из окружающего, материального, "грязного" мира. В прозрачном горном воздухе дышится легко — тем легче, чем больше круглых нулей в неосязаемых электронных форматах финансовых счетов. И прежде всего поэтому для современных российских чиновников и бизнесменов Швейцария (в первую очередь финансово) так привлекательна: ведь связывая себя с ней, они встраиваются очередным звеном цепочки в престижный ряд к Фаберже и Ленину, Рахманинову и Набокову, Корчному и Белоусовой с Протопоповым — примерно так можно определить основной посыл двух кузнецовских сборников.

И в заключение обзора упомяну еще одну заслуживающую безусловного внимания книгу этого года, в которой Швейцария и Россия (а точнее — русские в Швейцарии и русские в России) выступают как антонимы — это вошедший в шортлист премии "Большая книга" роман **Антона Понизовского** *Обращение в слух* (СПб.: Лениздат. — 512 с.).

Швейцарская литература на страницах "ИЛ" 2002—2013

2002

"Швейцарский перекресток" — специальный номер, посвященный швейцарской литературе [9]

Шатлен Сильвиана — *Иностранка.* Повесть. Перевод с французского Ирины Волевич

Перрье Анн — *Стихи.* Перевод с французского Юлии Покровской

Ракуза Ильма — *Стихи из книги "Love after Love".* Перевод с немецкого и вступление Елизаветы Соколовой

Мушг Адольф — *Счастье Зуттера.* Роман. Перевод с немецкого и послесловие Владимира Седельника

Несси Альберто — *"В поисках неба".* Из стихов последних лет. Перевод с итальянского Евгения Солоновича

Пустерла Фабио — *"Мы были здесь".* Из стихов последних лет. Перевод с итальянского Евгения Солоновича

Биксель Питер — *Швейцария глазами швейцарца. Заметки об ущербности демократии.* Перевод с немецкого Анатолия Егоршева

Жакоте Филипп — *Самосев. Книга вторая.* Записные книжки 1980—1994 гг. Перевод с французского и вступление Бориса Дубина

Эппель Асар — *Целый месяц в деревне*

Зверев Алексей — *Тени в раю*

Переписка: Макс Фриш – Фридрих Дюрренматт. Перевод с немецкого, вступление и комментарии Евгении Кацевой

Жан Старобинский: Женева, литература, память. Беседует Сергей Зенкин

Хуго Лёчер. Запись беседы и вступление Елизаветы Соколовой

Лёчер Хуго — *Осень в городе Большого Апельсина.* Отрывок из повести. Перевод с немецкого Софьи Фридлянд

Баскакова Татьяна — *Встреча с книгой как эротическое событие*

Драйтова Элина — *Легко ли быть херувимом, или игры, в которые играют люди*

Каспэ Ирина — *Записки из пенала*

2003

Йегги Флёр — *"Пролетарка"*. Роман. Перевод с итальянского и вступление Татьяны Баскаковой [3]

2005

Жакоте Филипп — *Из разных книг.* Переводы с французского. Вступление Бориса Дубина [12]

2006

Что-то такое над нами... Небо Европы. Эссе из книги [6]

Видмер Урс — *Небо Европы.* Перевод с немецкого А. Егоршева

Ракуза Ильма — *Троекратный юг. Ощущения.* Перевод с немецкого Е. Соколовой

2007

Гейзель Зиглинде — *"'Танцевать в цепях': переводчики-музыканты-актеры в поисках своего текста"*. Переводческая конференция в "Литературном коллоквиуме Берлина". Перевод с немецкого Т. Баскаковой [4]

Литературный гид — *Роберт Вальзер* [7]

Дубин Борис — *"Дух мелочей": воздушные изваяния Роберта Вальзера*

Вальзер: жизнь

[*Автобиография Роберта Вальзера.* 1929? г.]. Перевод Т. Баскаковой

Аман Юрг — *В поисках блудного сына.* Эскизы к портрету Роберта Вальзера. Перевод с немецкого А. Егоршева

Зеелиг Карл — *Прогулки с Робертом Вальзером.* Фрагменты книги. Перевод с немецкого В. Седельника

Вальзер: творчество

Вальзер Роберт — *Малая проза и драмолетты.* Переводы О. Козонковой, В. Седельника, А. Егоршева, Т. Баскаковой

Вальзер: отклики

Аман Юрг — *Помешательство, или Внезапное молчание Роберта Вальзера.* Фрагменты романа. Перевод с немецкого В. Седельника

Музиль Роберт — *Литературная хроника (июнь 1914).* Рецензия на "Истории" Роберта Вальзера. Перевод с немецкого А. Белобратова

Беньямин Вальтер — *Роберт Вальзер.* Перевод с немецкого Т. Баскаковой

Сонтаг Сьюзен — *Голос Вальзера.* Перевод с английского Бориса Дубина

Гасс Уильям Хауард — *Роберт Вальзер.* Перевод с английского Бориса Дубина

Робер Марта — *Прощание с романом.* Перевод с французского Бориса Дубина

Паулс Алан — *Меньше нуля.* Перевод с испанского Бориса Дубина

Вила-Матас Энрике — *Здесь плачет сама проза.* Перевод с испанского Бориса Дубина

Йегги Флёр — *Öde.* Перевод с итальянского Ольги Сакун

Хроника жизни Роберта Вальзера. Составил А. Егоршев

2008

Биксель Петер — *Рассказы.* Перевод с немецкого Е. Суриц. Послесловие Петера фон Матта. *Читатель. Повествование.* Пятая Франкфуртская лекция. Перевод с немецкого А. Егоршева [5]

Нива Жорж — *Эринии Литтелла – судьи или судимые?* Перевод с французского Марии Аннинской [12]

2012

Хюрлиман Томас — *Рассказы.* Перевод с немецкого Анатолия Егоршева. Послесловие Татьяны Баскаковой [6]

Переводчики номера

Ирина Сергеевна Алексеева

Переводчик с немецкого. Профессор кафедры перевода РГПУ имени Герцена, проректор по науке института иностранных языков Санкт-Петербурга, директор Санкт-Петербургской высшей школы перевода РГПУ имени Герцена.

Автор ряда книг по теории перевода и методике обучения переводчиков, в частности, *Теория перевода* [1998], *Устный перевод. Немецкий язык* [2002], *Введение в переводоведение* [2004], *Текст и перевод* [2008], а также более ста научных статей. В ее переводе публиковались произведения Л. Тика, Э.-Т.-А. Гофмана. Г. Келлера, Г. Гауптмана, Г. Тракля, Г. Гессе, Г. Броха, Р. Музиля, Г. Бёлля, Э. Елинек и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликована статья В. Бишицки [2009, № 10].

Ирина Яковлевна Волевич

Переводчик с французского, лауреат премий *Инолит* [1997] и имени Мориса Ваксмахера [2008], конкурса *Книга года* [2006].

В ее переводе вышли романы А. д'Обинье, Ж. Верна, Веркора, Ж. Жироду, С. Жермен, П. де Мандьярга, Ж. Шессе, К. Барош, Р. Кено, Ж. Эшноза, А. Гавальда, Д. Ван Ковелера, Ф. Шандернагор и др., а также произведения Н. де Труа, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, П. де Брантома, М. де Гельдероде, А. Камю, С. Малларме, Б. Виана и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Алексей Шипулин

[р. 1975]. Переводчик с немецкого и английского языков.

В его переводе были опубликованы книги С. Коллинз *Голодные игры* и *Сойка-пересмешница*, П. Мелкоу *Стены вселенной*, К. Маккалоу *Слишком много убийств*. В *ИЛ* публикуется впервые.

Наталья Самойловна Мавлевич

Переводчик с французского. Лауреат премий *Иноллитл* [1999], имени Мориса Ваксмахера [2001] и *ИЛ*люминатор [2012].

В ее переводах издавались произведения М. Эме, Б. Виана, М. Юрсенар, Э. Ионеско, Лотреамона, Л. Арагона, М. Жакоба, М. Шагала, Б. Шагал, А. Жарри, Э. Чорана, Э. Ажара и др. В *ИЛ* печатались *Песни Мальдодора* Лотреамона [1993, № 1], романы А. Сарразен *Перелом* [1993, № 10, 11], Э. Ажара *Голубчик* [1995, № 7], А. Нотомб *Антихриста* [2004, № 10], Дай Сы-цзе *Комплекс Ди* [2005, № 8], пьеса Э.-Э. Шмитта *Гость* [2004, № 6], мини-рассказы Ф. Делерма [2006, № 9], главы из книги Я. Карского *Мое свидетельство миру. История подпольного государства* [2012, № 5] и др.

Нина Федоровна Кулиш

Переводчик с французского и итальянского языков. Обладатель Почетного диплома критики *зоИЛ* [2012].

В ее переводе публиковались романы *Изнанка мюзик-холла* и *Дуэт* Г. С. Колетт, *Из волшебного леса* Дж. Бонавири, повести *Антимоний* Л. Шаши, *Осеннее равноденствие* Дж. Конте, сборник эссе П. Клоделя *Глаз слушает* и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы эссе Д. Буццати *Осколки невозможного* [1999, № 6], романа Ж. М. Леклезио *Диего и Фрида* [2000, № 9], эссе М. Уэльбека *На пороге растерянности* [2002, № 3], роман Ж.-Ф. Арру-Виньо *Урок непослушания* [2002, № 6], романа П. Мишона *Рембо сын* [2012, № 11] и др.

Мария Александровна Липко

Переводчик с французского.

В *ИЛ* в ее переводе опубликован философский трактат *Зеркало идей* М. Турнье [2013, № 1].

Мария Львовна Аннинская
Переводчик с французского и итальянского языков. Лауреат премии *Инолит* [2012].

В ее переводе выходили произведения Б. Виана, Ж. Кокто, С. Де Бовуар, Р. Гари, Т. Ландольфи, П. Виллемса, А. Жида, Алена [Эмиля Шартье], С. Греджио, Ф. Джиана, Д. Буццати, П. Мишона, А. Моруа , Н. Саррот и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Михаил Давидович Яснов
[р. 1946]. Поэт, переводчик классической и современной французской поэзии. Обладатель премии имени Мориса Ваксмахера [2002], *Мастер* [2008], Правительства РФ в области культуры [2012], Почетного диплома Международного совета по детской и юношеской книге [2002] и др.

Автор семи книг лирики, сборников стихов для детей, а также статей о русской и французской поэзии. Составитель и комментатор сборников произведений Сирано де Бержерака, П. Верлена, Г. Аполлинера, П. Валери, Ж. Превера, Ж. Кокто, Э. Ионеско, А. Рембо, антологий *Проклятые поэты* и *Поэзия французского сюрреализма* и др. В *ИЛ* в его переводах печатались стихи Г. Аполлинера [1998, № 4], Ж. Рубо [1999, № 8], М. Уэльбека [2003, № 3], С. П. Тибодо [2008, № 11], Э. Дорион [2008, № 11], Ж.-Э. Риопеля [2008, № 11], Ю. Киискинена [2009, № 9], Й. Инкалы [2009, № 9], поэма В. Равалека *Апельсин на автостоянке* [2006, № 9], *Поэтические тексты* П. Пикассо [2007, № 10], Ж. Роденбаха [2011, № 11] и др.

Мария Владимировна Зоркая
Литературный критик, переводчик, доцент Литературного института имени А. М. Горького.

Автор многочисленных публикаций о немецкоязычной литературе XX века, в том числе статей о творчестве Э. Барлаха, Г. Бёлля, Г. Вальрафа, К. Вольф, Ф. Вольфа, Г. Гауптмана, Г. Казака, Э. Э. Киша, Э. М. Ремарка, Р. В. Фасбиндера и др. В *ИЛ* в ее переводе публиковался рассказ К. Хакер *Карл* [2004, № 11].

Нина Осиповна Хотинская
Переводчик с французского. Лауреат премии имени Мориса Ваксмахера [2011].

В ее переводе выходили романы П. Брюкнера *Похитители красоты*, П. Модиано *Дора Брюдер*, М. Дюрас *Летний вечер, половина одиннадцатого*, П. Констан *Банановый парадиз* и *Откровенность за откровенность*, М. Вяземски *Горстка людей*, Ф. Аррабаля *Красная мадонна и Необычайный крестовый поход влюбленного кастрата*, рассказы М. Эме, Ф. Саган и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Анна Владиславовна Ямпольская
Переводчик с итальянского, кандидат филологических наук, преподаватель Литературного Института имени А. М. Горького. Лауреат премии области Тоскана *Серебряный гонфалон* [2007] и итальянской премии имени Н. В. Гоголя [2009].

Автор статей по истории итальянской литературы, истории языка, стилистике, теории перевода, а также учебных пособий для российских и итальянских студентов. Совместно с М. Динелли опубликовала книгу рассказов на итальянском языке *Ленин. От "Правды" к Праде: истории одной революции* [*Lenin. Dalla Pravda a Prada: storie di una rivoluzione*, 2008]. В ее переводе вышла книга мемуаров Н. Пацци *Легкие воспоминания* [2004] и книга Р. Джулиани *Рим в жизни и творчестве Гоголя, или Потерянный рай* [2009]. Составитель и переводчик специальных номеров *ИЛ — Итальянская литература в поисках формы* [2008, № 10] и *Италия: времена года* [2011, № 8].

Вячеслав Глебович Куприянов
[р. 1939]. Поэт, прозаик, переводчик, член российского ПЕН-клуба, Лауреат Европейской литературной пре-

Автор сборников стихотворений *От первого лица* [1981], *Жизнь идет* [1982], *Домашнее задание* [1986], *Эхо* [1988], *Дайте договорить* [2002], *Лучшие времена* [2003], *Ода времени* [2010] и др., романов *Башмак Эмпедокла* [1994], *Синий халат Вселенной, или Ваше звероподобие* [2006] и др., повестей, рассказов. В его переводе выходили стихи

мии [Югославия, 1987], Премии министерства культуры и образования Австрии [2006], международной премии имени Бранко Радичевича [Сербия, 2006], международной премии *Моравская грамота* [Сербия, 2008], Бунинской премии [2010]. Обладатель Македонского литературного жезла [1999].

Гёльдерлина, Новалиса, Р. М. Рильке, Б. Брехта, Э. Яндля, Х. Калау, Э. Фрида. В *ИЛ* в его переводе опубликованы стихи Х. Гриля, М. Крюгера, Х. Хартунга, Р. Герхардта, Х. М. Энценсбергера [2004, № 11].

Ася Петрова
Детский писатель, переводчик с французского. Обладатель международной премии *Книгуру* [2011].

В ее переводе выходили произведения Г. Аполлинера, Н. Фарга, Э.-Э. Шмитта, квебекских поэтов. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы фрагменты романа маркизы А. де. Маннури д'Экто *Кузины полковницы* [2012, № 7] и статья Д. Виара [2012, № 11].

Елизавета Всеволодовна Соколова
Переводчик с немецкого, кандидат филологических наук.

В ее переводе в *ИЛ* напечатана статья *С Востока на Запад и обратно* [2003, № 9], а также стихи австрийского поэта К. Любомирского [1995, № 8], немецких поэтов У. Хан [1994, № 2 и 1997, № 7] и И. Тильш [1996, № 8], швейцарских поэтов Э. Буркарт [1998, № 9] и И. Ракузы [2002, № 9], австрийского поэта Ф. Майрёкер [2003, № 2], эссе Д. Грюнбайна [1998, № 1], рассказы Ю. Герман [2000, № 11], Б. Шпиннена [2004, № 11] и др.

Святослав Городецкий
[р. 1981]. Поэт, переводчик с немецкого и английского языков. Победитель Конкурса молодых переводчиков немецкоязычной поэзии [2005], лауреат премии имени Жуковского для молодых переводчиков [2008].

В его переводе вышли сборник рассказов *В незнакомых садах* и роман *Не сегодня-завтра* П. Штамма. В *ИЛ* в его переводе опубликовано эссе П. фон Матта *Смех, и лукавство, и любовь* [2008, № 5], фрагменты романа И. Шульце *Новые жизни* [2009, № 10].

Наталья Дмитриевна Шаховская
Переводчик с французского. Лауреат премии *ИЛ* [1993].

В ее переводе публиковались стихи Ж. Расина, В. Гюго, Л. Лабе, Клода ле Пти, Ж. Кокто и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны рассказ Колетт *Больной ребенок* [1993, № 10], роман *Французское завещание* А. Макина [в соавторстве с Ю. Я. Яхниной, 1996, № 12], стихи М. Уэльбека [2005, № 3], К. Маро и П. Де Ронсара [2012, № 7] и др.

Евгений Михайлович Солонович
[р. 1933]. Переводчик с итальянского, профессор Литературного института имени А. М. Горького, почетный доктор Сиенского университета [Италия]. Командор ордена Звезды

Переводил лирику Данте, поэтов Возрождения, римские сонеты Д. Д. Белли, стихи У. Сабы, Д. Унгаретти, Э. Монтале, М. Луци и других классиков итальянской поэзии XX в., прозу Э. Монтале, Б. Фенольо, Л. Шаши, А. Камиллери и др. Неоднократно печатался в *ИЛ*.

Итальянской Солидарности, лауреат Государственной премии Италии в области художественного перевода [1996], премии *ИЛлюминатор* [2001], премии журнала *Октябрь* [2009].

Элла Владимировна Венгерова
Переводчик с немецкого и польского языков. Кандидат филологических наук. Лауреат премии имени В. А. Жуковского [2008].

В ее переводах были опубликованы произведения П. Хакса, Х. Мюллера, Ф. Брауна, Г. Вальрафа, Ф. Дюрренматта, Х. фон Додерера, Г. Бюхнера, Р. Капущинского, Э. М. Ремарка, К. Мерца, П. Зюскинда и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Борис Владимирович Дубин
[р. 1946]. Литературовед, переводчик, культуролог, социолог. Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛлюминатор* [1994], имени Анатоля Леруа-Больё [1996], имени Мориса Ваксмахера [1998], премии Андрея Белого за гуманитарные исследования [2005], международной премии имени Ефима Эткинда [2006], кавалер национального ордена Франции *За заслуги* [2009].

Автор книг *Слово — письмо — литература* [2001], *Интеллектуальные группы и символические формы* [2004], *На полях письма* [2005], *Классика после и рядом* [2010], многих статей по социологии культуры. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 12; 2000, № 1; 2003, № 10; 2004, № 12]. В *ИЛ* в его переводе публиковались стихи Э. Ади [1997, № 12], П. Жимфере [2010, № 11], миниатюры Х. Л. Борхеса [2005, № 10], эссе Ч. Милоша [1992, № 8], Э. М. Чорана [1996, № 4], С. Сонтаг [1996, № 4], И. Бонфуа [1996, № 7], Ф. Лежёна [2000, № 4], Б. Сарло [2010, № 10], отрывки из записных книжек Ф. Жакоте [2002, № 9; 2005, № 12] и др.

Нина Николаевна Федорова
Переводчик с немецкого, шведского, норвежского, нидерландского, английского и польского языков. Лауреат Австрийской государственной премии в области литературного перевода [1994], премии имени Жуковского [2004].

В ее переводе печатались произведения К. Вольф, Г. Гессе, Ф. Дюрренматта, А. Зегерс, К. Рансмайра, П. Низона, Й. Рота, А. Штифтера, И. Бергмана, Х. Мартинсона, Л. Густафссона, С. Дельбланка, Т. Линдгрена, Ё. Тунстрёма, рассказы М. Л. Кашниц и З. Ленца, драмы Р. Музиля и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Галина Ивановна Модина
Переводчик с французского, литературовед. Кандидат филологических наук, преподаватель Дальневосточного государственного университета.

В ее переводах опубликован автобиографический цикл ранней прозы Флобера. В *ИЛ* напечатаны в ее переводе *Философские новеллы* Флобера [2010, № 1], рассказ Ф. Бласбанда *В зарослях* и пьеса М. Юрсенар *Диалог в трясине* [2011, № 11].

В оформлении обложки использован фрагмент картины швейцарского художника Пауля Клее [1879–1940] *Магия рыб* [1925].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая");
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Экспресс-хроника" (Страстной бульвар, д. 4);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в Санкт-Петербурге:
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.10.2013
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 4212.
Тираж 4500 экз.

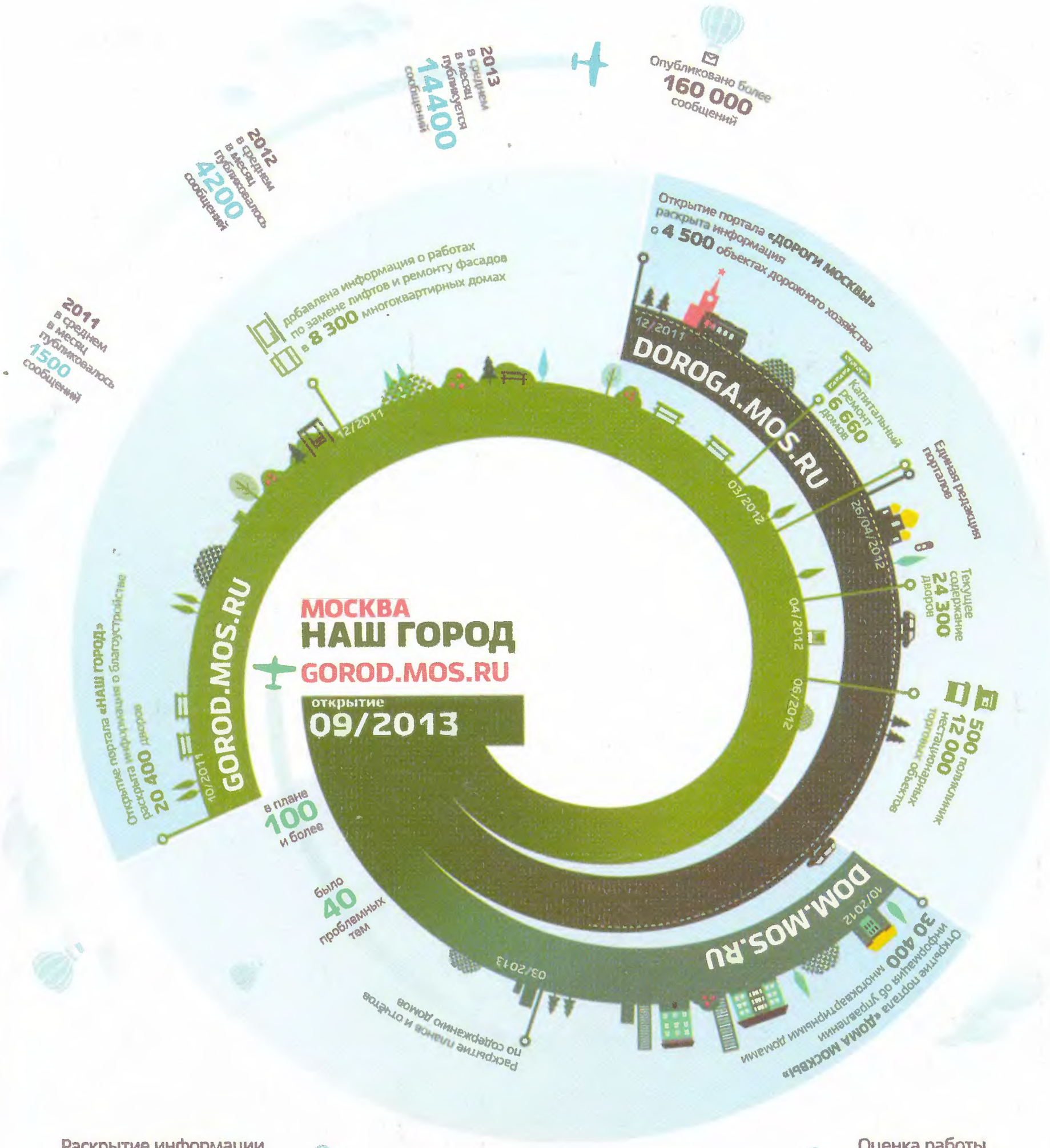
Отпечатано в ОАО "Можайский полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru
www.оаомпк.рф
Тел.: (495) 745-84-28; (49638) 20-685.
Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

[12] 2013

РОМАН ФРАНСИСКО УМБРАЛЯ “АВИНЬОНСКИЕ БАРЫШНИ” / РАССКАЗ ХИЛАРИ МАНТЕЛ “ЗАПЯТАЯ” / ЭЗРА ПАУНД В РУБРИКЕ “ДРУГАЯ ПОЭЗИЯ” / №: РАССКАЗ РОБЕРТА ВАЛЬЗЕРА “ПРОГУЛКА” И “ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК” МИХАИЛА ШИШКИНА / ОПРАВДАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ: ПО СТРАНИЦАМ И СТРАНАМ С БОРИСОМ ХАЗАНОВЫМ

Прямая связь
с Правительством
Москвы

ЭВОЛЮЦИЯ ПОРТАЛА GOROD.MOS.RU



Раскрытие информации об объектах городского хозяйства

Получение обратной связи от жителей по **40** проблемным темам

Оперативное решение городских проблем

100%
Гарантия ответа за **8** рабочих дней

Оценка работы городских служб
★★★★★

12+

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2013, №11, 1-288

ISSN 0130-6545 13011
9 770130 654770